

история / география / этнография

Русские у себя дома



Виктор Бердинских

# Р усские у себя дома



Виктор Бердинских



Ломоносовъ  
издательство



---

Виктор Бердинских

**Р**усские  
у себя дома



Издательство «Ломоносовъ»  
Москва • 2016

УДК 94(47).084.5-6  
ББК 63.3(2)614-615  
Б48

Составитель серии Владислав Петров

Иллюстрации Ирины Тиболовой



*Scan by Greego*

ISBN 978-5-91678-314-8

© Виктор Бердинских, 2016  
© ООО «Издательство «Ломоносовъ», 2016

Своначальный, жадный ум, —  
Как пламень, русский ум опасен:  
Так он неуправим, так ясен,  
Так весел он — и так угрюм.

Подобный стрелке неуклонной,  
Он видит полюс в зыбь и муть;  
Он в жизнь от грезы отвлеченной  
Пугливой воле кажет путь.

Как чрез туманы взор орлиный  
Обслеживает прах долины,  
Он здраво мыслит о земле,  
В мистической купаясь мгле.

*Вячеслав Иванов*  
*Русский ум, 1890*

Все, что мы звали личным,  
что копили греша,  
время, считая лишним,  
как прибой с гольша,  
стачивает — то лаской,  
то посредством резца —  
чтобы кончить цикладской  
вещью без черт лица.

*Иосиф Бродский*  
*Строфы, 1978*

Дорога домой  
(вместо вступления)



**В** мои детские годы в селе Жерновогорье, в далекой глуши Вятского края, меня впечатляли старики. Их встречалось очень мало на улице: основную массу мужиков съели войны и прочие лихолетья. Старух было намного больше. Старики казались мне совсем ветхими: у одного вместо ноги — деревяшка (инвалид еще Первой мировой), другой физически так выработался за жизнь, что уже не мог почти ходить, на лавочку за ворота его выводили два человека — ноги не держали. Третий сидел на бревне за воротами своего дома и целыми днями курил трубку (не сигарку с самосадом или махоркой — как прочие). Его тоже не взяли на войну — по старости...

И все эти старики сидели летом в валенках на лавочках — то поодиночке, то вдвоем — и смотрели на мир с живым интересом. Иногда они перебирались друг к другу и вели серьезные, основательные разговоры: о погоде, о старых ранах, ноющих к дождю и ветру, о былых временах... При этом новая жизнь им все же нравилась. Хлеб есть, погода хорошая (в плохую они чаще лежали дома — на печи), ходят взад-вперед разные люди. И о каждом из них можно кое-что вспомнить, подумать и что-то сказать. Ведь они знали этих людей с их рождения...

А люди-то проходили разные: веселые и хмурые, шустрые и тихие, умные и глупые, родные и чужие... И мир каждого человека этим старикам (как мне сейчас кажется) мерцал своим оттенком — как драгоценный камень. Этим-то они и любовались — со стороны...

Когда я уже маленько подрос, все эти старики исчезли куда-то (поумирали, надо полагать). И никто часами не сидел на завалинке, шуря глаза, приветствуя прохожих по-старому: приподымая за козырек картуз с твердой тульей, окликаая кое-кого и беседуя о чем-то, как мне в семь лет мнилось, очень важном и существенном...

Помнится и еще одно. Все мои родные и близкие, как и подавляющее большинство жителей села, были русскими. Но об этом никто даже не заговаривал. Это считалось как бы само собой разумеющимся, ясным для каждого как-то изначально — еще до рождения. С молоком матери все впитывали то, что их окружало: родные леса, луга, реки — «пенаты», по-мудреному говоря...

Немало обреталось в селе ссыльных и эвакуированных: поляк Яблонский (все произносили его фамилию с ударением на первом слоге); хохлушка — тетя Катя, жившая напротив нас и разводившая невероятной красоты индюшек-цесарок (их не было больше ни у кого в округе); семья крымских татар Халиловых — с неизменно жизнерадостной старшей дочерью: брызги ее энергии разлетались во все стороны, как лучики от яркого солнца... Помню еще многодетную и ужасно бедную еврейскую семью — из какого-то глухого местечка на западе Украины. Глава семьи вечно торчал на реке, ловя рыбу с утлой лодчонки. Все старшие ребёнки (вопреки обычному ходу вещей в таких семьях) учились плохо...

Коренные сельчане знали, откуда явились эти приезжие, но никто никого не делил на «своих» и «чужих». Дети вместе с нами учились в школе, играли, дрались, мирились, дружили, затем подрастали — и уезжали: кто куда, увозя и своих стариков...

Словом, «национального вопроса» для меня не существовало вообще. Да к тому же ведь и в школе, и в газетах, и по радио — все, везде и всегда — упирали на то, что «все мы —

советские люди». Стало быть, все одинаковы, все равны — и т. д. и т. п.

Шестидесятые годы прошедшего столетия (время моего детства) — это эпоха расцвета «устного народного творчества», прежде всего — всяческих пародий, эпиграмм, побасенок и, конечно же, анекдотов: и взрослых, и детских, и «абстрактных», и «политических»... Тут и Василий Иванович Чапаев — с Петькой и Анкой, и Хрущев с Брежневым, и чучки с «одесситами», и «летающие крокодилы» с «поющими обезьянами», и многое-многое другое — всякое и разное...

Но меня, помнится, более всего поражали анекдоты, которые начинались примерно так: «Русский, немец и поляк...», «Однажды русский, немец и француз...» — и т. п. Сюжет там довольно прост: в одной и той же ситуации все персонажи поступают по-разному. Но побеждает всегда русский — неожиданно, парадоксально и весело. Это означало явное превосходство русского национального духа. И я полагаю, что эти вот анекдоты дали мне для понимания «русскости» ничуть не меньше, чем курс этнографии в университете. А в сущности, это был «первый звонок» моего интереса к этой теме...

До сих пор помню такой анекдот — из детства. Поспорили русский, немец и англичанин: чей спиртной напиток ядренее? Решили испытать на мышках. Дали мышку выпить наперсток шнапса: мышка покачалась-покачалась — и через час уснула. Дали наперсток виски: мышка покачалась-покачалась — и через полчаса уснула. Дали наперсток водки: мышка покачалась-покачалась — да как закричит: «Где кош-ка? Глаз выбью!»

1960–1970-е годы вообще (помимо всего прочего, но и прежде всего) вполне оправдывают присвоенное им с чьей-то легкой руки такое полшутливое историческое обозначение, как «эпоха анекдотов». Но, как известно, в каждой шутке — лишь доля шутки. И для нас, родившихся в «оттепель» (а я — в чистом виде «дитя XX съезда КПСС»: появился на свет в 1956 году), — анекдоты стали непременным атрибутом не только досуга, но и всей жизни: учебы, работы, отдыха, быта... Мальчишками мы рассказывали их, лежа на песке у реки, купаясь целыми жаркими июльскими

днями; студентами — на лекциях, на дружеских вечеринках и даже на романтических свиданиях; позднее — коллегам по работе, соседям, знакомым — близким и дальним...

Кстати, немало тогда ходило и так называемых «еврейских» анекдотов: особенно — в 1970-е годы, когда бытовой антисемитизм, негласно «всколыхнутый» властью — в связи с «алией» (массовым отъездом советских евреев за рубеж, прежде всего — в Израиль), довольно широко «расправил крылья» в народной массе.

Зачем мне считаться шпаной и бандитом —  
Не лучше ль податься мне в антисемиты:  
На их стороне хоть и нету законов, —  
Поддержка и энтузиазм миллионов...

Так возглашал на всю страну В. Высоцкий — в одной из своих (и весьма популярных) песен тех лет («Антисемиты», 1963).

Пришлось столкнуться с этим явлением и мне — в 1973 году, при поступлении в университет города Горького (ныне Нижний Новгород). Надо сказать, что внешний облик людей в нашем селе отличался большим разнообразием, а вот классические «белокурые арийцы с голубыми глазами» в нем отсутствовали напрочь. Русые да рыжие, темноволосые да кареглазые, носатые да какого-то «цыганистого» вида — мои соседи очень хорошо и давно (с рождения) знали друг друга. Помнили дедов-бабок, рассуждали о том, кто из односельчан на кого похож и в какую родню удался. Это полагалось делом очень важным. Но при этом все коренные жерновогорцы считались русскими — так сказать, по определению...

Однако в городе Горьком мой смуглолицый и кудрявоносатый внешний вид сразу же вызвал вопросы, причем — не только у сокурсников, но и у более «солидных» знакомых: «Парень, а ты не еврей ли?»

Мои ответы, что, мол, все мои родные — из крестьян (мать — из села, отец — из деревни), многих не устраивали («скрывает жиденок свою нацию — ради карьеры, и не важно, что в паспорте у него написано — “русский”: явно — схимичил») ... Я вначале даже огорчился, а затем — привык

и плюнул. Тем более что нрав в молодости имел веселый, ни на чем долго не заморачивался, да и учился с желанием и вполне успешно...

Уже тогда понял я одну важную вещь: все-таки «нация» определяется не формой носа или цветом волос — она кроется внутри человека. Важнее всего — кем ты сам себя считаешь и как велит тебе поступать тот национальный сгусток души, что выпирает у каждого, даже будучи сознательно спрятанным. «На редьке ананас не вырастет», — гласит старая русская поговорка. И спорить с ней — себе дороже...

Впрочем, это был для меня уже «второй звонок» — в процессе внутреннего вызревания темы «русскости».

Историком меня, конечно же, сделал не университет, это (прежде всего) — заслуга моей мамы. Помню: идем мы с нею по селу из детского сада, мне — лет шесть. Уже темно. Проходим мимо небольших сельских домов — в три окошка на улицу. И мама о каждом доме рассказывает мне, причем каждый раз — что-то новое и интересное.

— Вот здесь жили Трусы, семья большая — пять человек. И нечего стало им есть — зимой, в войну. А у них была корова. Но сена тоже не стало. И они никак не могли решиться зарезать корову — ведь единственная кормилица! В общем, пока думали-думали — корова пала. А вслед за ней и они все умерли — от голода... Володька из этой семьи так здорово умел ушами шевелить. В школе сидел передо мной — и меня смешил. Меня сколько раз выгоняли из класса из-за него...

— А вот здесь живет Аннушка-Цветочек (я хорошо помню и сейчас эту бабушку — на лавочке возле своего дома). Она в юные годы славилась своей красотой, и мать ее, любуясь дочерью, говорила соседкам: «Моя Аннушка — как цветочек!» Прозвище прижилось, тем паче что Аннушек-то на этой улице проживало несколько — и довольно-таки много...

Уличные клички и прозвища заменяли фамилии: «Сельский пьяница», «Витька-Барон», «быстрая Нюра-Московка», «тетя Маша-хохлушка» (муж вывез ее с Украины в конце войны), «Федя-Трус», «Паша-Волк»...

Помню, как «погорел» однажды мой старший брат. Он (в свои семь лет) мирно сидел — на бревне, за палисадом нашего дома. А по улице шли мимо двое супругов-односель-

чан, уезжавших после войны в Ленинград, а затем вернувшихся на малую родину. Желая проявить уважение, братец, как и положено младшему по возрасту, первым прокричал на весь квартал: «Здравствуйте, дядя Володя-Бандура!..»

Надо сказать, что прозвища-то присваивались разные: и уважительные, и «не очень», и просто ругательные — такие, что прямо в глаза не произносили. И здесь имел место как раз последний вариант...

Ошарашенный сосед-старик побледнел, покраснел, а затем приковылял к нам в дом — «разбираться» с нашей мамой: «Кто подучил парня меня так обзывать?!..»

Ну, Вовку публично отшлепали — и на этом «инцидент был исчерпан»...

Между тем прозвища (и порой — самые диковинные) давали всем односельчанам — начиная с детского сада. У меня, к примеру, их было там целых два: одно — уважительное, а другое — насмешливое. Посмеяться же все ох как любили: и большие, и маленькие — похотать во все горло, краснея, держась за бока, словом — до изнеможения...

А ведь яркая, образная речь народа — это надежный хранитель национальной памяти и культуры. Этнопсихология нигде не проявляется так ярко и зримо, как в русских крылатых словах и пословицах. Это же все исторически сложилось и накопилось за тысячелетие национального бытия. Как дерево, что из желудя вымахало в огромный ветвистый дуб — и местами стало уже даже омертвевать, сохнуть. Поэтому крайне уместными представляются автору помещаемые далее в данной книге разделы, специально посвященные народной лексике — пословицам, поговоркам и т. п.

Однако для того, чтобы посмотреть на родимое дерево со стороны, нужно — для начала — отделиться и отдалиться от него: «упасть желудем» на «соседнюю лужайку»...

Я же — лет этак до семнадцати — русских ни по каким параметрам не выделял и не обособлял, ни по каким специфическим категориям не классифицировал. И, только столкнувшись в городе Горьком с известной остротой взглядов у отдельных окружающих меня людей на эту тему (с несколько болезненным даже интересом к национальному — сопряженным у кое-кого со стремлением «выискать», «вынюхать»,

«разоблачить»), я поневоле углубился в «размышлизмы», из которых проистекли некоторые сугубо практические выводы.

Во-первых, чтобы вообще не вызывать подозрений по «национальному признаку», следовало иметь «бесспорно русскую» фамилию — на «-ов» («-ев») или «-ин» («-ын»). Все остальное считалось у мудрецов «национал-обличитель» этнически «сомнительным».

Имена у девушек и парней моего поколения были уже стереотипными — массово-советскими, а вот отчества доставались им по наследству — от «старого режима», и потому им (отчествам) уделялось пристальное внимание и придавалось особое значение. Лучше всего, естественно, именоваться Ивановичем, Петровичем, Васильевичем... Тут, как говорится, дело бесспорное. Всякие там Борисовичи, Львовичи, Леонидовичи, Аркадьевичи — это уже подозрительно. А вот что касается Абрамовичей, Моисеевичей, Давидовичей и «прочих разных шведов», тут разговор отдельный — и не без последствий...

Не случайно некоторые даже перестраховывались: один мой знакомый в шестнадцать лет (при получении паспорта) свое грозное имя Лев сменил на обыденно-крестьянское — Леонтий...

Вспоминается в связи с этим еще один анекдот — из тех лет. Поступает молодой человек в консерваторию. На экзамене по специальности сыграл невероятно хорошо — почти гениально. Председатель приемной комиссии (Абрам Исаакович) прослезился, подзывает абитуриента к себе и спрашивает: «Как ваша фамилия?» Тот отвечает: «Иванов». От изумления у Абрама Исааковича падают очки с носа. «Не может быть!» — восклицает он. — «А имя?» — продолжает он с лучиком надежды в голосе. «Иван», — отвечает юноша. «Невозможно, невероятно! — бормочет старик. — А отчество?» — «Моисеевич», — говорит парень. «Вот как глубоко бывает иногда зарыт настоящий талант!» — просиял наконец экзаменатор...

В Советском Союзе — с его длиннющими анкетами (где непременно пятым пунктом — графа «национальность»), среди множества «любопытствующих» пунктов (типа: «не служили ли вы и ваши родственники в Белой армии?»; «нет

ли родни за границей?»; «не жили ли на оккупированной в 1941—1945 годах территории?») — вопросы о «социальном» и «национальном» происхождении имели для служебной карьеры каждого человека отнюдь не ритуальное, а жизненно важное, определяющее значение. При этом считалось, что сведениям, сообщаемым самим анкетирваемым (как, впрочем, и официальным данным), доверять полностью не следует ни в коем случае: надо «копать глубже»... Оттуда ведь произошла расшифровка аббревиатуры КГБ — «Контора Глубокого Бурения», поскольку значительная часть аппарата этой «конторы» занималась как раз проверкой и перепроверкой («спецпроверкой») персональных сведений о миллионах советских людей: военнослужащих, силовиках, чиновниках, сотрудниках секретных предприятий и организаций — и т. д. и т. п.

В этой ситуации оказаться «чистокровным» русским — для карьеры считалось, разумеется, полезнее всего! Уж если «вождь» не столь далеких наших «застойно-застольных» (заметим) довольно «вегетарианских» (по отказу от массовых репрессий) времен — незабвенный Леонид Ильич Брежнев — в одной из ранних своих анкет начертал (в той самой графе «национальность») «украинец», но в последующем везде отмечал — «русский», то людям помельче рангом проделывать такого рода «анкетные манипуляции», как говорится, сам Бог велел...

Рассказывают, что, когда на XIX съезде КПСС одряхлевший «отец народов» (Сталин) увидел идущего навстречу ему Брежневу, то спросил одного из своих помощников: «Кто это?» — «Секретарь ЦК Компартии Молдавии», — ответил ему. «Какой красивый молдаванин!» — заметил кремлевский диктатор.

То есть — внешний вид человека мог (и очень часто) ничего и никому не сказать о подлинной его национальности. Требовалась какая-то дополнительная информация. Но в то же время складывалось (а по сути — и сложилось) довольно устойчивое мифологизированное представление о внешнем облике «простого русского человека» (всякие там «благородия» — дворяне и пр. — при этом «выносились за скобки», поскольку «за народ» и не считались...).

Ну и вот как выглядел в 1970-е годы этот «простой русский человек» (в неофициальной, но общепринятой трактовке).

Цвет волос — русый.

Лицо — круглое (желательно).

Глаза — светлые.

Нос — короткий («картошкой»).

Телосложение — плотное («не хилак»).

Хорошо, если родом откуда-нибудь из «исконно русских» областей (Поволжье, Сибирь, Новгородчина), а не с запада...

Между тем, наблюдая за населением разных областей России, я все более отчетливо видел, что уже в древности физический тип восточного славянина, веками бредущего в непрерывном процессе колонизации огромных пространств (от Днепра до Амура), кардинально менялся. Славянский этнос вбирал в себя (целиком!) многие небольшие финно-угорские племена: весь, мешера, мурома... Да и соседство с мордвой, марийцами, удмуртами, чудью оставляло свои следы. Цвет волос темнел, нос выпрямлялся и даже становился немного «орлиным». Переставали считаться редкостью кареглазые сородичи...

Вообще — люди внешне стали выглядеть гораздо разнообразнее: финно-угорская компонента в составе славянской крови оказалась и весомой, и зримой. Перефразируя нашего классика, можно сказать про старожителей Вологды, Устюга, Вятки, Урала: «Поскреби любого русского — и обнаружишь финно-угра»...

А при движении на Степной Юг, где земля очень уж плодородна, в кровь славянского народа так же легко вошли и здешние этнические «вливания»: от тюркских племен — всех этих половцев, черных клобуков, ногайцев, татар...

Так что Русский Север — с Архангельском, Новгородом и Средней полосой России (от Смоленска до Екатеринбурга) — это одна ветвь великороссов: и по «крови», и по менталитету, по характеру, обычаям, вкусам и разновидностям в пище и одежде (вплоть до XX века).

Юг же России — начиная с Черноземья (Тамбов — Пенза — и т. д.), Поволжья и простираясь далее на Краснодар,

Ставрополь и Ростов-на-Дону — это другая, своеобразная ветвь русского народа.

Именно так считал, кстати, и единственный великий отечественный этнограф XX века (к слову — мой земляк) Дмитрий Константинович Зеленин (1878—1954), чью классическую книгу «Русская (восточнославянская) этнография» издали в 1927 году в Германии — на немецком языке, и лишь в 1991 году она увидела свет на родине, причем — в обратном переводе с немецкого: русскоязычный рукописный оригинал оказался утраченным — «за невостребованностью»...

Явление печальное, но, к сожалению, отнюдь не единичное: этнография, столь блистательно расцветшая в России в начале минувшего столетия, в 1930-е годы оказалась — как наука — почти полностью уничтоженной, затем влачила жалкое существование и начала потихоньку оправляться лишь со времен «оттепели»...

Так вот: Д. К. Зеленин выделял в русском народе два этноса — с несомненно разнящимися основными чертами физического типа, менталитета и поведения: «северные русские» и «южные русские». Заметим, что речь не идет об Украине: Днепроградской (Центральной), Слободской (Восточной) и тем паче — Западной (с Галичем и Львовом). То есть под «русскими» ученый подразумевал лишь «великороссов», исключая из этого понятия «малороссов».

И все же существует некий «образцовый» иконописный тип русского человека — обитателя Средней полосы России. Это, скорее, — суздальский типаж: тонкий нос, борода — лопатой, большие и глубокие глаза, прямые русые волосы. Взгляните на иконы любых православных святых или, к примеру, на портрет художника Виктора Михайловича Васнецова — вот вам и наглядный образец!..

В наше время русские люди отличаются бесконечно большим внешним разнообразием: русые и темноволосые, носатые и курносые, лысые и бородатые, круглолицые и «яйцеголовые»... По сути, в любой средневропейской стране значительную часть россиян легко можно принять за местных жителей: хотя, разумеется, лишь до тех пор, пока они (россияне) не откроют рот...

Дело тут, безусловно, еще и в глобальной урбанизации: горожане всей Европы похожи друг на друга — и внешне, и внутренне. Хранители же «национального духа» — народной культуры и этнической непохожести — крестьяне, а они повсеместно (везде и всюду, разными способами и методами, под разными предлогами, политическими лозунгами и теоретическими «прикрытиями») «ликвидированы как класс». Осталось лишь нечто в крови — каждого отдельно взятого человека и народа в целом. Об этом, собственно, мы и будем говорить — в дальнейшем...

А пока отметим, что, как утверждают этнографы, в прошлом веке внешний облик «русских» претерпел существенные изменения. В частности, цвет волос у них в целом значительно потемнел: от светлого — к темно-русому. Высказывается гипотеза, что это связано с изменением типа и качества нашей пищи: мы больше стали потреблять мяса, меньше — рыбы...

Как-то наткнулся я, знакомясь с архивными бумагами писателя Ивана Сергеевича Тургенева, на такое описание им церковной службы в его орловском имении: мужики без шапок — все разом кланяются, и «словно ветер пригибает спелое пшеничное поле...».

Думается, что если сейчас собрать в этих «тургеновских» селах крестьянских мужиков, то «золотисто-русых» голов среди них вообще не нашлось бы...

А повальная урбанизация в XX веке? Да еще — невероятно безжалостное истребление лучшей части русских мужиков в катаклизмах этого же столетия, после чего, стало быть, уцелела лишь худшая составляющая генофонда нации, во всяком случае — по мужской линии?..

В общем, вопросов так много, что лучше их даже не задавать и не задавать, а просто — присмотреться к нашему народу: и к тем, кого любишь (к Руси деревенской), и к тем, кого недолюбливаешь (к городскому населению)...

Давайте же вот этим и займемся!

Ведь дорога к лучшей части своей души (к тому, что любишь и ценишь, чем произвольно живешь) — это и есть дорога домой!

## Раздел I Глаза в глаза



### Глава 1

---

#### Здравствуй и прощай!

**В**стречи и проводы — дело важное в повседневном быту. И все же «западные» (европейцы, американцы) и «восточные» (арабы, турки, туркмены) люди относятся ко всему этому несколько (или совсем) иначе, нежели мы — в России. Впрочем, основательно и долго пожив здесь, многие из них, как правило, «обрусевают» и настраиваются на общий лад...

Показательно также, что на Западе всех, «понаехавших» из России (евреев, немцев, татар, таджиков, марийцев — без разницы), считают русскими. И это справедливо. Ведь все они (эмигранты) «проварились» в котле русской культуры и, сохранив родной язык и даже часть старых обычаев, стали частицей России...

Вспоминается в связи с этим следующий рассказ из советских времен. В 1930-е годы один хореографический ансамбль с Кавказа блестяще выступил на сцене Большого театра в Москве — перед Сталиным и его окружением. Лезгинку

станцевали просто гениально, да так зажигательно, что сценические доски едва не вспыхнули под каблуками, и чуть ли не половина зрителей разом бросилась приветствовать артистов. При этом кто-то робко поинтересовался у вождя его мнением о танце. Сталин лениво взглянул на сцену и веско произнес: «Я — человек русской культуры!»

Националисты действительно всегда (и порой — весьма) «пересаливают» по части «истинно русских» настроений. Это — болезненное стремление с общеизвестным и давно поставленным диагнозом: «быть (или — как минимум — казаться) святее Папы Римского!»

Кстати, на сей раз Сталин говорил о себе чистую правду. Воспитанный на русской литературе второй половины XIX века, он имел твердо сформированный вкус к классике. И явно плохой текст мог (чаще всего) отличить от хорошего. Поэтому и принялся «воспитывать» классицизмом (в духе предшествующего столетия) субкультуру огромной страны — «в эпоху строительства социализма»...

В старину (еще в XVII веке) русские люди, заходя в чужой дом, прежде всего искали глазами «красный угол», где стояли — вверху, на полочке (или в специальном застекленном шкафчике — киоте) — иконы. При этом трижды крестились и произносили: «Господи, помилуй!»

Да что там: даже в первой половине века вчерашнего наши деревенские бабушки, заходя в сельсовет, крестились на портреты Ленина (или Сталина), помешавшиеся зачастую, заметим, все в том же «красном углу»...

Сейчас все намного проще: знакомые и расположенные друг к другу люди (мужчины и юноши) жмут друг другу руки. Малознакомые или далекие друг от друга на карьерной лестнице просто говорят: «Здравствуйте!» или кратко: «Здрасьте!»...

Родственники, друзья, приятели могут при встрече поцеловать друг друга в щеку (особенно это модно среди постоянно живущих за рубежом — там русские общины сплоченнее) — и сказать: «Привет!» Но такую фамильярность обычно может позволить себе лишь старший по возрасту, а младший должен ответить: «Здравствуйте!»

В старые времена ритуал встречи и приветствия был намного сложнее...

Вспоминается мне Иван Андреевич Ворсин — старый друг нашей семьи, еще в начале 1930-х годов «раскулаченный» и сосланный (внутри Вятской губернии) в родное мое село. Здесь он прижился, и я помню его глубоким стариком — уже в 1960-е годы. Если мы шли друг другу навстречу, Иван Андреевич останавливался возле меня, приподнимал за козырек свой картуз — с твердой, обтянутой сукном основой — и говорил мне, десятилетнему мальчишке: «Доброго здоровья!»

Далее он выяснял, откуда и куда я иду, извлекал (из богатой своей памяти) подходящую к данному случаю историю, рассказывал мне что-нибудь про моего деда, которого он хорошо знал, а затем, пошутив (стараясь по-доброму «поддеть» меня), шел дальше.

В этом человеке содержалась твердая и вместе с тем интеллигентно-доброжелательная мужицкая основа — и я, несмышлениш, чувствовал ее «очами сердечными». Ни одного грубого (а уж тем паче — матерного) слова я не слышал от него никогда. «Человек должен блюсти себя», — иногда говорил он...

Бабушки при встрече часто гладили по головкам своих маленьких внучат...

Разумеется, люди и в ту эпоху бывали всякие: и спившиеся, и «скурвившиеся», и матерщинники, и хулиганы, и просто недобрые, а то и злые. Но общая атмосфера доброжелательности при встрече все-таки ограничивала даже их — в каких-то неприглядных намерениях или проявлениях...

Понятно также, что к начальству, коего в советские времена расплодилось видимо-невидимо, — отношение при встрече было почтительно-уважительное, иногда — даже угодливое.

Помнится, скажем, наш ведомственный (от хлебного элеватора) детский сад. Летом на предобеденную прогулку воспитательница, как правило, приводила нас к деревянной горке у забора, и мы видели иногда, как едет на обед домой директор элеватора. При этом по команде воспитательницы

мы дружным хором кричали: «Здравствуйте, товарищ Брусов!» А он махал нам рукой или просто улыбался...

Начальство — любого уровня — в советское время ощущало себя вершителем людских судеб. Даже продавщица за прилавком магазина стояла как танк в неприступной крепости — и «чихала на всех с высокой колокольни»...

У моих бабушки и дедушки (из деревни Решетниково — на реке Вятке) было четверо сыновей. Мой отец — младший. С началом войны всех четверых «забрили» на фронт. Двое погибли, остальные вернулись домой: оба — с тяжелыми ранениями... Один из погибших, дядя Леонид, по-моему, имел уже офицерский чин и посылал свой «командирский» аттестат матери (моей бабушке) — в родную деревню. После его гибели (в 1945 году) бабушка носила эти бумаги в сельсовет: выправлять пенсию — по случаю потери сына-кормильца. Знающие люди подсказали ей, что это, дескать, вполне возможно — в данной конкретной ситуации. Однако председатель сельсовета, услышав бабушкину просьбу, затопал ногами и закричал на несчастную женщину: «Стыдись, мать! У тебя двое сыновей вернулись с фронта! А у других людей вон вообще никто не вернулся!..»

Бабушка Надя развернулась — и пошла домой. А затем, уже в конце своей жизни, она получала мизерно-грошовую пенсию — всего 5 рублей в «новых» (1961 года) деньгах, то есть даже меньше, чем рядовая колхозница. Официально-то членом колхоза считался дед, а бабушка числилась как бы «домохозяйкой» при нем...

При прощании в прежние времена хорошо знакомые люди также пожимали друг другу руки, женщины-подруги целовались в щечки... Расставаясь с гостями, хозяева приговаривали: «Приходите еще!»

Привечали ведь только «званных» людей. Отсюда хорошо известная поговорка: «Незванный гость хуже татарина».

А в ответ на свой «Хлеб-соль!» неудачно «заглянувший» во время обеда вполне мог услышать от хозяев: «Едим — да свой, а ты не смотри — да рядом не стой!»

Но в любых случаях, во всех «непонятных» ситуациях людей всегда выручали здравый смысл и добрая шутка...



## Глава 2

### Голос крови и молоко матери

**М**ногие наши реакции, чувства, привязанности закладываются автоматически — в самом раннем возрасте: лет до трех, мне думается. А что-то возникает просто из «генной памяти»...

Никогда не забуду такой случай. На манеже конного завода под Пятигорском группе туристов-экскурсантов (в их числе — и мне) демонстрировали элитных лошадей: одну за другой — по очереди. Ничего особенного. Я зевал и мечтал поскорее вернуться в свой гостиничный номер... И тут вдруг вывели старого уже скакуна-араба. Он взглянул мне прямо в глаза — и у меня перехватило дыхание, что-то в душе перевернулось: чуть ли не слезы полились... Каким-то неведомым чувством я ощутил («понял-вспомнил?»), что когда-то этот конь (тогда — жеребец) принадлежал мне и я его страстно любил, а он платил мне тем же: мы были единым целым...

Что-то действительно переходит от предков к потомкам: из столетия в столетие — в крови, вместе с генами. И если ваши предки во многих поколениях питались ржаным хлебом, то и вам пшеничный каравай будет не так уж и полезен...

Вспоминаю разговор двоих жерновогорских стариков — году этак в 1963-м, когда наступили перебои в торговле хлебом и мы, ребятёнки, с утра занимали очередь в нашем маленьком сельском магазинчике, хотя привозили дефицитные и заветные буханки из местной (городской — в Советске) пекарни лишь после четырех часов пополудни. Причем продавали тогда только белый хлеб да еще — с добавкой кукурузной (или какой-то другой) муки...

Ну так вот: сидят старички, обсуждают все эти новости, и один другому говорит: «Я, если черного хлеба не поем, чувствую, как будто не ел вовсе...»

О том же, кстати, твердят и китайцы: «Кто живет на горе — должен есть то, что растет на горе. Кто живет на болоте — должен есть то, что растет в болоте»; «Чтобы лечиться тибетскими лекарствами, надо болеть тибетскими болезнями»...

Вот это умение прислушаться к себе, к своему «внутреннему голосу» полностью утеряно в городской цивилизации — с ее навязанным человеку непосильным (бешено-стремительным и судорожно-пульсирующим) темпоритмом жизни.

Что получаем мы по наследству (априори и без всяких «комиссионных») от своих предков? Прежде всего: радость жизни среди родной природы — в Средней полосе России, где доминируют сосна и береза, а не ель и осина, где идеально для местного жителя происходит смена всех четырех времен года, распределенных более-менее равномерно — по векам отлаженному бытийному циклу.

В последние десятилетия кое-кто, наивно поверив бредням, что лучше всего жить у моря, подался в «жаркие страны» — и, во множестве случаев, горько пожалел об этом, страдая специфически русской болезнью — ностальгией. Ведь отдохнуть на море пару недель — это одно дело, а провести всю жизнь в чуждом людском окружении, в неприемлемом для твоего духа и здоровья климате — совсем другая история: «На чужой сторонешке рад родной воронешке»...

Недаром еще в XVII веке среди русских купцов, много путешествовавших по белу свету, бытовало убеждение: умирать надо только на Родине — и это считалось большим счастьем.

Человек привязан к месту, где он родился, невидимыми нитями, порой — просто животворными.

Вспоминается такой случай — из 1980-х годов. Один вятский мужик — лет под сорок, по имени Николай — работал техником в каком-то подмосковном закрытом научно-исследовательском центре («почтовом ящике»). И хватанул там чрезмерную дозу радиации. Его, конечно, лечили, но без успеха: превратился Николай в умирающего инвалида, жена от него ушла... К счастью, встретился ему один толковый старый врач. Осмотрел он Николая и говорит: «Жить тебе осталось примерно полгода. Ты родом-то откуда?» — «Из-под города Котельнича Кировской области», — как на исповеди ответил наш больной. «Вот и поезжай туда! Хоть доживешь там спокойно!..»

Николай все бросил, вернулся в родной поселок. Начал жить на пенсию, вспомнил, что в молодости увлекался охотой, и на целые дни стал уходить в лес. Даже нехитрый обед



брал с собой. Охотиться, правда, не мог: ослаб от болезни, еле передвигался. Но постепенно окреп, принялся собирать грибы-ягоды, рыбачить... Глядь: пролетели уж два года, а он — все еще живой! Приехал в Подмоскowie — к тому самому врачу. Сделали Николаю необходимые анализы — и оказалось: выздоровел он! «Очень редко, но и такое случается!» — утешил бывшего «смертника» мудрый доктор...

Русский человек тесно привязан к окружающей его природе, среди которой он появился на свет, а поколения его предков нарождались, влачили нелегкую свою судьбу и выживали — вопреки всем неисчислимым тяготам и невзгодам. Поступившись отчими местами, поменяв их на более «ласковые» края — можно, порой и не понимая того, потерять и лицо свое, и душу, а то — и саму жизнь. «Голос крови» — вещь вовсе не фантастическая, но вполне реальная, нередко и ощутимо проявляющая себя. Ну вот, скажем: сколько моих знакомых живет за границей, и у всех у них — проблемы с детьми (чаще — психологические). Вполне возможно, что у наследников душа неосознанно бунтует против родительской измены этому «голосу»...

Мы ведь людей вокруг воспринимаем подсознательно: их облик, манеры, жестикуляцию... Довольно легко предугадываем их реакцию — на наши слова и действия. То есть окружающие нас люди: добрые и злые, спокойные и нервные, родные и неизвестные — нам знакомы интуитивно. Мы с молоком матери воспринимаем их — так же, как и воздух своей страны: надо сказать — весьма тяжкий временами.

Как метко выразился некий австралиец: «В России жить трудно, но интересно; а у нас — легко, но скучно».

Или, как в конце своей жизни образно резюмировал глубинно русский поэт Георгий Иванов (1894—1958):

...И попережку дышим мы  
То затхлым воздухом свободы,  
То вольным холодом тюрьмы...

*«Портрет без сходства», 1950*

Русский человек чаще всего довольно-таки отзывчив, и этой своей добротой и душевностью (с «душою, распах-

нотой настежь») он готов делиться (щедро и бескорыстно) с теми, к кому проникся симпатией и доверием. Но когда он (а это, к несчастью, случается сплошь и рядом) «обжигается» на своей первозданно-наивной доверчивости, тогда симпатия мгновенно преобразуется в столь же искреннюю неприязнь и антипатию. В наши дни все это мы как раз и наблюдаем — на отношениях к американцам и западноевропейцам...

Мой старый друг, профессор Юрий Борисович Боров, возмущался (еще в начале 1990-х годов): «Приезжают люди с Запада. Я их пою-кормлю, свожу с замечательными учеными, которых они вовсе не знали, которые их без меня просто не приняли бы. Даю свои консультации — выкладываю все, что знаю... Они уезжают — и не отвечают ни на одно письмо. А когда я там у них появляюсь, они не желают даже встретиться. Дураки! Ты продли отношения — и получишь в сто раз больше!..»

Надо сказать, что такие ситуации повсеместны не только в науке. По большому счету в этом — суть отношений России (как некоей «обобщенной личности») со странами Запада. «Своя своих не познаша...» — сетовал еще евангелист Иоанн (1:11).

Действительно, русские люди (в большинстве своем) — открытые, отзывчивые, «душевные», иногда — прямолинейно-доверчивые. И, раскрывая свою душу «нараспашку», они ждут того же от других. Если же этого не происходит (а зачастую именно так и бывает), начинается столь же бурная «обратная реакция» — вплоть до нескрываемой и свирепой враждебности...

Известна «неискоренимая и легендарная» склонность русских мужиков «на досуге» (и не только) «посидеть» где-нибудь вместе: выпить-закусить, потолковать «про жисть»... Как говорится, «кто пьет один, тот пьет с чертом». А в такой застольной, но отнюдь не пьяной беседе чаще возникают понимание и доверие: люди нередко забывают о взаимных обидах, охотно прощают друг другу какие-то мелкие «грешки»...

Вспоминается, к слову, еще один «бородатый» анекдот — про композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Идет он однажды (уже в преклонные свои годы) по Ленинграду



в местное отделение Союза композиторов. Выглядит неважно, да и одет — «не очень». Видит: на скамейке в сквере, напротив нужного ему дома, сидят двое мужиков — средних лет, с поллитровкой водки. Один из них и говорит Шостаковичу: «Третьим будешь?» Тогда это было делом привычным: на двоих-то выпить бутылку «беленькой» — многовато, а «на троих» — в самый раз. Шостакович хотел было отказаться, но подумал: «Что же это я — совсем далек от народа?» — и согласился. Сели, выпили, закусили — какой-то конфеткой. И тут собутыльник говорит Шостаковичу, задумчиво разглядывающему вывеску («Союз композиторов СССР») на фасаде противоположного здания: «Слушай, мужик, а ты кем работаешь-то?» Дмитрий Дмитриевич «чистосердечно признается»: «Композитором!» Вопрошающий внимательно проследовал за взором случайного собутыльника, осмотрел его тщедушную, плохо одетую фигуру — и милостиво произнес: «Ну, не хочешь — не говори!..»

Понять другого — как самого себя: этот вектор русской души неистребим. Мягкая, даже несколько женственная душа нашего народа (и тут «немцы-иностранцы», в сущности, правы), сформированная за десять веков природой Русской равнины, где реки лениво и плавно катят свои воды с севера на юг, — эта душа всегда ждет отзывчивости и понимания. Но — увы! Скорее всего — ждет напрасно...

Александр Блок очень чутко уловил эту национальную «струнку-особинку»:

Река раскинулась. Течет, грустит лениво  
И моет берега.  
Над судной глиной желтого обрыва  
В степи грустят стога...

*«На поле Куликовом», 7 июня 1908*

Симбиоз русского человека и русской природы очевиден. Но вживе — на земле и в людях — все это пропадает, оставаясь лишь глухим, непонятным и... печально-грустным «зоном крови»...

## Глава 3

## Люди в городе и селе

**В** XX веке Россия прошла через чудовишную мясорубку революций, «красного» и «белого» террора, гражданской распри, сталинских репрессий, Великой войны 1941–1945 годов — и «раскрестьянилась». Сельское сословие (крестьянство) исчезло — растворилось в городском населении. Старосельский жизненный уклад был сломан, но заменить его оказалось ничем. Образовался новый общественный слой: с разрушенной древней, основополагающей традицией и вытеснившей ее — промежуточной, убудочной, бесплодной — субкультурой. Это — трагедия России, которая вполне может быть определена как национальная, гуманитарная, антропогенная катастрофа...

Но, как говорится, что есть — то есть...

Ну а я по-прежнему люблю людей сельских (пусть и оставшихся в прошлом): цельных, душевных — «своих».

Есть у Василия Шукшина (1929—1974) замечательный рассказ — «Выбираю деревню на жительство» (1973). Там ставший по воле судьбы горожанином сельский старик пенсионер вечерами регулярно ходит на вокзал, где задушевно беседует с проезжими мужиками — о брошенных ими отчих местах. Для каждого из них своя деревня — «рай на земле». Они — как растения, которые с привычной для них родной почвы перенесены на асфальт, где они расти не могут (да и не хотят): «болеют духом» и погибают...

Ныне в порушенных деревнях Средней полосы России и Русского Севера живут (точнее — доживают свой век) уже просто «сельские пролетарии-люмпены»: ни сил, ни желания трудиться на земле у них нет. Фермерство не привилось. Богатые села Черноземья, Поволжья, Юга России — дело совсем другое: там и урожаи несравненно выше, и дух народа — качественно иной...

Предвижу вопрос: «А за что же все-таки вы так не любите городского жителя?» С готовностью отвечаю: за внутреннюю «изломанность», за «вертлявость» души, за непостоянство и за случайность многих поступков. Суетность и бессмыс-



ленность городской жизни лишают людей какой-то важной внутренней основы, логичности и осмысленности бытия. Зачастую вообще непонятно: что же горожанин «выкинет» в следующий момент, какая ему «моча в голову ударит»? И отнюдь не редки случаи, когда судорожно-лихорадочный ритм существования городского социума-монстра (особенно — в мегаполисах) просто сводит людей с ума...

А вот на селе естественное течение жизни вполне оправданно: и внутренне (в мыслях и предпочтениях — мироощущении, мировосприятии), и внешне (в речи, поступках, делах) русского человека...

Писатель-народник Глеб Иванович Успенский, убежденный и страстный патриот (рискну заметить — обожатель «простого люда»), в конце XIX века восхищенно отмечал лучшие качества русского селянина — в рассказе про крестьянина Ивана Ермолаевича («Крестьяне и крестьянский труд», 1880):

«...В своем доме он вникает в каждую мелочь, у него каждая овца имеет имя, смотря по характеру, он не спит из-за утки ночи, думает о камне и так далее... В мыслях, поступках, в словах Ивана Ермолаевича нет ни единого, самого мелкого, который бы не имел основания самого реального и для Ивана Ермолаевича объяснимого, — тогда как моя жизнь постоянно, на каждом шагу, переполнена и мыслями, и поступками, не имеющими никакой связи...»

Вот за эту беспорядочность и бессмысленность городской жизни бывшие крестьяне ее и не любили...

Следует заметить, что в России потомственные горожане так же не жаловали «урбанизовавшихся» вчерашних крестьян. Закономерен вопрос: чем же это обусловлено? А суть, видимо, в том, что городская субкультура — вещь тонкая, живая. Это — сложный организм. Овладеть этой культурой, проникнуться ею — дело непростое, требующее немалых усилий да и просто — времени. И когда — в ходе сталинской «модернизации» — из деревень вытеснили в города миллионы крестьян, утративших свою исконную культуру, то горожанами они так и не стали — новой «культуры» не приобрели.

Но и город не смог их «переварить», и под неудержимой лавой сельских мигрантов прежняя русская городская культура рухнула (я имею в виду времена «промежуточной» культуры — насаждения классики XIX века: театр, музеи, литература...). В этом «внекультурном вакууме» оказалось несколько «потерянных» поколений... Вот «прирожденные» горожане и не принимали душой «понаехавших» бывших крестьян, смотрели на них как на «враждебный элемент»...

Мой наставник в науке, коренной москвич, профессор-археолог, искусствовед и историограф Александр Александрович Формозов, прочитав мою книгу про русских крестьян, ни секунды не задумываясь, изрек: «Плохая книга!» Но аргументировать такую свою оценку он не смог: это было вне логики, происходило на уровне подсознания, изначальной враждебности ко всему «сельскому».

Не любили крестьян и многие писатели «посленароднического» периода. Вспомним, к примеру, насколько зло изображает сельский уклад Иван Алексеевич Бунин в рассказе «Деревня» (1909). А как вообще непримиримо враждебен к «мужику» писатель из маргиналов-босяков Максим Горький!

Ну — и т. д., и т. п.

Не были, кстати, большими «крестьянолюбями» и Федор Михайлович Достоевский, у которого эти самые «мужики» убили помещика-отца, и Лев Николаевич Толстой.

Сохранились воспоминания одного «просвещенного француза», посетившего в конце позапрошлого столетия Ясную Поляну — специально для встречи с Л. Н. Толстым. Дороги в графское имение француз не знал, немного заплутал и к барскому дому добирался пешком — в июльскую жару через всю деревню. Захотел пить, попросил в какой-то избе воды. Вышел старик — с провалившимся носом, подал прохажему ковшик. Француз поперхнулся, но ради приличия отхлебнул немного...

Затем, наслушавшись в барском доме речей графа-писателя о том, как надо преобразовать Россию, гость ядовито заметил хозяину: «Вы, граф, все о грандиозном говорите, а у вас в деревне мужики сифилисом болеют. Может, вначале их вылечить?»



Лев Николаевич грозно сверкнул глазами и отрубил: «А чего их лечить — распутников-то? Их вылечишь — они снова заразятся!»

Так что непонимание друг друга разными слоями российского общества — это давний и хронический диагноз.

И все же: именно русские крестьяне — основа отечественной культуры, науки, государственности. Только благодаря их жизненной мощи, терпению, великому трудолюбию (чего в нынешних городах не сыскать!) наше общество и государство существовали и развивались на протяжении более чем тысячелетия.

Русский солдат — тот же мужик. И все выпавшие на долю России бесконечные войны она одолела (и в большинстве случаев — выиграла) благодаря опять-таки этому вот мужику.

Когда при Петре I создавалась регулярная армия, то крестьяне привнесли туда с собою и общинные порядки: создавали в ротах нечто вроде артелей. Наблюдая за этим, один офицер-немец позволил себе в беседе со светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым посмеяться — по поводу прижившегося в российских полках «крестьянского духа». Но царский фаворит разумом был отнюдь не слаб и сказал — как отрезал: «Пока будет русский мужик — будет и русская армия!»

Мой старый знакомый по Нижегородскому университету — профессор-историк Д., участник войны — на фронте командовал саперной ротой. Он всегда с восхищенным изумлением вспоминал о своих однополчанах — рядовых солдатах:

«Сколько эти вчерашние крестьяне перекидали земли, построили мостов, блиндажей, укреплений, переделали всяческой другой работы на войне! Ни один горожанин даже вчетверо меньшего не смог бы выдюжить. Невероятна физическая выносливость русских мужиков: в жару и в мороз, по пояс в ледяной воде весной и осенью — быстро и споро все, что надо, делали. Вот эти спины — в белых от соленого пота гимнастерках — войну и выиграла. А сколько смекалки! Умения “думать руками” — и даже блоху подковать!.. Только благодаря великому трудолюбию и терпению русского мужика войну-то выиграла...»

Ну а подлинное счастье для сельского русского человека (если даже он сам того и не осознает, и словами выразить не может) — это гармоничность, слитность с родной природой (лес, река, луг), «продутость» живыми ветрами окон родимого дома — с примыкающими к нему огородом, банькой, ледником...

Вспоминается такая вот история: один деревенский старик приехал на недельку в город — погостить у своего сына. Последний жил в длинной пятиэтажке. Квартира маленькая. Но дело даже не в этом: не смог старик уснуть ночью — ни на минутку. Он с ужасом представлял себе, что за стеной (слева и справа), вверху (по потолку) и внизу (под полом) лежат и ходят разные чужие люди — и он не мог при них спать!.. Утром, едва попросившись, уехал домой — в деревню...

Но (как бы там ни было и что там ни говори) Россия сегодня — страна «урбанизованная». Основная часть населения пребывает в городах. Они и держат страну своими «скрепами», не давая ей рассыпаться, — как до 1930-х годов «стягивали» Россию деревни и села, в коих бушевала жизнь, бурлила кровь державы, концентрировалась ее мощь. Города выполняли тогда вторичную роль — по отношению к селу...

«Модернизационный рывок» — будь он неладен!.. Сейчас именно в городах — деньги, власть, «центры культуры», «генераторы идей», словом — «пульс жизни»...

Но может быть, пора начаться и «обратному» процессу: массовому оттоку населения из городских каменных джунглей — в генетически близкую большинству россиян «сельскую местность»?..

## Глава 4

### Люди на улице и дома

**П**раздничная одежда на Руси в старые времена резко отличалась от рабочей и обыденной. Так что, встречаясь на улице даже с незнакомым человеком, можно было без особых усилий понять, куда он направляется — на работу или, скажем, в гости. К нашим дням все эти различия почти (и давно) стерлись.



Основная масса населения физически не трудится вообще — потому и на работу ходит в чем-то «усредненном». Опытный взгляд отличит, конечно, дорогую одежду от дешевой — но и только...

Ах, какими модными были в первой половине прошлого века хромовые сапоги! А как удобно в них чувствовали себя ноги: это же вам — не мертвая резина!..

...Вот тельняшка — от стирки бела,  
Вот сапог — он гармонию, надраен, —  
Вот такая в те годы была  
Униформа московских окраин...

*«Сретенский двор», 1970*

Так в одной из песен вспоминал рубеж 1940-х годов, свою послевоенную юность, Юрий Визбор.

Бедность (да что уж там — нищета) народа была тогда ужасная — и всеобщая. Обносились все до дыр.

В разоренной полностью военным лихолетьем, задавленной чудовищными сталинскими «восстановительными» налогами деревне, где остались только бабы, дети и старики (почти всех мужиков «выгрести» на фронт, а оставшиеся в живых бежали в города и «на заводы»), — у многих не имелось даже сменного белья. Люди вспоминали:

«Помоешься в бане — тут же одежду постираешь и посушишь у печки, а после бани ее же и наденешь!..»

Смерть Сталина поначалу воспринималась как великое горе. Но уже в скором времени пришло избавление от непосильного ярма налогов: они были резко уменьшены — по инициативе возглавившего на короткое время правительство Георгия Максимилиановича Маленкова. Появилась даже «благодарственная» частушка:

Побыл недолго Маленков —  
Так хоть поели мы блинков.

Примечательно: мужчины тогда носили уже не косоворотки, как это было принято до войны, а обычные рубахи — навывпуск. Женщины и девушки обязательно покрывали го-

лову платком или косынкой, а мужики и парни чаще всего надевали фуражки, кепки — и даже какие-то тубетейки, фески: иногда — ради «оригинальности», для «форса».

Кстати, рыжий цвет волос, мягко говоря, «не пользовался популярностью». В нашем селе в начале 1950-х годов обитала одна девушка — из числа «огненно-рыжих». И уж как ей, бедной, приходилось ухищряться, чтобы скрыть этот свой «природный недостаток»! Головной платок она наворачивала так плотно, чтобы лишь одно лицо можно было увидеть и чтобы ни одна прядь, ни единый волос наружу не выбивались. Иначе — беда: малолетки засмеют, задрязнят, да и взрослые их не остановят...



В городах, конечно, нравы были посвободнее. В селах же еще сохранялись остатки «ментального» влияния стариков, а особенно — старух, которые примечали все вокруг: кто, как и во что одет, как себя ведет, с кем и что говорит? А потом живо обсуждали результаты своих наблюдений и незамедлительно выговаривали родителям провинившегося, по их мнению, паренька (не так одетого или не то сказавшего) ...

Общественная «цензура» — и одежды, и поведения — строга, нелицеприятна и оперативна. Если что-то не так «оболочено» на ребенка (как должно по традиции) — тут же будет выговорено «оступившимся» родителям.

«Ой, Мишка-то в будень напился!» — всхлопывают рука-ми от изумления соседские бабы (того и гляди — все бока себе отобьют!)...

Муж тети Оли, старшей сестры моей бабушки, слыл за человека «со странностями». И этой «общественной цензуры» терпеть не мог. Так иногда он, чтобы не встречаться ни с кем на пути, шел в гости не улицей (и не вместе со своей женой — тетей Олей), а отдельно — огородами... В кармане же у дяди Миши при этом имелась собственная граненая мерная рюмка: пил он в гостях только из нее — причем лишь дважды (не более) за весь вечер...

Иногда в праздничном застолье сельчане исхитрялись (веселья ради) изрядно подпоить гостей. Ну, скажем, давали им в руки «рюмочки-неваляшки» («стремяночки»). Вместо ножек у этих сосудов — стеклянный шарик. И если в такую рюмку налито — ее приходится осушать до дна, иначе

просто невозможно ее вернуть на стол: она может находиться там только в «лежачем» положении... И вот так: рюмочка за рюмочкой — и результат, как говорится, на лице...

Один из самых ярких атрибутов сельского лада — гармонь. Когда и как овладела она душой русского крестьянина — это история особая. Но на моей памяти и в моем родном селе гармошки присутствовали во многих домах. Звучали они чаще всего в выходные, на свадьбах и праздниках, но в основном-то — не для себя, а для «общества». Играли на улице: на крылечке своего дома или на скамеечке возле него. Ведь надо было, чтобы «все слышали»...

И плясали в ограде своего дома: на день гуляния даже со- оружали в палисаде деревянный настил — чтобы топотуха «лучше звучала»...

Случались и драки. Помню, в начале 1960-х годов в боль- шом доме напротив серьезная «разборка» произошла. Дра- лись одни мужики, двумя группами, стенка на стенку: го- лыми руками, но основательно, молча, с упоением. Соседи вызвали милицию: прибывший наряд пострелял в воздух — толку мало, из драчунов никто и внимания не обратил. При- шлось спустить милицейских собак-овчарок — в самую гущу «тусовки», и лишь после этого дерущихся удалось разнять и растащить...

Надо сказать, что общество в России сложилось как жест- ко патриархальное и оставалось таковым на протяжении ве- ков. Мужчины имели авторитет основательный и непререка- емый. Но и «женский мир» при этом (со всеми его работами и заботами) тоже существовал, вполне автономно — как бы «сам по себе». Постепенно граница между этими «гендерны- ми» мирами размывалась: дела и заботы сопрягались, слива- лись, взаимодополнялись. И все-таки какая-то доминанта «маскулинности» среди подрастающего поколения сохраня- лась (во времена моего детства — по крайней мере)...

В селах парни с одной улицы нередко враждовали со свер- стниками с улицы соседней (то есть ты мог дружить только с ребятами, живущими на «твоей» улице, — и никак иначе!), а в городах ватаги подростков из одного квартала (района) устраивали «разборки» с такими же группировками пацанов из других городских территорий.

Начиналось все просто: поссорились двое юных ухажеров — из-за девчонки, побили парня в «чужом» районе и т. п. Тут собираются друзья-приятели, обсуждается «текущий момент», все воспринимается на полном серьезе и не без эмоционального переклеста, даже азарта: охота ведь подраться-то — помахать кулаками... Бросается клич по «своим» дворам, набирается команда «волонтеров» — и айда на «чужую» сторону: «приключений искать»!..



Все это оставалось живым (актуальным) в небольших городах еще в 1960–1980-х годах. Повод для «разборки» иногда (особенно — ночью) изобретался элементарно. Идет, к примеру, человек в поздний час по улице. И вдруг на его пути возникают трое (четверо-пятеро) незнакомых парней.

«Мужик, дай огонечка — прикурить! Нету?! Ах ты, гад, помочь не хочешь?!» — и хрясть бедняге по зубам (или — в глаз, или — в ухо...).

Но еще хуже может быть, если тот начнет доставать спички. Пока он копается, тут ему и «вломят» — и, что называется, на «полную катушку»...

Конечно, такого рода инциденты — из разряда чисто «городских штучек» (в подавляющем большинстве своем). Рабочие окраины (особенно в мегаполисах) славились своими «буйными нравами» и выходящими из ряда вон «чрезвычайными происшествиями»...

Где-то с середины 1950-х годов народ стал все-таки жить лучше — в смысле питания и одежды. Хотя в большей степени это относится к городам. На селе ребята даже в 1950–1960-е годы часто летом бегали босиком.

А я вспоминаю (это уже — середина 1960-х годов) старую крестьянку, которая брела в лаптях — из дальней своей деревни в «славный город Советск». Да и что тут такого «небывалого», собственно говоря? Лапти — обувь удобная, к тому же — экологичная. В военные годы множество людей на селе вот такую «лыковую обувку» (то есть лапти) и носило...

Но в «хрущевскую» эпоху поветрия (по-городскому — мода) в одежде стали и возникать и меняться чаще. Помнится: парни (в середине 1960-х годов) носили белые безрукавкитенниски — синтетические, «дырчатые». «Модными» счита-

лись также белые рубахи с пиджаками, какие-то немислимые брюки-клевш — с монетками, зашитыми в самом низу. Понятно: женихам надо было «пофорсить»...

Из журнала «Крокодил» узнавали мы тогда и про «стиляг» — в «брюках-дудочках». Но это — уже отдельная тема...

Там, где отсутствовали дороги с твердым покрытием (а других местностей, исключая города, практически не имелось), наиболее распространенной обувью оставались резиновые сапоги (весной-осенью), зимой — валенки (по оттепели — с галошами), летом — сандалии либо ботинки (но — лишь при затяжной «сухой» погоде).

Грунтовые, замешанные на тяжелой глине сельские «коммунации» (улицы, переулки) в непогоду становились совсем непроезжими, а то и трудно проходимыми. Добредешь кое-как до школы, а там стоит у крыльца большая колода с водой, рядом — железная решетка и специальная палка: комья глины от подошв и голенищ у сапог отскребать...

Слов нет: резиновые сапоги решительно плохи — в холода ноги в них неизбежно мерзнут, в теплые дни — сильно потеют. Это же вам не кожа! Даже кирза предпочтительнее резины!..

До эры асфальта лучшими дорогами на селе считались старинные, мощенные булыжником тракты. Один из них вел из нашего райцентра (Советска — бывшей Кукарки) в областной город (Киров — ранее Вятка-Хлынов). Сто тридцать километров этой трассы рейсовый автобус преодолевал за шесть часов, то есть двигался со средней скоростью двадцать километров в час. Но и при такой черепашьей скорости этот маршрут постоянной и жестокой тряской (вверх-вниз) всю душу у пассажиров выбивал. Сам ехал одиннадцатилетним школьником, так что — хорошо помню эту «процедуру»! Впрочем, говорят, даже «полезную»: тем, у кого песок или камни в почках. «Потрясешься» вот так пару раз — и все это «добро» само собой наружу выходит...

Отец на своей автомашине-трехтонке однажды добирался до соседнего райцентра Котельнича (за сто километров от Советска) аж двое суток: застрял по дороге, увязнув по самые рессоры, так что ночевать пришлось прямо посреди трассы — пока на другой день случайный трактор не выручил...

Помнится также мода (чисто молодежная, в конце 1960-х годов) на болоньевые плащи.

...Хрустят плащи-болония,  
Доставки заграничавания,  
То теплоход «Эстония»  
Пришвартовался в Гавани...

«Коллаж»



Это пел другой популярный бард — Александр Яковлевич Розенбаум, правда, уже немного позже и не про Москву, а про Ленинград...

Старики и старухи, люди среднего возраста носили то, что имели, что сохранилось со времен их молодости, с предвоенных лет. Зрелые и пожилые женщины на досуге любили «пощеголять» в плюшевых жакетках, занашивая их чуть не до лоскутов. А для работы годились и телогрейки. В них же обряжали детей — в маленькие такие, крохотные телогреечки. У меня, во всяком случае, именно такая была — уже в пять лет, хорошо это помню...

Сельская улица — это прежде всего соседи. А соседи — это же почти что родня. Люди, конечно, среди них разные: старые и молодые, добрые и не очень, но со всеми надо уживаться — как-то «подлаживаться». Любишь не любишь, но куда ж его (соседа) девать-то?..

Летними вечерами в 1950–1960-е годы женщины собирались на соседской большой лавочке — на посиделки. Подоят коров и коз, устряпаются с детьми и мужиками, уладят все другие вечерние дела — и на соседскую лавочку! Дети играют посреди широкой улицы в лапту или в прятки. А бабы сидят себе и «лясы точат»: рассуждают о жизни, вспоминают разные случаи из прошлого... Те, кому места на скамейке не хватило, приносят свои табуретки, пристраиваются рядышком. И как-то у них все в лад — душевно, гармонично. Даже возражают друг другу с каким-то сдержанным тактом, большим уважением...

Остался в памяти один из таких «посиделочных» рассказов тети Мани — добрейшей соседки-старушки, в котором

она поведала, как в войну «горбатилась» грузчиком в «Заготзерне» — мешки тяжеленные таскала...

Вообще говоря, война явилась таким неимоверно мощным и жестоким ударом по селу, от которого все здесь онемело: и жизнь, и люди, и улицы, и дома... И десятилетия спустя шок от этой катастрофы не исчез полностью, многие так и не смогли «очувствоваться» от нее. Ну а в 1950—1960-е годы «ниточки» из того лихолетья (и не только воспоминания о погибших, сочувствие к раненым, боль за изувеченных) пронизывали еще весь строй, весь уклад жизни (и особенно — на селе), по-прежнему круто ломая ее.

Пример из нашей семьи. У тети Оли (сестры моей бабушки) все трое сыновей погибли на фронте. Муж умер — в конце войны...

Женщин-одиночек появилось и не перечесть сколько: чуть ли не в каждом доме — вдова!..

Поэтому и вспоминать про войну, в общем-то, не любили...

К тому же вечер — это как-никак время отдыха, и душе хочется чего-то полегче... Отсюда и обычный «репертуар» вечерних бабьих посиделок: разговоры вокруг детей и домашней скотины (коров-кормилиц — в первую голову), рассуждения о болезнях и хворях (с обменом рецептами на сей счет), прогнозы по поводу урожайности дикорастущих (ягод и грибов) в округе, забавные истории из старых времен — и т. д., и т. п. При этом речь льется, как ткацкий станок жужжит, — ровно и спокойно. Одна «говорунья» начинает, вторая — подхватывает, третья — развивает тему да еще и кое-что неожиданное выскажет...

Никакого регламента не было. Кто-то приходил раньше, кто-то — позже. Сидели по несколько часов (самые стойкие задерживались порой до полуночи): лишь ветками от комаров отмахиваются, а то и песню заведут... Словом, царила здесь атмосфера воплощенной гармонии душ...

Правда, к концу 1960-х годов все это как-то незаметно сошло на нет, а затем исчезло вообще: умерло вместе со всем старым сельским укладом.

Душа села рассыпалась, растворилась. И хотя в городах бабушки-старушки (многие — деревенского происхожде-

ния) долго еще «имели за правило» коротать летние вечера на стандартных лавочках — у подъездов хрущевских пятиэтажек, обсуждая (а чаще — осуждая) все и вся вокруг, но это были уже отнюдь не те «посиделки»!..

Печку письмами топила,  
Не подкладывала дров!  
Все смотрела — как горела  
Моя старая любовь.



В начале XX века частушки осуждались отечественными языковедами — как «испорченный», «изломанный» вариант народной песни. Считалось, что это — признак «упадка» русского фольклора.

С тех пор миновало целое столетие — и частушка как вид импровизационного устного народного творчества действительно ушла в небытие. Ну кто сегодня помнит, как на вечерках девушка выходила в круг и, не переставая притоптывать «дробить», выкрикивала резким голосом свое (иногда тут же сочиненное) четверострочие, получая в ответ (от парня-зачнобы или подружки-соперницы) такой же (а порою — более хлесткий и «ударный») куплет?! Разворачивался целый рифмованный диалог, душа которого — именно в импровизации, обрамленной четырьмя строками частушки.

Мине милый изменил.  
Я сказала: «Ох, ты!  
У тебя — одна рубаха,  
Да и то — из кофты!»

Ныне на «гуляньях» в русских домах такого творческого сопряжения и в столь массовом порядке уже не наблюдается — это, увы, большая редкость — «остаточное явление»...

Даже песен в современных застольях почти «не играют» (а ведь как слаженно и дружно пели в былые годы!): ведут бесконечные и бессмысленные разговоры — о политике, работе, бытовых делах... Не плачут, не смеются — старая культура чувств утрачена... Даже не ссорятся и не дерутся: на эмоциях стали «экономить»...

Старики, часто вспоминая прошлое, ностальгируют по нему. В наши дни их роль в обществе совсем невелика — почти незаметна, особенно после того, как предыдущее поколение отмело их от власти в государстве и экономике, от влияния в обществе и семье...

Сенилократия остается у нас разве что в шоу-бизнесе да «поп-культуре», столь любимых отечественным телевидением. Нет молодой крови и живого, задорного языка!

А ведь все это было — и не так уж давно!..

Мине милый изменил.  
Я сказала: «Наплевать!  
Я такого лягушонка  
Решетом могу поймать!»

## Глава 5

### Русский характер

**П**омню, в начале 1960-х годов в нашем селе хоронили одного старика. На пенсии он прожил мало — года три всего. Тогда пожилые люди «израбатывались», выматывались физически до предела. И бабы, пришедшие попрощаться с усопшим к его дому, приговаривали, причитая:

«Какой хороший был дядечка — Степан Васильевич! Спокойный, рассудительный... Громкого и грубого слова никогда не скажет. С людьми-то как ласково обращался! Всегда и все делал не торопясь, потихоньку, аккуратно — до конца доводил...»

Наверное, таким вот и представлялся на селе идеал русского мужского характера. И в те поры ни о каком «смешении» его с женскими качествами даже речи быть не могло...

Ну а в городе уже в конце 1970-х годов лично мне ставили в пример нечто совсем другое:

«Вот — смотри! И сорока лет Андрею не исполнилось, а уже — начальник цеха. И квартира, и машина, и дача! И начальство его ценит, и работяги уважают. Веселый, живой, одно слово — деловой!»

О самом человеке тут ничего понять нельзя: окромя того разве, что он — вполне успешен в карьере и делает все для нее.

«Но ведь живет-то человек не только для карьеры, — наивно думалось мне по молодости. — Надо же жить себе не в тягость! Душа-то не должна тосковать каждое утро, когда бредешь на постыльную работу!..»

Впрочем, и в городе всегда ценились люди надежные — такие, чьему слову можно доверять, твердые духом, основательные в делах.

Мой лучший друг в те годы — человек в солидном уже возрасте, классный слесарь по металлу Лев Николаевич — был не просто добр и отзывчив: он душой своей намного превосходил и знакомого мне секретаря нашей писательской организации, и всех преподавателей нашего вуза. Для меня эта его врожденная культура, ненаигранная интеллигентность живой души служили (да и остаются поныне) настоящим маяком в неверном, изменчивом житейском море-океане...

Помню рассказ Льва Николаевича про встречу с одним его старым другом:

«Не виделись мы лет десять — с тех пор как на заводе вместе еще работали. Иду по улице, смотрю: движется навстречу — чуть живой, голову повесил. “Здорово, — говорю, — Петя! Ты откуда?” — “Из больницы, — отвечает, — последние анализы сдал. Доктор их посмотрел и говорит:

— У тебя — язва желудка, все там в дырах... Жить тебе осталось не больше шести месяцев...”

Ну, что делать? “Пойдем, — говорю, — в кабак, посидим хоть напоследок!”

Пришли, сколько денег было — все пропили. Из него такая “жалобная песня” пошла — про свою разнесчастную жизнь: плакал и рыдал, не переставая... Короче говоря, надрались мы оба вусмерть. Но я-то хоть на ногах еще стоял, а Петро уже и этого не мог... Довез кое-как я его на такси до дома, посадил на коврик у квартиры, нажал дверной звонок. Слышу: жена его идет — ну я и ретировался...

Через год вновь иду по улице, гляжу — Петя мне навстречу. “Ого, — говорю, — так ты живой?!” Он отвечает: “Ага! Пойдем — расскажу!”



Посидели с ним снова, но уже — только “по чуть-чуть”.

“Ничего, — говорит, — я с той нашей встречи больше не делал: сидел дома, иногда ходил за хлебом — ждал смерти. А потом как-то втянулся в такую жизнь, стал забывать обо всем. Гляжу: болей-то нет... Через полгода пошел к тому же доктору. Сделали анализы.

— Все, — говорит мне доктор, — у тебя зарубцевалось... Хотя такого, — говорит, — быть не должно: повезло тебе просто...

Это, — сделал свой вывод Петя, — наша пьянка тогдашняя — последняя — меня вылечила...”

А по-моему, вернее всего — тот на пределе искренности исповедный всхлип души его исцелил», — заключил свой рассказ старый мой приятель...

Людей, подобных Льву Николаевичу, не так много на этом свете. Это для нас, как я уже говорил, и маяки, и живые образцы, которым мы стремимся соответствовать — хотя бы самую малость...

А в общем-то в характере русском много чего намешано: упование на «авось да небось», «ничего-ничего» (кстати, любимое русское выражение германского рейхсканцлера Отто фон Бисмарка); умение «долго запрягать — да быстро ехать»; пренебрежение комфортом, удобствами — и внезапная «лень запечная»; удаль и разгильдяйство — в одном и том же индивидууме; «грудь в крестах — или голова в кустах»...

Ну — и так далее, и тому подобное...

До сих пор речь шла о мужиках. Но и русских женщин война 1941—1945 годов полностью увела из семьи: на производство, на службу, многих — и на фронт... Дети, конечно, тем самым обездолились. И все же отметим: именно женщины, проявив невероятную силу духа, на своих плечах вынесли эту войну — и тем самым в конечном счете спасли детей — и своих, и не своих, и совсем чужих...

Я и лошадь, я и бык,  
Я и баба, и мужик.

Очень горькая, но предельно реалистичная частушка из военной поры. Во многих селах женщинам действительно ведь приходилось впрягаться (вместо лошадей и быков) в плуги и бороны — чтобы успеть вовремя вспахать поля и посеять хлеб. В городах они падали замертво у заводских станков или по дороге на работу. Ночевали тут же — в цехах, и не от «трудового героизма»: сил не оставалось уже до дома дойти...



Терпение, трудолюбие, выносливость наших женщин просто невероятны. А в 1960–1970-е годы, когда значительная часть мужиков просто спивалась («безвременье вливало водку в нас», как пел Владимир Высоцкий), — они тащили на себе еще и семьи, являясь (нередко и де-факто) их главными кормильцами («главами»).

Вспоминается замечательная песня Юрия Визбора на эту тему («Рассказ женщины, или Случай у метро “Площадь революции”, перешедший в случай на пятнадцатой Парковой улице»):

Десять лет варила суп,  
Десять лет белье стирала,  
Десять лет в очередях  
Колбасу я доставала...  
Сердце стачивая в кровь,  
Десять лет детей растила —  
Что ж осталось на любовь?  
Полтора годка от силы...

По сюжету песни, ее героиня, отказав пошлым приставам какого-то «кавказца» («Я за вечер заплачу, / Сколько за год тебе платят») и «засветив» ему «меж букашек» («Я играла в мяч ручной / За спортивные награды, / И была я центровой, / И бросочек был — что надо»), едет домой, «волоча» в сумке-авоське «шесть кило / Овощных консервов “Глобус”...».

Дома же — обычная история!

...Ну, а мой любимый зверь —  
Он лежит, конечно, пьяный.  
Снять ботиночки с него,  
Не тревожа, постаралась,

От полочки от его  
Трешка мятая осталась.

На плите чаек стоит,  
Дочка сладко засыпает...  
Убрала я со стола,  
Своего пригрела Пашку...  
Все же мало я дала  
Тому гаду меж букашек...

Да-а, что ни говори, а женщины в России все-таки и прекраснее, и мощнее мужчин — по духу (о красоте же телесной вообще пока промолчим — ибо не нашим скудным языком говорить о ней...).

Если же рассуждать всерьез, то надо бы признать, что на значительную часть уцелевших (выживших) в войну русских мужиков самым пагубным образом повлияло регулярное потребление водки на фронте — тех самых пресловутых «наркомовских ста граммов». Молодые парни пристрастились к этому «пьяному» делу — быстро и надолго (многие — навсегда).

Вот что рассказывал мне старичок-ветеран, в свои восемнадцать лет попавший (зимой 1942—1943 годов) в самое пекло войны — под Сталинград: «Что ты?! Весь день ждешь эту водочную пайку, гадаешь: подвезут — не подвезут?.. Всяко ведь бывало. Уж ее ни на что не меняешь: ни на шоколад, ни на табак. Выпьешь эти сто грамм — доньшко кружки поцелуешь: словно Христос босиком по сердцу прошел. Отмякнет жизнь...»

Вспоминал он и о том, как пришло к ним в роту пополнение — человек десять узбеков. По-русски не говорят. Все-го бояться, ни в чем не ориентируются. Да и мороз выдался как раз ужасный... Немцы в окружении уж последние дни досиживают, а эти «новобранцы» полопотали меж собой — и ушли ночью к «фрицам»: в плен сдаваться. Те, понятно, изумились и, отобрав у «перебежчиков» верхнюю одежду, отослали их назад... Ну, что с ними было делать? Не сдавать же в штрафбат!.. Оставили — привыкать...

Потеряв правую руку под Сталинградом, этот мой знакомец вернулся в родную деревню инвалидом. Мать, вспоми-

нает он, у председателя колхоза в ногах валялась: «Возьми Петюню — хоть амбарщиком!» Не взял — ни за что...

«Стал я тогда, — продолжает ветеран свои воспоминания, — ходить в соседнюю деревню, где два других инвалида жили и брагу ставили. После ковша бражки жизнь-то веселее кажется... Ну а следующим летом вышел я уж на свою дорогу. Заявился в райком комсомола и прошу:

— Сделайте меня кем-нибудь — вроде комиссара. Язык-то у меня хорошо подвешен!..»

И взяли его в райком — инструктором, и дальнейшая жизнь сложилась у него вполне удачно: женился, родил дочь, выучился — и даже стал преподавать историю КПСС...

Для меня же — «с молодых ногтей» — образцом русского духа являлся и остается мой прапрадед — Василий Фомич. Жена у него умерла рано. Остались на руках у отца-одиночки четыре дочери-малолетки. Но дед Василий больше так и не женился (хотя тогда долго ходить во вдовцах не было принято), сам воспитывал дочерей, затем выдал всех замуж. Крестьянствовал. Твердо содержал себя, в вере был стоек, исполнял обязанности звонаря в местной церкви...

Выдав замуж последнюю дочь, решил отправиться в Святую землю — в Иерусалим, в тамошний православный русский монастырь. Сначала проплыл с другими паломниками на плотах по рекам: Вятке — Каме — Волге, а весь дальнейший путь преодолевал «своим ходом» — пешком. Питался, надо полагать, подаянием...

Дошел до Иерусалима, поклонился всем христианским святыням. А вот в монастырские монахи его не взяли: для этого нужен был солидный материальный вклад (деньги, недвижимость, ценные бумаги и т. п.).

Что тут поделаешь?!

Вернулся дед — через три года паломничества, в свой дом — к младшей дочери. Спокойно дожил до кончины, помогая по хозяйству — чем мог...

Были, конечно, в нашем роду и более мягкие по характеру люди. Вот, скажем, другой предок мой — дедушка по отцу — Александр Михайлович, что из деревни Решетниково. Он — пахарь и кузнец, чудесный плотник и пимокат (валенки прекрасно катал), человек с мягкой, нежной и доброй душой.



Мама рассказывала:

«Придут они (мой отец и дед. — *В. Б.*) на Престольный праздник (Троицу) в гости — в деревню. Во всех избах окна березовыми ветками украшены. Вечером поужинают, выпьют немного (допьяна-то не пили дома), сядут дед с отцом рядышком у печки, и только скажет ему (дед — отцу. — *В. Б.*): “Аркаш!” — так слезы из глаз и польются. Отец в ответ тоже заплачет. Сидят — режут в три ручья, а ведь совсем не пьяные!..»

Вот какая мягкая натура у мужиков была...

Хватало в жизни, конечно, и зверства всяческого — эпоха-то стояла на дворе людоедская. И жестоких, и злых, и мелочно-вредных людей она породила немало... Но никогда среди «простонародья» не падали в цене доброта и отзывчивость, трудолюбие и спокойный несклочный нрав. За добродетель полагали, с одной стороны, — самостояние духа, а с другой — умение ладить с окружающими, слышать их и помогать им — и словом, и делом.

Следование неписаным поведенческим правилам и традициям (некая артельность, общинность) являлось определяющим и обязательным для всех. «Попал в стаю: лай не лай, а хвостом виляй!» — наставляет старинное присловье...

В отечественной литературе XX века лучшие описания чисто русских характеров создал (в своих рассказах, очеркнем — именно в них) Василий Шукшин. Его «чудаки» и «чудики» — это люди с душой и характером: то — мягкие и нежные, ранимые и безответно мечтательные; то — твердые и жесткие, мстительные и вредные... Но все они по пояс вросли в русскую жизнь, и «никаким трактором их из нее не выкорчуеть».

Вспомним — ради иллюстрации: в рассказе «Алеша Бесконвойный» (1973) речь идет про странного мужика-крестьянина, который, отложив все дела, топит каждую субботу баньку — для себя и своей семьи (жена и пятеро ребятишек). Пять дней в неделю Алеша — безотказный работник (скотник на ферме, кочегар), но наступает суббота — и все: тут он «выпрягается»:

«И даже уж забыли, когда он завел такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша “сроду такой” — в суббо-

ту и воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек... Так и махнули на него рукой...

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распукалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел...»

Аккуратно и тихо, «с предвкушением» делал он все дела в баньке — и парился там пять часов подряд: «как паровоз»...

Ну вот такой пример — общения со своей душой (хотя бы по субботам), которое (в той или иной форме и мере) каждому нормальному русскому человеку присуще, а порою — и необходимо (иногда — «до зарезу» просто...).

Характерна и «эксклюзивно» русская реакция окружающих на все Алешины чудачества — «махнули рукой». Это «живи — как знаешь!» — тоже весьма и весьма значимо и знаково: на счастье или на беду — разговор особый...

Заметим также, что отец В. М. Шукшина по национальности был мордвином, и, может быть, этим (в какой-то степени) объясняется не только обостренный (и вполне понятный) интерес Василия Макаровича к «русскости», но и особый ракурс его писательского взгляда на эту проблематику. Здесь присутствуют и любовь, и в то же время — пристальная и принципиальная отстраненность...

Гармонисту за игру —  
Двести грамм зеленого!  
Ягодине за измену —  
Яду наведенного!

## Глава 6

### О чем говорят мужики в бане?

**П**ростые, обыкновенные, стандартные городские (общественные) бани с парилками (без «новорусских» излишеств и криминала) — это ведь, по сути-то, своеобразные «мужские клубы», куда раз в неделю приходят люди — расслабить душу и тело, поговорить, пошутить, ну а заодно —



и попариться. Приходят обычно небольшими компаниями: по два, три, четыре человека, иногда — с детьми (понятно — с сыновьями) ...

Я, как давний завсегдатай таких мужских «посиделок», с неизменным удовольствием вслушиваюсь в нехитрые «бан-ные разговоры» о том да о сем, наполненные искренними и откровенными рассуждениями и суждениями о политике и бизнесе, автомобилях и дорогах, чиновниках и женщинах... Тут наличествует все: горести и обиды, насмешка и сострадание... И во всем этом — очень много русского здравого смысла и глубокого понимания сути жизни.

Помню, как мой сын (тогда еще подросток) возмущался, выслушивая, как я, вернувшись домой из очередного «банного» похода, уважительно пересказываю подслушанные там некоторые мужицкие суждения:

«Выступают президент, губернатор — ему (то бишь мне. — В. Б.) все равно, он не слушает. А вот что говорят мужики в бане — это да! Это — здорово! Это все — интересно и правильно!..»

Мда!.. Ну так ведь в бане-то все равны: без рубахи и штанов вся твоя предыдущая жизнь на тебе наглядно висит — как года, которых ни сбросить, ни продать... А в основе всех «банных» речей — огромная доля здравого смысла...

Вот прогоревший банкир с горечью говорит про себя:

«Раньше я был пьяница “социальный” (пил в гостях, на юбилеях, праздниках...), а сейчас я — алкаш “бытовой”: пью один и дома...»

А тут ведь не только горечь, но и отчетливо трезвое понимание жизненной ситуации...

Сосед по банной кабинке (в раздевалке) честно, без сюсюканья отвечает на непрерывный поток вопросов своего пятилетнего сына:

— Где мама? — В роддоме. — А что она там делает? — Готовится родить тебе братика. — А это трудно — родить? Как это делают?

Тут следует некая пауза: отец собирается с мыслями, а затем «выдает на-гора» такое сравнение, что у меня от восторга «уши в трубочку заворачиваются».

— Ну, представь себе, что тебе в попу вставили сложенный зонтик, далеко его воткнули, а потом внезапно раскрыли — и дернули назад...

Мальчик молчит: он не в силах переварить такой ужас...

Но все же отец, по-моему, прав: следует (и стоит) хотя бы иногда давать прямые «взрослые» ответы на прямые «детские» вопросы...

А вот явилась в баню компания стариков: всем — за семь десятков (или — около того), у одного в термосе — чай с коньяком. И сколько в этой компании — и вокруг нее — шуток, хохота, подначек (попыток «залезть под кожу», вышутить сотоварища): словом — веселье да и только!..

При этом делятся друг с другом и насущными проблемами.

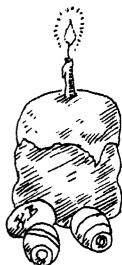
Один «дед» продает свою квартиру, чтобы (после смерти жены) жить с семьей сына. И тут же куча доброжелателей пытается объяснить ему — «какой он дурак»: один «благодарчик» другого перебивает, третий встречается сразу в обе речи...

Четвертый (в стороне) повествует соседу по банной лавочке о том, как в годы его («деда») деревенского детства месили глину — для «русской печи»: дескать, она (глинобитная печь) намного прочнее и теплее, нежели кирпичная. Далее — прямая речь:

«Вот босыми ногами в особой загородке и бьешь эту глину: надо ведь и выбрать ее верно — лесную и никакую иную, то есть попасть в точку с глиной... Эх, умаешься с нею!.. А когда дом складывали, собирали в лесу старые муравейники (где уж муравьев нет) и насыпали эту труху как утеплитель — под обшивку стен. Красота! Бревно не гниет вообще, влага к срубам не проникает...»

Короче говоря, просто — университет новых и старых знаний, а не баня!

Совсем уж ветхий «дед» рассказывает мне в парилке, как замечательно в его родной уржумской деревне Кукушонки (что на речке Немде — в самой заповедной вятской глубинке) выкладывала лечебными травами пол и полки в избе некая «бабушка Саня». Какая она была умелица и рукодельница, а «пучки трав в доме прямо над притолокой висели».



Жила она в опустевшей деревне — «одна-одинешенька», в единственном сколько-нибудь пригодном для обитания доме. И попросились как-то к ней переночевать охотники — пьяные, и «бабушка Саня» их не пустила. Тогда они ее дом и подожгли. Все сгорело... Доживала свой век бабуся кое-как — в районном «доме престарелых»...

И тут уж мой собеседник «на чем свет стоит» ругает «пьянь эту — гадов и паразитов, что дом у беззащитной старухи сожгли...». А затем доверчиво делится со мной воспоминаниями о том, как пятнадцать лет назад совсем бросил пить:

«Встретились мы как-то на площади Театральной в городе (Кирове. — *В. Б.*) с братом младшим — он меня на десять лет моложе. Он — подвыпивший сильно, но веселый: руками машет, что-то рассказывает... А вечером жена его звонит — плачет:

— Пришел домой, пьянь такая, сел, не раздеваясь, на диван. Я ужин сготовила. В сердцах ему говорю: “Иди жрать!” Толкнула — он как куль и повалился... Сердце!..

Я тогда, — продолжает старик, — сильно на эту водку рассерчал. Бросил пить совсем — и до сих пор ни капли в рот не беру. Дома все есть: и вино, и шампанское, и водка — приходи, угощу. А сам не буду!.. Все эти “лечения” от вина — ерунда! “Зашиваться”, “кодироваться”... Главное — стоит самому захотеть бросить!..»

Убедительно говорит «дед» — следует признать...

Любят мужики рассказывать в бане и о своей армейской службе. Ну, вот — «навскидку»:

«Я в 1963 году под Ригой служил. Там все с продуктами нормально, а у нас (в России. — *В. Б.*) — очереди даже за хлебом огромные были. Спрашиваю на политзанятии у замполита:

— Почему у нас хлеба нет, а здесь всего полно?

Ну, меня после занятия — на трое суток “губы”: чтоб “провокационных вопросов не задавал”...»

В каждой «банной» компании течет своя беседа, и, надо сказать, как правило, для души «нетяжелая», а чаще — обильно сдобренная мужским юмором:

«...Вздумала моя супружница рожать под самый Новый год. Приехала “скорая”, но фельдшер с санитаром там уже

«никакие» — еле бредут. Ну, взяли мы с другом у них носилки, понесли жену в машину, да пару раз по пути на улице все-таки в снег ее вывалили... Но ничего — нормально потом родила...»

Да, атмосфера русской бани — это, доложу вам, «вещь в себе» — сильная и немало в себя вмещающая. Вспоминается рассказ моей старой школьной учительницы — убежденной «большевички» — о том, как она в 1993 году в женском банном отделении грозно кричала своей подруге-коллеге: «Любовь Васильевна! Не три спину Анне Николаевне: она «ельцинистка!..»».

Все симпатии и антипатии (и личные, и политические) в бане — налицо, но атмосфера здесь все же добрая, душевная...

Впрочем, таких бань и таких людей становится, к сожалению, все меньше. Народ за последние десятилетия ощутимо изменился, причем — повсеместно в России.

Как говорится: «Есть старик — так бы и убил! Нет старика — так бы и купил!»

Происходит (если уже не произошла) смена не просто поколений и стиля жизни, а каких-то корневых основ существования нации, народа, общества, страны...

## Глава 7

### О русских женщинах и русских приметах

**Н**у и, конечно, так же (и вообще — отнюдь не только в бане) любят поговорить русские женщины...

Вспоминаю, как моя тетя Нина, отправившись с ведром за водой (к колодцу), но, случайно встретив на углу улицы соседку, запросто могла проговорить с ней часа полтора. Темы не иссякали...

Вот эта удивительная легкость общения — прочного и длительного, свойственная, присущая старшему поколению и ныне, очень заметна и даже привлекательна...

Припоминаю, как одна моя приятельница, едва заняв свое место в вагоне электрички, тут же чуть наклоняется вперед — там сидит какая-то совершенно не знакомая ей, но



внешне добродушная женщина. И завязывается беседа, которая все три часа пути льется неостановимо: обе попутчицы всю свою жизнь выкладывают одна другой — с молочного детства и до седых волос. Такое доверие — на уровне подсознания — просто поразительно...

Хотя старая поговорка гласит: «Кто легко верит, легко и пропадает». Но ведь на любую тему можно набрать горсть полярно противоположных по смыслу народных сентенций. А в обыденной жизни надо примеряться к абсолютно конкретному случаю — в определенной и реальной ситуации... И здесь главное — интуиция, стремление внутренне «почувствовать» чужого человека.

Люди-то, как везде и всегда, — разные: болтуны и молчуны, пьяницы и трезвенники, добряки и злюки, умники и глупцы... И все эти качества (достоинства и недостатки) нередко намешаны-перемешаны в одном человеке, да и проявляться они могут (в разное время и при разных обстоятельствах) — по-разному...

О своем идеале русской жизни и русской женщины — мягкой, доброй и «нешумной» — замечательно высказался в тяжком 1936 году поэт Сергей Николаевич Марков, воспевавший Северную Русь:

...Мне бы жить в Любиме, Сапожке  
Или в славном городе Торжке,  
Где на окнах в утреннюю рань  
Красным светом теплится герань.

Там вдову-красавицу найти  
Этак лет не старше тридцати,  
Чтоб умела кружево плести...

Грудь у ней тепла и высока,  
Ласковая, белая рука.  
Если выйдет краля на порог —  
На нее дивится весь Торжок!

Да чтоб в светлой горнице вдова  
Пела да сплетала кружева,  
Говорила тихие слова...

Сонно улыбается вдова,  
Родинка видна сквозь кружева.

«Русская шутка»

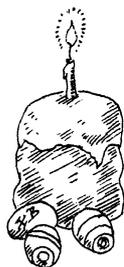
Своей красотой, умом, талантами, силой духа нынешние женские поколения существенно превосходят мужчин. Древние народные премудрости типа: «У бабы волос долог, а ум — короток»; «Выслушай бабу — и сделай наоборот!»; «Курица — не птица, баба — не человек» и т. п. — сегодня не работают вовсе.



Еще одна моя знакомая — медсестра по профессии, чуть за тридцать по возрасту, вполне счастливо живущая в браке — решила однажды с подружкой «вспомнить молодость»: сходить на дискотеку в ночной клуб. Вернулась, плюясь: «Если бы в годы моей юности все наши парни были такой же мусор, как сейчас — жалкие, невзрачные и больные, я бы замуж никогда не вышла»...

Русской женщине свойственны (обычно) и внутренняя сила, и твердость духа. Сколько ни знаю живущих за границей семей своих знакомых — во многих из них жизнь держится и продвигается вперед благодаря именно женщинам.

Мужчина может иногда отчаяться: уйти в запой, бросить работу, опуститься... А женщина неумоимо и твердо делает свое дело: зарабатывает на жизнь, ведет семью, растит детей... В результате — число матерей-одиночек ныне ужасно велико. Формируются поколения несчастных детей — с комплексами, сдвигами в сознании, не приученных системно работать.



В системе воспитания у нас вообще уродливый перекосяк: семья — женская (если муж — «подкаблучник» или его просто нет), школа — женская (много эмоций и крика)...

А в мире-то все-таки «должно пахнуть штанами» (причем — мужскими). Перетягивая на себя мужские обязанности, женщина (сплошь и рядом) становится несчастной. Ее сила — в женственности, сиречь — в слабости, а также — в стойкости и терпении...

Кстати говоря, и вера у женщин России потверже будет, нежели у мужчин. Посмотрите, сколько старушек в православных храмах (больших и малых, городских и сельских), —

и так ведь было всегда, даже в самые лихие для верующих времена...

Вспоминаю начало 1980-х годов: разгул атеизма, борьбы властей с церковью. В городе Кирове — один действующий храм (на пятьсот тысяч жителей), открытый в 1943 году, когда сталинский режим чуть «помягчел» к православию. Но тут же местные чинуши (конечно же, не без «подачи» сверху) выдвинули к приходу какое-то совершенно вздорное условие: за два дня перенести церковную ограду — иначе храм будет закрыт. Игнорировать сие указание, а тем более «послать» его «подальше» — никак нельзя, невысказано. «Слава Богу — наши синие платочки помогли!» — вздыхает отец Семен, тогда — настоятель Свято-Серафимовской церкви. Всю ночь больше сотни бабушек-старушек (мужчин почти не было) живой цепью передавали увесистые кирпичи: «Ничего — авось и поспеем!» И правда — поспели... «Наше авось не с дуба сорвалось!»

В советские же годы был запрещен и крестный ход из Вятки (Кирова) на реку Великую — самый продолжительный в России. На выходе из города в назначенный день стояли милицейские машины: старушек богомолков принудительно усаживали в них и везли назад — «по домам». Паломницы знали, что все пути к Великой перекрыты, но все равно упрямо шли к своей цели — как столетиями совершали этот святой обряд их воцерковленные предки. И эта несгибаемая сила надежды, свойственная русским женщинам, — воистину поразительна...

«Никогда не думал, что эта огромная чугунная стена рухнет при моей жизни», — говорил мне в начале 1990-х годов наш вятский архиерей Хрисанф (Чепиль), имея в виду советскую власть.

И действительно, как писал Николай Заболоцкий, «есть черта, присущая народу: мыслит он не разумом одним...». Интуиция, предчувствие — «очи сердешные»...

А до чего хороши народные русские приметы!

«Глаз чешешь — реветь; локоть чешешь — на новом месте спать; бровь чешется — с родными встречаться; правая рука — здороваться; левая — деньги считать; нос чешется — к покойнику или вино пить; губы чешутся — к гостинцу; ла-

донь горит — кого-нибудь бить; девка локоть ушибет — не-женатый парень вспоминает; в ушах звенит — кто-то лихом поминает; через правый бок не плюют — там Ангел: плюй через левое плечо — там Дьявол...»

В довоенной (а тем паче — дореволюционной) Руси в каждой деревне бытовали свои гадания, отличавшиеся от соседских «процедур» такого рода.

Предпочитали (занятие-то ведь — девичье по преимуществу) гадать «на женихов», лишь в тяжелую годину «приоритеты» менялись: война, голод, судьба близких и т. п.

Одна бабушка рассказывала мне в 1990 году о своей юности в родной деревне, в том числе — и о самых незамысловатых гаданиях:

«На Рождество гадали, да и на Масленицу тоже. В основном — с двенадцати до трех часов ночи, когда миром правит колдовская сила.

1. Берешь лист бумаги, загадываешь что-нибудь, мнешь его, кладешь на перевернутую крышку и сжигаешь. Получается нерассыпавшаяся сгоревшая бумага. Вот и смотришь на тень, поднеся к комку свечку. Что привидится, то и сбудется.

2. Или расплавишь воск, растопишь, а потом выплеснешь в таз с водой. Какая фигурка, то и сбудется.

3. Надеваешь на правую ногу чулок, а под подушку кладешь гребень и мыло и говоришь: “Суженый, ряженный — приди меня разувать, умой меня, причеши меня!” Приснится твой единственный в свадебном наряде — проснешься без чулка, причесанная и умытая.

4. К проруби девки ходили — воду слушали.

5. Мамаше клали под подушку сковородку: ей приснится, кого она блинами покормит, — тот девке и суженый...»

Так что русская женщина — это как золото в огне: чем ярче огонь — тем металл вернее...

Говорят — я боевая!  
Боевая — не совсем!  
Боевая сушит восемь,  
А по мне страдают семь!



## Глава 8

### Русская песня и русская тоска

**В** последние десятилетия мир нашей планеты стал более-менее единым в музыкальных предпочтениях: его провозглашают одни и те же гармонии и ритмы. Причем в наибольшей степени подвергся пресловутой «глобализации» самый демократичный из музыкальных жанров — песня, ставшая интернациональной по форме и, в общем-то, никакой по содержанию (не к ночи помянуты будут последние конкурсы «Евровидения»...).

Конечно, здесь (как и в любом другом деле) присутствуют и свои лидеры, и свои лузеры. Но и мчатся, и бредут, и плетутся-то они в одну сторону — куда-то в пустоту, к примитиву, безликости, безродности, словом — в небытие...

Между тем народные песни прошлого глубоко этнические: в них пульсирует менталитет нации, живет ее душа, проявляются ее характер, разные стороны ее мирозерцания — как сильные, так и слабые (с точки зрения нынешних поколений, разумеется).

Русские народные песни протяжны, мелодичны, грустны... Они текут так же, как и великие наши реки: спокойно и величаво, преодолевая лесные чащобы, степные дали, глубины времени...

Но вот чем песни ближе к нам по сроку появления их на свет, тем они бледнее по творчеству, беднее по содержанию, мельче по смыслу...

Древнерусские песни удивительно разнообразны тематически: «разбойничьи» — с широким и разгульным напевом, «солдатские», «волжские»...

Можно «классифицировать» их и по другим «разрядам» («принципам», «номинациям»), ну, например: «посидячие» и «плясовые». Из последних наиболее нам известны «хороводные» — с тихим, плавным напевом...

Из «обрядовых» песен более всего сохранились (отголосками памяти народной) «свадебные» («величальные» или, скажем, «причитания невесты») и «святочные», совмест-

ное исполнение которых нередко завершалось поцелуями — примирения, признания в любви...

Впрочем, в массе «простого» народа все эти «отзвуки» давно угасли. Совместное песнопение сейчас крайне редко, разве что — на застольных встречах стариков. Да и поют-то они больше все пионерско-комсомольский «репертуар» своего советского детства либо бессмертные фронтовые зонги боевой юности.

Признаем с горечью: душа народная заметно оскудела, и по песням это заметно самым что ни есть наглядным образом.

Но все же, все же... Та самая грустинка (пополам то ли с едва заметной смешинкой, то ли со скрытой лукавинкой) — осталась, теплится где-то в глубинах мироощущения русского человека...

Замечательным примером того, сколь ярко, сочно, образно русский человек еще в XIX веке воспринимал окружающий его мир, является и старинная песня о «сынке Стеньки Разина»:

Как у нас-то в славном городе  
 Во Астрахани  
 Проявился тот детинка —  
 Разудалый молодец.  
 Словно чепетка по городу  
 Похаживает.  
 Он сапог о сапог  
 Поколачивает;  
 На нем бархатный кафтанчик  
 Нараспашечку надет;  
 Его шелкова рубашка  
 Пошумливает,  
 Бархатные шаровары  
 Повздрагивают,  
 Козловые сапожки  
 Поскрипывают.  
 Он по городу соколиком  
 Полетывает,  
 Красным девушкам-разлапушкам  
 Примаргивает.  
 Городским-то он начальничкам  
 Не кланяется,



Самому он губернатору  
Почет не отдает...

Начальников (всяких и всяческих) на Руси издревле не любили. Хотя, конечно, побаивались, а потому — и кланялись, и терпели... А вот «разбойных людей» — уважали: именно за то, что они никого и ничего не боялись. Отчаянные, забубенные головы! Находились такие в народе всегда, есть они (причем — в числе немало) и сейчас...

Знакомец-учитель (бывший узник дальнего лесного лагеря) вспоминал про одного такого лихого и отчаянного парня — своего солагерника Сашку. Еще на «воле» (где-то в начале 1960-х) ехал тот по делам в кузове порожнего грузовика — с тремя случайными попутчиками (по внешним признакам — иудейского происхождения). И страсть как захотелось Сашке пошутить над ними. Те спрашивают: «Откуда едешь?» А он и говорит: меня, мол, из психбольницы только что выпустили... Соседи, понятно, с опаской отодвинулись к противоположному борту. Тогда Сашка, скорчив «зверскую рожу», с криком надвинулся на них. Люди на полном ходу попрыгали из кузова, ясное дело — покалечились при этом...

Сашка получил соответствующий срок заключения, но и в лагере «художеств» своих не оставлял: такая уж неукротимая натура...

Русский человек — в определенном возрасте, при накате разных и (как ему кажется) непреодолимых неприятностей, частенько «уходит в запой». Глушит водку (и любую иную содержащую алкоголь гадость) и день, и два, и три — как серьезными дозами, так и «мелкими пташками». И более всего любопытно, что при таком вот «ничего неделании» и большие беды, и мелкие неприятности иногда «рассасываются» как бы «сами собой».

Возможно, тут наличествует элемент наследственного (на генетическом уровне) фатализма: что ни делай — все будет только хуже, и никак иначе...

И как нету ни конца ни края медленным водам великих российских рек, лениво текущих в Европе — с севера на юг, в Сибири — с юга на север, так не найти начал и пределов глухой, томительной и безбрежной тоске, гнездящейся

где-то в уголке души русского человека, но время от времени заливающей эту душу целиком — «бурными потоками» отчаяния и безысходности.

Большинство сограждан, надо сказать, с этим «хроническим недугом» справляется — более или менее успешно. Но определенная жизненная закалка тем не менее отнюдь не помешает.

Много лет назад я как-то разговорился с простым, но интересным мужиком — поваром нашего (кировского) ресторана «Россия» (тогда считавшегося «центровым»). Так вот, человек малообразованный, он вынес из жизни своей следующее кредо: «Чтобы стать настоящим мужиком, надо в молодости немного посидеть!» Сам он, кстати, «молодышкой» «отчалил» свою лагерную «пятерочку» — по «хулиганке». И некую «твердость характера» и «крепость духа» он при этом и вправду приобрел...

Что же касается «души русского народа», то ярче, точнее, лучше всего она, несомненно, выразилась в народных песнях, подавляющее большинство которых, увы, давно забыто и сейчас уже никем не востребовано.

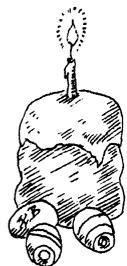
Из-под камушка,  
Из-под белого  
Течет речушка,  
Речка быстрая,  
Бережистая...

Река, осенний облетевший березовый лесок — с редкими листиками, желтая глина — чисто русский пейзаж. Шемящие тоска и грусть, которые питают душу...

## Глава 9

Русская природа: в лесу, в поле и на лугах

**В**се же «климатический эталон» для Руси — Средняя полоса европейской части страны, где четко обозначены все четыре времени года. Нам необходимы и сухой летний зной, и крепкий зимний мороз, и противный, морозящий осен-



ний дождь, и бурный ледоход на реках в апреле... Без всего этого жизнь представляется неполной, ущербной, а значит — несчастливой...

Хотя, по моим наблюдениям, все-таки именно осень трогает русскую душу с какой-то особой, неведомой силой и накладывает на нее свой неизгладимый отпечаток. Как тут не вспомнить пушкинское: «...Унылая пора — очей очарованье... пышно природы увяданье... прощальная краса...»

Хвойных лесов в Европейской России остается меньше и меньше, да и уходят они все дальше на север. В первую очередь вырубаются (и подчистую) ель и сосна. Между тем «национальное» дерево на Руси вовсе не береза (как это может показаться, если следовать песенно-поэтической традиции), а именно сосна. Только (и непременно) из нее наши предки рубили избы, настилали в них полы, мастерили мебель...

Легкое, солнечное, живое и удивительно полезное для человека дерево! Еще сохранились кое-где реликтовые сосновые боры — с белым мшистым ковром и нарядным брусничником, изумительным воздухом, пропитанным освежающим запахом смолы и нагретой хвои. Оказаться в этом сосняке в солнечную погоду — просто неизъяснимое счастье и радость великая!..

Ель растет больше по болотам и на глинах, а сосна — на сухих, песчаных почвах, где и человеку селиться комфортно. В старину примечали: если поставишь дом в бывшем ельнике, где к тому же обитает филин, так жизни тебе не будет: захвораешь, а то и вовсе либо сам умрешь, либо лихой человек тебя укокошит...

В наши дни полы нередко настилают из еловых досок. Внешне все выглядит вполне прилично, но это серьезная ошибка — с точки зрения бытовой экологии. Дело в том, что ель (а соответственно изделия из нее) — своеобразный древесный «энерговампи́р», угнетающий, истощающий человека, в то время как сосна, напротив, — подпитывает, «оптимизирует» его. Вспомним старую присловицу-вопрос: «Ель или сосна?» (то есть: «Кривда или правда?»).

Так что лучше (полезнее) сосны и дуба (последний, правда, стал уже музейно-ботанической редкостью) в наших широтах дерева не найти...

Пробовали, правда, в разных местах (прежде всего — в степях) строить жилища и из березы (за отсутствием другой, более «благородной» древесины). Результаты плачевны: люди в таких жилищах рано лысели, часто болели и даже умирали. А у нас ныне (и уже давно) в ходу березовый паркет. Последствия почти те же: сильные головные боли, сердечно-сосудистые недуги и т. п.

Раньше, ставя деревню или село, люди крайне тщательно выбирали место своего будущего постоянного обитания.

Во-первых, оно должно располагаться повыше — чтобы не затопляло в половодье и «болотная гниль» снизу не подходила.

Во-вторых, рядом с возводившимся поселением обязательно должен находиться лес, и желательно — с разнообразным древостоем, потребным и для производства строительных материалов, и для отопления (дрова), и для изготовления обуви (лаптей), а также хозяйственного обихода (мебели, корзин и прочего).

Русский человек жил в симбиозе с лесом с рождения и до кончины. Младенцем качался в деревянной колыбели, весь свой земной срок обитал в деревянной избе — с лавками и столами, а в последний путь отправлялся в деревянной же домовине (в гробу, целиком выдолбленном из древесного ствола: предпочтительнее — дубового)...

Ну а после сосны самое полезное, вне всякого сомнения, для русских дерево — липа. Из нее драли лыко — плели лапти (экологически идеально чистая обувь), вырезали ложки, кухонную утварь, готовили доски для икон, да много чего еще мастерили: легкая, податливая, мягкая, без сучков и одновременно — довольно-таки прочная древесина.

Березу, надо сказать, любили отвлеченно: «эстетически» — вне зависимости от ее пользы. Хотя дрова березовые — безусловно лучшие: жару дают много и при этом дымоход сажей не забивают — как хвойные ель и сосна.

Береза, осина и другие лиственные у нас считаются деревьями «сорными» и «вторичными»: вырубят хвойный лес — и вмиг затянется освободившееся место этим «зеленым хламом»...



Но русская душа все же тянулась (и тянется) к «красавице-березе». На Троицу в селах березовыми ветками окна украшали, березовые деревья наряжали, плясали вокруг них, пели песни на угоре — чтоб река была видна и луг, за нею расстилающийся...

И ныне в православных храмах на Троицу березовые ветки стелют. А на сельских кладбищах чаще всего стоят именно березы: во многих случаях их никто специально не сажает — это так называемый «самосей»...

В жизни не видел ничего красивее березовых рощ в середине сентября: листья с деревьев еще не облетели, все они горят чистым золотом 56-й пробы (дореволюционной — когда в сплав серебро добавляли, а не медь). И так все это за душу берет! Просто оторопь охватывает — от немислимой этой красоты! Душа плавится от восторга!..

Но в общем-то, лес в Средней полосе и на севере России — человеку не друг, а скорее — враг. Его ведь, прежде чем сделать пригодным для жизни занятое им место, нужно вырубить, сжечь, выкорчевать пни. Труда для этого требуется немерено!.. Потому-то в северных деревнях возле домов никаких деревьев и не разводили: только цветоносы и кустарники — рябину, черемуху, калину, сирень... Чтoб «глаз радовался»...

Самое нелюбимое («прóклятое») дерево для русских — осина. По библейскому преданию, именно на ней Иуда удавился: вот листья ее по сей день и трепещут — мелкой дрожью...

Так-то оно так... Но до чего же все-таки красивы эти оранжевые листья осенью — диво ненаглядное!..

Практическая польза от осины одна: баньки из нее хороши — бревно влагу отталкивает, и осиновые срубы стоят дольше, нежели сосновые, к примеру...

А сколько же труда вбухивалось для того, чтобы очистить от леса землю — под пашню и сенокосы: ужасное дело! Десятки поколений народа русского жизни свои на это положили — очеловечили лесную чащобу, сотворили из нее землю — «матушку-кормилицу».

Сегодня отвоеванное предками у леса пространство стремительно сокращается, покрываясь зарослями кустарников

и «сорного» древостоя. Черноземье, Поволжье и Юг России — другая история: там — степи, лесов-то почти нет — одни перелески, да искусственно рассаженные лесополосы, да чудом уцелевшие кое-где дубравы.

Николай Рубцов, вологжанин, последний национальный русский поэт (с молодых лет — полусирота-детдомовец), может быть, острее, чем кто-либо иной в отечественной «изящной словесности», чувствовал кровную связь народной души с окружающей природой:

Тихая моя родина!  
Ивы, река, соловьи...  
Мать моя здесь похоронена  
В детские годы мои...

Школа моя деревянная!..  
Время придет уезжать —  
Речка за мною туманная  
Будет бежать и бежать.

С каждой избыю и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую смертную связь...

*«Тихая моя родина», 1964*

В-третьих, избы в селе всегда старались (понятно, если имелась такая возможность) ладить окнами на восток: и счастья будет побольше, и домочадцы проживут подольше...

Наконец, самыми «благоустроенными» считались те села и деревни, из которых открывались живописные виды на протекавшую рядом реку. Возле каждой избы и на самом удобном месте соорудалась скамеечка — с тем расчетом, чтобы, сидя на ней вечерком, отдохнуть душой, глядя на речные просторы, подумать о жизни на досуге, перекинуться с близкими и соседями — тихим, неспешным словом.

Русские реки текут (в основном) с севера на юг. Левый берег у них, как правило, высокий, обрывистый, а правый — низкий, с заливными лугами...



Далее: ставя деревню (село или город), выбирали такое место, где малая речка впадает в большую реку, то есть — на мысу.

Это позднее, когда свободных земель стало не хватать, принялись сооружать новые деревни и починки где и как придется. Но и тогда старались все-таки выбрать место, «к душе приятное». Даже если речки вовсе нет, а вода — только из колодцев...

Вот на болотах не селились принципиально. Опасались: «там разная нечисть водится — лешие, кикиморы, змеи...». Одна польза от болот: клюква (лучшее лекарство от всяких хворей) да мох (незаменимый утеплитель при строительстве)...

Реку (и прочие водоемы) обожали. Да и вся жизнь человека обращалась вокруг воды — как и вокруг земли (пахоты, сева, жатвы). Ребятишки летом в реке купаются, бабы — белье полощут, мужики — рыбачат, лес сплавляют. У каждого хозяина — своя лодка: вещь незаменимая — и в хозяйстве, и для поездок по всяческим делам. Кстати говоря, надежнее и удобнее, чем река, средства транспортного сообщения (всепогодного и всесезонного) на Руси не имелось в течение долгих столетий...

И еще: река — она ведь, помимо всего прочего, и душу чистит, и голову проясняет.

Как-то довелось мне быть в селе Цепочкино (недалеко от Уржума) — в тамошней начальной школе. Присутствуя на уроке, обратил внимание: несколько ребяташек (человек шесть) заметно развитее (активнее, понятливее, смекалистее) всех прочих своих одноклассников. Спрашиваю учительницу: «Почему так?» — «Это все — река, — отвечает она. — Они к нам в школу каждый день из заречной деревни на лодках плывут. Вот вода их и отточила!»

Наверное, так оно и есть: река и впрямь душу омывает и разум питает — если жить возле нее и по ней постоянно плавать, то есть доверяться ей...

В идеале возле русского поселения (города, села, деревни) должны наличествовать большая река (с устьем впадающего в нее притока), пашня — для земледелия, луга — для скотоводства, лес — для жизни... Все это разительно меняет свой

облик — при четком чередовании всех четырех времен года. И такие перемены — великая радость!..

Вот это и есть русская природа. И только русскому человеку жить в ней приятно и удобно — как в разношенной, теплой и любезной сердцу обуви...

## Глава 10

### Русское застолье



**Х**одить в гости (как и принимать гостей) — излюбленное занятие для русского человека.

Воспоминания из раннего детства: зимой (когда у взрослых свободного времени побольше) каждое воскресенье имел место «обмен визитами» между нашей семьей и приятелями моих родителей: сегодня, скажем, они приходят к нам (все четверо — отец, мать и двое детей), через неделю — мы наведываемся к ним, ну и так далее...

Протокол таких «визитов» несложен, но имеет некоторые «обязательные моменты». Приходили в гости с утра — часам к десяти, с какими-то своими нехитрыми припасами: квасом, холодцом, земляничным вареньем и прочими домашними «деликатесами», которые у «визитеров» (так они считали, во всяком случае) получались лучше, нежели у хозяев. Таков, надо сказать, стародавний обычай: с пустыми руками в гости не ходят...



Для начала обменивались приветствиями и главными новостями, затем совместно разгребали снег вокруг хозяйского дома и, размявшись, принимались стряпать обед (как правило — пельмени).

Запомнилось еще почему-то, как тетя Аня мирно, словно большая сытая кошка, грелась у нас на большой русской печи (у них-то такой не было!)...

Ну а потом обедали: себе в радость — спокойно и всласть. Мужики распивали бутылку «беленькой», а женщины употребляли «красенькое»...

После обеда тоже находились какие-то совместные дела: игры, разговоры... Души расслаблялись...

Ближе к вечеру совместно готовили ужин, мыли посуду и принимались играть в карты — пара на пару. Причем всегда дядя Сережа играл в паре с моей мамой, а отец — с тетей Аней. И сколько было при этом шума: острот, хохота, а то и гнева — до крика иногда!..

Вот она — ностальгически счастливая жизнь!..

Уходили гости уже ближе к ночи. Мужики, понятно, средне (или даже крепко) «поддатые», а женщины, сколько помню, — «ни в одном глазу»...

Такая межсемейная дружба обычно приводила к тому, что между людьми, близкими по духу и характеру, завязывались совершенно особенные отношения: они становились «кумовьями», то есть — неформальной, но от того не менее сплоченной родней...

Позднее, в 1970–1980-е годы, и мы, и люди нашего поколения вообще уже звали своих друзей в гости лишь изредка и по крайней «серьезным» поводам: на большие семейные праздники, юбилейные дни рождения, новоселья... Иногда — и просто: когда «душа попросит» (но это, как водится, «в минуту жизни грустную»)...

Я еще застал «посиделки» на городских кухнях наших «шестидесятников» и «семидесятников». Ух, какие там жаркие споры кипели! Сколько всякого спиртного (нередко — водки, реже — коньяка, а чаще — вина всевозможных сортов, качества и крепости) «принималось на грудь»! Сколько подалось винегретов, салата «оливье» и других разнородных (как правило, немудреных) закусок! А сколько выпивалось чрезвычайно модного (и дефицитного) тогда растворимого кофе!

О чем спорили? Что обсуждали при этом?

Судьбы России и всего мира? — Легко!

Русская литература и культура? — Запросто!

Любые (даже самые «темные» и «туманные») иностранные дела? — Без проблем!

И это — отнюдь не поверхностно-легкомысленная, дилетантская болтовня, не пустой треп! Это были попытки (часто — бесплодные) независимого осмысления и очеловечивания окружающего мира, предпринимавшиеся — как элитой, так и основным массивом отечественной интел-

лигенции — с присущим ей изначально и обострившимся в «предперестроечный» период чувством собственного достоинства...

Люди «попроще» (рабочие, служащие разных категорий, а также советские и партийные чиновники) «употребляли» по праздникам значительно больше (предпочитая крепкие напитки и пренебрегая винами — «кислятиной»), да и закусывали гораздо «круче». Хозяйки порой из кожи вон лезли, ночей не спали лишь бы приготовить самостоятельно либо достать-принести-привезти к застолью нечто исключительное («вкус специфический») — возможное и невозможное. Это не просто демонстрация кулинарных способностей и проявление гостеприимства, а вопрос престижа и самоуважения!

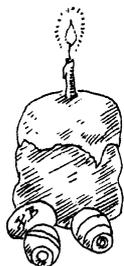
Выпекались чудные русские пирожки и пироги: с яйцами и луком, с мясом, рыбой, грибами, с вареньем и ягодами. Заранее готовился настоящий домашний холодец: из свиных и говяжьих ножек-ушей — с чесночком. Извлекались из запасов квашеная капуста, соленые и маринованные огурчики-помидорчики — «фирменного» приготовления (пол-года на дачах уделялось воплощению собственных рецептов солений с маринадами да вареньями).

У каждой хозяйки — своя «фишка». Одной лучше удаются так называемые «синенькие» (баклажаны), другая — огурчики каким-то необыкновенным способом солит (в родниковой воде — «до хруста»), третья — унаследовала от своей бабушки «эксклюзивный» рецепт открытых пирогов с рыбой... Всего — не перечислить!..

Радушие — безбрежное, притом — часто к людям, в сущности, малознакомым. Короче говоря: русское хлебосольство в чистом виде...

А в конце такого пиршественного застолья самые задушевные тайны собеседнику открываются, «нерушимые» клятвы даются, слезы от избытка чувств обильно льются... Словом: необыкновенное парение духа и легкость мыслей необычайная!..

Песни за столом — любые: для пожилых — советские (1950–1960-х годов), для тех, кто помоложе, — «окуджавские» и прочие «бардовские». И все поется слаженно — «ду-



шевно». Гитары бренчат, баяны-пианино звучат — вечер удался!..

Поэт Евгений Евтушенко (всегда чуткий к «воздуху улицы») ехидно иронизировал в «оттепельные» годы:

Интеллигенция поет блатные песни.  
Поет она не песни Красной Пресни.  
Поет под водку и сухие вина  
про ту же Мурку и про Енту и раввина...

Хотя в застольях звучали, конечно, не только современные (в том числе — «блатные»), но и русские народные песни. Особенно модными (где-то с 1960-х годов) стали старинные городские романсы, прежде всего — Серебряного века отечественной культуры...

Примерно в это же «оттепельное» время народ потянулся к массовому туризму: палатки, рюкзаки, штормовки, лыжи, походы за город, дальние поездки-маршруты — к морю, в горы, в заповедную тайгу...

Да и просто выпить и закусить «на природе», приготовить шашлычок или заварить ушицу, посидеть с гитарой у костра — тоже милое дело!..

На «цивилизованном» Западе всего этого нет и в помине: для них все это — «дикая экзотика»...

Как, впрочем, и для большинства наших современных горожан — среднего и младшего возрастов. У нас тоже среда обитания постепенно «унифицируется», «цивилизуются», ну а вместе с ней — и все остальное...

Но все же хмель русского гостеприимства у многих соотечественников еще бродит в крови! Из политиков наших в недавние десятилетия этим славились Леонид Ильич Брежнев и Борис Николаевич Ельцин. Оба, как известно, любили (пока позволяло здоровье) и хорошо выпить, и славно, со вкусом закусить...

Русский званый обед (и в старину, и сейчас) — это большой душевный порыв и мощное эстетическое удовлетворение: когда, предвкушая радость пира, окинешь голодным взором заставленный разного рода яствами стол — и возликует сердце!..

Наш великий национальный поэт Гаврила Романович Державин, пожалуй, живописнее всех своих собратьев по перу воспел одно из таких трапезных пиршеств в собственной усадьбе:

...Я озреваю стол — и вижу разных блюд  
Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,  
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,  
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером  
Там щука пестрая — прекрасны!..



Из отечественных писателей XX века такую интенсивность слюноотделения и сладость предвкушения при взгляде на праздничный стол могут вызвать разве что «литературно-гастрономические натюрморты» Михаила Афанасьевича Булгакова.

Надо сказать, что наши литераторы (в том числе — и советские) «до изумления и удивления» (за редчайшими исключениями) любили и крепкие напитки, и обильное застолье. Вспомним, как в лучшем романе того же М. А. Булгакова главный герой (писатель) обозревает начало званого обеда:

«...Я оглянулся — новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громоздкая, стол был накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями, даже в черной икре сверкали искры; зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем...» («Театральный роман» («Записки покойника»), 1936–1937).

Но конечно же, самым хлебосольным писателем-гурманом, страстным любителем званых застолий был (и остается) в истории нашей словесности «любимец Сталина», «красный граф» Алексей Николаевич Толстой: ради этого он проматывал ежегодно огромные деньжищи (столь же успешно, впрочем, и зарабатывая их)...

Одна из самых замечательных особенностей праздничных русских «посиделок» — застольные беседы-разговоры хозяев и гостей. Тут порой можно узнать такое, чего не услышал бы



нигде и никогда. Ведь каждому хочется «в компании» показать себя повыгоднее, проявиться поярче...

Вот что говорится по этому поводу в одной северной русской былине («Михайло Данилович»):

Как во славном-то городе во Киеве,  
У ласкова князя у Владимира,  
Заводилось пированьице, почестен пир.  
А и все на пиру да напивались,  
А и все на честном пиру да приедались,  
Да и все на честном ведь прирасхвастались:  
А иной же-то хвастал широким двором,  
А другой-от-то хвастал золотой казной,  
А новбй-от-то хвастал добрым конем,  
Да другой-то хвастал силою могучею;  
Только глупой-от ведь хвастал молодой женой...

В «простонародье», естественно, все происходило попроще, хотя и здесь бахвалов да хвастунов «по пьяной лавочке» вполне хватало...

Обычный же русский стол: «щи да каша — пища наша» (ныне, разумеется, каша менее употребляема). Летом — окрошка (с квасом или простоквашей/кефиром), рассольник или борщ (щи) как первое блюдо; на второе — котлеты (изредка — что-нибудь из натурального мяса) или рыба с картошкой (спасшей русский народ от голодной смерти в Великую войну); по праздникам — пельмени (в последние годы в моду вошли шашлыки)...

Свободного времени у женщин стало больше — как и телепередач о кулинарии, но готовить дома — желающих все меньше...

Заметим к сему: настоящего большого голода в России не случилось с конца 1940-х годов. Может быть, и поэтому многие чувственные реалии отношения к еде в народе, в общем-то, утрачены... А ведь такое чувственно-уважительное отношение к пище — как к источнику радости, душевного комфорта (да и жизни самой) — до недавних времен было свойственно очень и очень многим (если не подавляющему большинству) из наших соотечественников.

Издревле осталось присловье: «Наелся — как дурак на поминках!»

Стало быть — плотно и впрок. Да еще и задаром — «на хляву»...

## Глава 11

### Русское слово

**В** 1970-е годы, когда я был студентом университета, в комнате нашего общежития беспрестанно звучал магнитофон — с записями песен В. Высоцкого, Б. Окуджавы, многих других известных и малоизвестных бардов, а также «подпольных» и даже официально запрещенных музыкальных групп. Мое внимание привлек ансамбль незрячих музыкантов из Курска: он так и назывался: «Слепые курские соловьи» (руководитель, солист-вокалист, баянист — Александр Михель). И дело совсем не в том, что их самодеятельный альбом был насыщен «ненормативной лексикой» (проще говоря — матом), а темы песен нередко выходили за рамки приличия. Меня более всего «зацепил» один из центральных треков этой группы — под условным названием «Русское слово»:

...Позвольте же русское слово,  
Народное слово сказать!..

И далее говорится о том, что в самую трудную минуту жизни, когда уж и надежды нет ни на что, русский человек обопрется на «ядренное словцо» — и выдюжит:

...Вот немцы уже под Ростовом,  
Конец им вообще не видать;  
Но русские губы упрямо шептали:  
— Не дамся, растак вашу мать!..

Стало расхожим утверждение, что, дескать, русские матом не ругаются, они на нем разговаривают. Не могу с этим согласиться. Мне все же думается (и это убеждение с годами



крепнет), что в народном быту обценные (матерные) слова вовсе не были (и не являются) «обязательной» частью повседневной речи. Мужик мог (и может) крепко ругнуться: с горя, от боли или от досады, в какой-то внезапно возникшей неприятной ситуации; но никогда не позволялось (и не позволяется) «в обществе» делать это постоянно — в ущерб собственному достоинству и уважению к окружающим людям. Ну а для женщин (и в деревне, и в городе) — это вообще дело немыслимое!..

Короче говоря, русский мат — это «обратная сторона» речи («темная сторона луны»), проявляющаяся лишь в исключительных обстоятельствах (при «форс-мажоре»)...

Замечу к слову: никогда не ругались дома мои родители, не слышал я в детстве «грязных слов» и от соседей, и от других знакомых людей старшего поколения...

Мат стал «неотъемлемым атрибутом» общения городских маргиналов: рабочих окраин, «фэзэушников», «пэтэушников», «лимиты», люмпенов, воря и проституток, бомжей и нищих. Демонстративно и обильно сквернословят юнцы («тинейджеры») обоих полов, желающие самоутвердиться...

Хотя, надо признать, ругнуться сгоряча (от острой боли, в пылу ссоры или драки) — дело вполне обычное для русского человека, вне зависимости от его социального статуса...

Не брезгуют матом и большие начальники: гражданские и военные, полицейские и армейские — от прапорщика до генерала...

Немало «сорных» слов в речи каждого человека, иногда — это даже некая его «изюминка». В моем родном селе один слесарь вставлял в каждое предложение своеобразное прислобие: «Братко ты мой». Вскоре все забыли настоящее имя этого односельчанина, а называли его именно по знаменитому присловью. Помню, как я хохотал, когда при мне перечисляли гостей на свадьбе и среди прочего объявили: «Были еще “Братко ты мой” с братом»...

Один мелкий начальник, ругаясь, приговаривал: «Епишкин пистолет», другой постоянно произносил: «Забодай тебя комар!»...

В 1970–1980-е годы вошло в привычку всеобщее употребление словца «блин» — в качестве междометия недоволь-

ства, при этом в массе своей люди и не подозревали, что это отнюдь не безобидное ругательство пришло из так называемой «фени» (блатного, криминального говора)...

А сколько остроумия содержали в себе студенческие вирши, начертанные (а иногда — и вырезанные) на столах в учебных аудиториях!

Не ходи по коридору,  
Не стучи галошами!  
Все равно не поцелую —  
Губы, как у лошади!

То не слон на тропу свою вышел,  
Не в пустыне протопал верблюд,  
То один мой знакомый услышал,  
Что холодное пиво дают.

Пусть замерзнет спирт, как камень,  
Все равно его не брошу!  
Буду грызть его зубами,  
Потому что он хороший!..

«Низы» русской речи (как, наверное, и всякой иной) подпитываются из жаргона разных общественных страт, любой профессиональной среды (рабочей, студенческой, уголовной, чиновничьей, армейской, «чекистской» и т. п.).

Социальные взрывы и гуманитарные катастрофы в XX веке перемололи все старые сословия и группы нашего общества в нечто совершенно невообразимое, но при этом — более-менее унифицированное и монолитное. Так некогда зеленое, гибкое (словом — живое) дерево в результате различных тектонических и геологических процессов превращается в твердый, монолитный (но, увы, — безжизненный) каменный уголь...

Образно мне все это представляется в сюрреалистическом формате: гигантский костер, над которым помещен огромный чугунный котел, где кипит и плавится человеческая масса (классы, сословия, слои, группы российского общества), булькает, исходит бурлящей пеной. А над котлом стоит с огромным черпаком товарищ Сталин — и сосредото-



ченно, внимательно перемешивает варево, подымая пласты снизу вверх, а верхние слои перемещая вниз: дабы все содержимое котла понадежнее перекипело и переплавилось...

А в результате большевистско-сталинских людоедских «экспериментов» (по терминологии марксиста-теоретика Александра Александровича Богданова — «социально организованного опыта») огромные срезы народной жизни ушли в небытие. Где крестьянская изба — с ее лавками и «красным углом», середой и подпольем, тысячью вещей, живших в сознании и речи русского человека? Эти вещи, а за ними и сопутствующие им слова навсегда исчезли из родного языка...

Сгнули чистые краски жизни, ее незамутненный колорит — как и открытость чувств, искренность слез, радостей и огорчений...

Ну кто сегодня различит солового коня от буланого, каурога — от пегого? А ведь эти (и подобные им) десятки цветковых оттенков питали не только язык, но и душу сельского человека...

Почти то же самое происходит и в городе. Изменился не просто быт — с ног на голову поставлены прежние жизненные представления и нравственные приоритеты: вера, надежда, любовь, семья, карьера...

Вполне может быть, что суть дела заключается в развитии и влиянии процессов унификации, свойственных всему постиндустриальному миру, который стремительно продвигается уже в эпоху так называемого «шестого технологического уклада» — господства информационных и нанотехнологий...

Путь так. Но при этом, к несчастью, пространство родной речи сужается подобно «шагреновой коже», и главная причина тому вовсе не в «заимствовании» и «экспансии» чужеземной лексики.

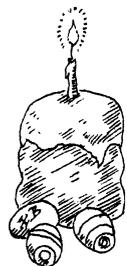
Наша речь становится тусклой и бесцветной прежде всего постольку, поскольку лишается своих природных корней, питательного субстрата веками складывавшейся бытовой среды. И вполне можно понять нынешних «городских» стариков, которые всей душой жалеют свое деревенское прошлое, свою утраченную речь.

Бывшая колхозница А. В. К-ва в беседе со мной не без сожаления поведала: «...А в то время крестьяне говорили интересно. Я и сейчас все еще говорю иногда со старухами по-ранешнему, хотя уже столько лет в городе прожила. Но здесь уж по-другому стала говорить, привыкла. А когда приеду к сестре двоюродной в деревню, ей сейчас уж 86 лет, так вот, когда привезешь гостинца, она увидит сумки большие и сразу с порога говорит: “Ой да, Настась, наштё ты эстоль привезла?” Вот так все и говорит почти. А я уж сколько лет в городе живу, а много слов не понимаю. Так-то говорят — так понимаю, а уж по телевизору иногда из половины понятно...»



Многие из нынешних стариков считают, что язык их детства был певуч и мягок, упруг и гибок. Как точно заметил А. Г. С-н: «Это был, ну, что ли, интеллигентный язык. В нем было столько достоинства и гордости, что ляпать мат и не вышло бы. Наш русский сегодня — это нечто неопределенное, как, знаешь, рабочий человек без определенного рода занятий...»

Но сегодня при таком неохватном разбросе профессиональных интересов, характера труда, колоссальном давлении средств массовой информации, убивающих любую оригинальность и особинку в речи, определиться, выделиться, а тем паче вернуться к былому — невозможно. Уже произошел (и окончательно) переход к массовому «канцеляриту» — жаргонному лексикону эпохи научно-технической революции...



Эллочка-людоедка наверняка была бы только бесконечно рада такому оскудению языка. Но несомненно, глубоко несчастен оказался бы известный отечественный стихотворец князь Петр Андреевич Вяземский, следующим образом объяснявший одной своей знакомой (иностранке-англичанке) родство русского языка и народной песни:

...Вы любите напев их стройный,  
Ум русский, светлый и спокойный,  
Простосердечный и прямой.  
Язык есть исповедь народа:  
В нем слышится его природа,  
Его душа и быт родной...

*«Англичанке», 1855*

И все же...

Все же острая и упругая, яркая и бьющая, сверкающая, чистая как родник русская речь — жива! Пока жив народ...

Ее внутренние мелодии, тайные смыслы, подземные токи — питают нашу убогую жизнь.

Здесь же — и последняя (пусть — слабая) гарантия хоть какого-то будущего для нации. Как рекомендуется в одной современной «бардовской» песне (ставшей народно-дворовой — «жиганской»): «Грустить не нужно без нужды!..» (Кричевский Г., «Мой номер 245»).

Российская история и русская судьба — величайшие из поэтесс! Улыбка, ирония, насмешка — они ведь не просто скрашивают нашу жизнь. Они ее двигают!..

Вот и закончим сию главу старой частушкой:

Старик старухе говорит:  
— У меня давно стоит  
На столе бутылочка...  
Давай-ка выпьем, милочка!

## Глава 12

### «Новые» и «старые» русские

**В** начале 1990-х годов в России произошел очередной социальный слом. Появился слой «скоробогачей». Этот слой взметнувшейся социальной пены вынес на вершину материального благополучия и просто мелких бандитов, и обычных «средних» советских людей (из категории «завмагов» и «завскладов») — личностей нередко рискованных и предприимчивых.

Многих, однако, поражала «кессонная болезнь» стремительного обогащения: голова иногда не выдерживала — и «крыша ехала». Жизнь оказывалась для них хоть и веселой, но короткой...

Я лично знал в Подмосковье одного «мелкого бандита средней руки» (ныне, правда, отошедшего от криминального «бизнеса»), оба брата коего были застрелены в те «крутые» времена...

Железная лапа государства разжалась тогда, личной свободы открылось фантастически много — и жить стало «весело и хорошо», но страшновато...

В прилатненной песенке 1980-х годов, гремевшей в «лихие девяностые» по всем «малинам» и кабакам, ухарски провозглашалось:

...Так лучше быть богатым и здоровым,  
И девочек роскошных целовать,  
И миновать тюрьмы замок суровый,  
И деньгами карманы набивать!..



Я не говорю здесь о чиновниках, «красных директоров» и других больших партийно-советских «шишках»: эти всегда жили «весело и хорошо»...

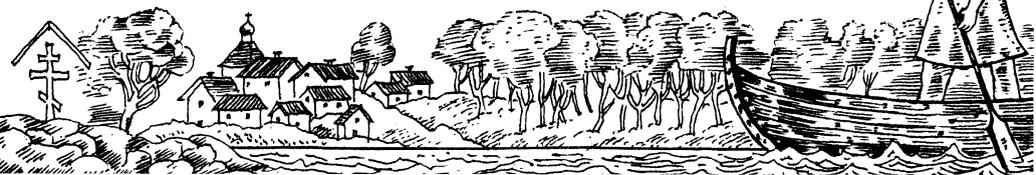
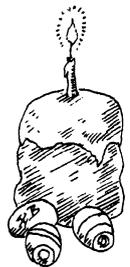
Появились анекдоты про «красные пиджаки»...

Эти люди не верили в длительность своего «процветания»: многие и вправду быстро разорились или даже погибли... Поэтому они шикавали, не оглядываясь, сорили деньгами направо и налево, встречая каждый новый свой день как последний... Жизнь мчалась стремительно, но скользко, неустойчиво и ненадежно...

В нагрывшем административно-правовом вакууме дозволялось, надо сказать, почти все.

К моему другу Сергею, работавшему тогда в редакции журнала «Новый мир» и жившему в панельной многоэтажке на окраине Москвы, заявился однажды в гости сосед по лестничной площадке. Карикатурный «новый русский»: бычья шея, безразмерное брюхо, тяжелая золотая цепь на груди, в майке, «штанах-бананах» (по тогдашней моде) ... Покручивая на пальце ключи от новой «Лады», спросил — коротко, но емко: «Заработать хочешь?» Сергей, замечу, не сплочовал (как это часто бывает с интеллигентами) и чистосердечно ответил соседу: «Хочу!» Тот — сразу же с «коммерческим» предложением: «Видишь — во всех газетных киосках лежит книжка “Похождения космической проститутки”»? Тираж — полтора миллиона! Напиши что-нибудь такое же, а я издам!..»

Но все менялось слишком быстро, и с этой «бизнес-идеей» что-то там не срослось...



Люди «всплывали» и тонули в те времена мгновенно. Встречаю я где-то в середине 1990-х годов одного очень богатого человека — владельца сети магазинов. Умный, тертый, отсидевший до «перестройки» свою «пятерочку» — в колонии неподалеку от нашего города. Простой «демократичный» парень!.. Договорились еще раз встретиться: по одному литературному проекту потолковать... А утром следующего дня его застрелил какой-то киллер: из помпового ружья, на выходе из подъезда дома любовницы. Ни исполнителя, ни заказчика этого убийства не нашли до сих пор...

Примерно в ту же пору прихожу я в кабинет к старому другу — полковнику милиции (ныне полиции): просто — «потрепаться» о том да о сем. Показывает он мне старинные византийские свинцовые монеты — из своей коллекции, доставая их из служебного сейфа. Спрашиваю: «А почему дома-то не хранишь?» Ответ: «Опасно! Приедут, воткнут пальник в задницу — все отдашь!..»

Поразила меня одна исповедь, опубликованная анонимно в местной газете в 1995 году.

Наши люди не родились ведь бандитами и рэкетирами: они становились ими, как правило, — в силу соответствующих и сопутствующих обстоятельств. Так вот, какой-то мужик (назовем его Сергей) вспоминает начало 1990-х годов: как он с друзьями (тоже уволенными с завода — то ли приватизированного, то ли обанкротившегося) слонялся от безделья на бурлящем городском рынке («барахолке»). Присели на приступку одного торгового киоска, хозяину которого это не понравилось: он мужиков погнал «на все четыре стороны». А они назло не пошли да еще и приперли доской дверь киоска — снаружи, чтоб торгашу не выйти из него. Тот испугался — и даже отвалил мужикам малость деньжат: лишь бы его в покое оставили. Вот тут-то Сергей со товарищи, прикинув «что к чему», сколотили «бригаду» и принялись облагать поборами все подряд «торговые точки» на рынке — в обмен на покровительство и защиту («крышевание»). Таких «охранников» появилось множество: любителей и кулаками помахать, и ножичками поиграть, и «петушка жареного» подпостить, и пострелять — коли придется...

Денег у Сергея завелось более чем достаточно («как грязи»), и жизнь вроде наладилась... Но начали его (через год-другой) мучить страшные головные боли — вплоть до судорог и обмороков. Доктора говорят: «Здоров...» Сходил в церковь — к батюшке. Тот ему и «открыл глаза»: «Это соевьсть в тебе бьется — душу потеряешь...»

И тогда Сергей вышел из банды. Приобрел пару мелких магазинчиков, стал заниматься сугубо легальным бизнесом. И дикие головные боли как рукой сняло...

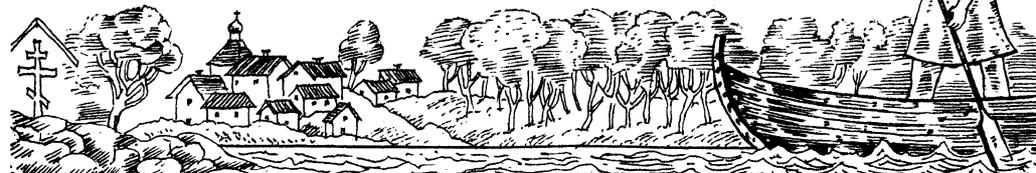
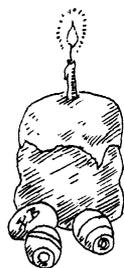
Тут уж, как говорится, кому что на роду написано...

При тотальном обнищании подавляющего большинства людей остальным «удачникам» деньги — случайно доставшиеся, шальные — тоже ни стабильности, ни счастья (тем паче) не приносили. Сохранить капиталы при невероятной инфляции удавалось лишь единицам — изощренным и хорошо информированным валютным спекулянтам. Приобрести что-нибудь надежное (недвижимость — прежде всего) — тоже было делом весьма и весьма проблематичным...

Вспоминается, как мой приятель (продав квартиру в Перми и получив новую — в нашем городе, от вуза — бесплатно) решил на «свободные» деньги приобрести здесь дополнительную жилплощадь — в личную собственность, но чуть замешкался. А через пару месяцев на «бабки», вырученные от продажи пермской квартиры, сумел купить лишь телевизор — гордо вручив его отнюдь не возликовавшей супруге...

Бесспорно также, что на первых порах «новорусского» капитализма чрезмерное, преувеличенное влияние получила мифологизированная идеализация всего «западного»: от моделей социально-экономического устройства до зубных щеток. Многие «продвинутые» интеллигенты мечтали переехать в «забугорные» кущи, кто мог — отправляли туда на учебу детей... Но постепенно эта волна слепого обожания схлынула. На собственном опыте стало понятно, что на Западе хорошо отдыхать (имея на это средства, разумеется), а жить и трудиться (и при этом — зарабатывать приличные деньги) — лучше все-таки дома...

Наиболее пострадало в то лихолетье, конечно же, старшее поколение. Пенсии, случалось, не выдавали месяцами. Люди просто голодали... Помню, как одна бабушка (благооб-



разная и благородная — «божий одуванчик») со слезами на глазах попросила у меня денег — на буханку хлеба... Я вместе с ней прослезился и подумал тогда, что, если Б. Н. Ельцину и следует поставить памятник — за то, что «новую Россию» создавал, то вот за слезы этих разоренных, униженных и ограбленных стариков его же (Ельцина) следовало бы у того же памятника и расстрелять...

Ну да — Бог с ним!..

Ведь Россия — вопреки всему — сохранилась, хоть и потрянуло ее удивительно мощно.

Эпоха «великих социальных экспериментов», судя по всему, продолжается. Хорошо бы, однако, выбрать для этого страну, «которую не жалко»...

Хулиганистый и запойный русский поэт Геннадий Шпаликов, вероятно предвидя эту эпоху, однажды меланхолично (но, что называется, «в десятку») заметил:

То ли страсти поутихли,  
То ли не было страстей, —  
Потерялись в этом вихре  
И пропали без вестей  
Люди первых повестей...

## Глава 13

### О жесте в русской народной речи

**В**о всяком этносе слово, речь человека неразрывно связаны с его мимикой и жестами. Русская жестикуляция, как мне представляется, довольно скуповата — по сравнению с южными народами, но все же и выразительна, и энергична. У сельского «простонародья» она поярче, у городского населения — минимизирована и более стерта, что ли... Люди сами как бы сковывают какими-то незримыми внутренними путами свои руки и ноги, рот и щеки, глаза и лоб...

Но любые разговоры (тем более — хороводы, пляски, чащушечные перепевки и т. п.) в крестьянском быту немислимы без самой энергичной жестикуляции: взмахивание и битье руками по бокам (в знак удивления), топание нога-

ми (гнев), охватывание ладонями головы (горе, отчаяние), демонстрация кулака или «комбинации из трех пальцев» («кукиша» — при ссоре), разведение рук в стороны (знак радушия, теплого приема), пожимание плечами (выражение неопределенности, непонимания), скрещивание рук на груди или сцепление ладоней на поясе (молчаливое неодобрение), открытие («разевание») рта (уважительное внимание к собеседнику), показ поднятого вверх большого пальца на правой руке (восторженное одобрение, восхищение), покачивание головой влево-вправо (сомнение или отрицание), то же самое, но — взад-вперед (согласие) ...

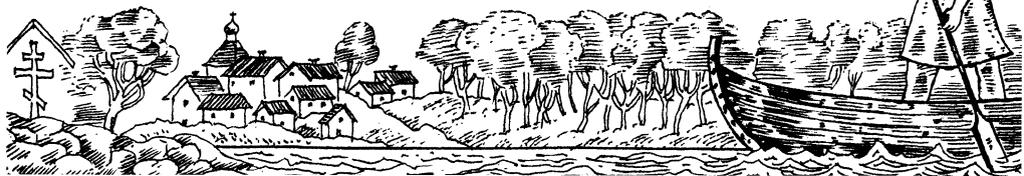
Все это самым тесным образом привязано к контексту речи, беседы, разговора. Так что человек (вполне может быть) ничего и не скажет, но его позиция в общении — яснее ясного...

Эх, жарко косить,  
Жарко сенокосить, —  
Жалко, миленький, тебя,  
Да придется бросить!

Так и вижу, как девушка в плясовом кругу, топнув ножкой («дробя»), выкидывает вперед одну руку, а другую держит на поясе, показывая при этом в сторону «ухажера-неудачника» — того самого, которого и грозитя «бросить». Реакция мгновенная: обида у адресата частушки, но смех, шутки, веселье — среди всех остальных окружающих. Они спаяны во едино общей мимической ситуацией...

При диалоге либо монологе человек обязательно иллюстрирует живые образы своей речи соответствующими жестами. «Вот та-а-акую шуку поймал!» — и широко разводит руки. «Ташу ее, ташу, а она бьется на блесне...» — и руки сжаты, словно продолжают крепко-накрепко держать удище спиннинга...

На удивление диалогично рассказывала мне о своей жизни в военное лихолетье одна вятская старушка: слова ее словно отскакивают от собеседника, а она мечет их в него снова и снова; при этом руки, голова, лицо у нее — в непрестанном движении.



«В войну не давали нам покоя: только одно — работа! Ни есть, ни пить, ни спать! Хуже этого уж не было. А давали — хоть бы грош?! Самое обидное, что нам-то — ничего. Хоть себя продай, а отдай налоги. Чем нам платить-то? Раньше лен-то изломаешь и продашь. Скот еще не держали. Кормить нечем. Корова была сначала у нас. Отаву косили в августе — ночью. Вынесем траву на свое поле (с лугов другого сельсовета). Наш председатель найдет эту траву: знает, что это бабы косили, так назначь человека — пусть увезет хоть в свой колхоз. Нет! Он им (соседям. — *В. Б.*) траву обратно отдавал. Вот так коровку-то держать!..

А рассказать ли, как нас в колхоз загнали? Бедняки-то — лодыри, скот не держат, ничего у них не росло. Как Советская власть стала, давай землю делить. По жеребьям — выгодно ли? Я раз на поле говорю одному: “Федор, выпряги мерина — он еле ходит. Пусть травки пощиплет хоть!” А он мне: “А сдохнет — так отдохнет!” ...

Почему бы не держать им четырех коров? У нас-то на девятых — пять коров. По себе жили. Косили — по скотине...

Лошадь не кнутом, а овсом везет. Вот я бедняков-то и не ценю...»

А сколько было слез?! Плакали и от горя, и от радости.

Вот что, например, рассказывала мне крестьянка А. В. Утемова (1916 года рождения) о том, как она встретила известие об окончании войны: «Потом и война, наконец-то, закончилась. Я в контору (колхоза. — *В. Б.*) пришла, а там у всех на глазах слезы. Ревут все. Бабы друг за дружку хватаются. Говорят: “Вот у людей-то мужики домой вернутся, а нам-то кого ждать? Убили ведь наших-то!”

Вернулись у нас с войны только пятеро человек на все село. Остальных поубивало, а кто и без вести пропал...

У меня мужик тоже вернулся. Я тогда быка взяла и навоз возила на огород. Увидала, что он идет по дороге, — возню бросила, забегала, засуетилась... Бык у меня в вожжах запутался... Радуюсь, бегаю... А он (муж. — *В. Б.*) говорит: “Ну, чего забегала? Не ждала, что ли?”...»

За последние полвека количество находящихся в обращении жестов резко уменьшилось, происходит стандартизация

их — под общепринятые нормы. Национальная «изюминка» вымывается...

Вспоминая фронтовые будни, бывший рабочий С. С. Невиницын рассказывал мне: «После боя опять радостно становится. Смех начинается. Друг над другом подтруниваем: “А ты-то бежал, как руками махал — ровно ворон крыльями!” — “А ты-то, когда “Ура!” кричал, такую рожу скривил — чуть рот не порвал!” — “А ты бежал, как заяц, и все оглядывался!”»



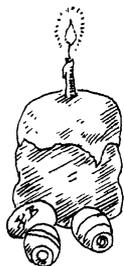
В наше время жест из речи заметно вытеснен: это — общемировая тенденция, связанная, очевидно, с научно-технической революцией, унификацией образования и воспитания.

Ну — где сейчас площадной театр (скоморохи, «Петрушка», мистерии, фарс, «дель арте» и др.), в котором жест вообще был равен слову?..

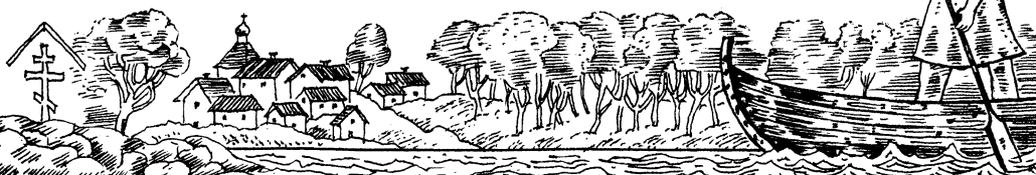
Или: еще в середине прошлого века при детских ссорах малыши часто показывали друг другу «кукиш» («фигу») со словами «накось, выкуси!» При угрозах (и малые, и большие) сжимали руку в кулак, потрясая им перед носом противника. Ныне — это уже далекое прошлое!..

Но при всем этом в русской речи жест по-прежнему остается самостоятельной знаковой системой — со своей внутренней структурой и смысловой нагрузкой.

В прошлом же для русских весьма значительной (и даже насущной) была связь жестыкуляции с православной обрядностью. Заходя в дом (об этом уже говорилось ранее), крестились на «красный угол», произнося трижды: «Господи, помилуй!» Поклоны отдавались не только головные (кивок), но и поясные, и земные. Через левое плечо плевали три раза. Рот при зевании крестили: чтобы «нечистый дух не залетел». Ну и многое другое — в том же роде...



В позднесоветские времена, когда церковь оказалась почти полностью раздавленной всей мощью атеистической государственной машины, православная жестыкуляция вроде бы ушла из обыденной жизни. Меня, например, крестила бабушка — годовалым младенцем, но воцерковленным я себя не считал (до поры до времени), в храм не ходил и, будучи уже студентом, на тайном крещении племянницы (в 1975 го-



ду) не смог (как «крестный отец») правильно осенить крестом лоб. Старый батюшка, осердясь, взял мою руку и, крепко сжимая ее, трижды сам перекрестил меня...

К слову: в те поры за «участие в религиозном обряде» можно было легко «вылететь» из комсомола, из партии (а также с учебы или работы), если бы какой-нибудь «идеологически подкованный» и «политически бдительный» гражданин на правил соответствующий «сигнал» о такого рода «грехопадении» в «компетентные органы»...

И все же в массе людской о православии тогда не забывали и относились к нему, я бы сказал, этнически: как к неотъемлемой составляющей русской национальной культуры, с которой борется безбожная власть.

Хотя в храм свободно ходили только старушки пенсинерки. На большие религиозные праздники (Рождество, Пасху, Троицу) возле единственной церкви в нашем городе устраивали дежурство милиции, чекистов, оперотряда, штатных работников партийных, комсомольских, советских органов — от районных до областных. Иногда не ленились переписывать всех (кроме бабушек), пришедших на празднование...

Постепенно православие приобрело у нас сугубо этническую окраску, хотя в исконно русских областях (в том числе — и в Вятке) служило немало священников родом из Западной Украины (Подолья, Галиции, Закарпатья). Там православная вера стояла тверже, и многие юноши в послевоенные десятилетия пополняли собой духовные семинарии, а затем — ряды пастырей духовных...

Надо сказать и о том, что русский человек более раскрыт и доверчив по отношению к своему, хорошо знакомому микрокосму (семье, товарищам по работе, соседям) и порой максимально закрыт для «чужих», незнакомых людей. Так что и жестикуляция, обращенная внутрь родного мира, более богата, а ориентированная вовне — гораздо скупее.

Всегда считалось (и негласно считается до сих пор), что человек должен вести себя в соответствии со своим внутренним достоинством, служебным чином и общественным статусом, временными полномочиями и т. д. В старинной русской поговорке едко высмеивается несоответствие чина

и поведения человека: «Был архиерейский посол, а брал собачий мосол»...

И конечно же, человеческий жест, мимика, темперамент, энергетика — все это сугубо индивидуально. Разброс вариантов здесь весьма и весьма велик. И огромное множество жестов, норм поведения заимствуется человеком бесознательно — у родителей или из воздуха своей эпохи.



Я на стуле сижу, —  
Слезы капают!  
Никто замуж не берет —  
Только лапают!

(В «шадящем» варианте частушки последнее слово заменилось на «сватают») ...

Впрочем, каждое поколение непременно (а иногда — и кардинально) видоизменяет жестикуляцию — «подгоняет» ее под себя. Новое время — новые песни!..

## Глава 14

### О ругательствах

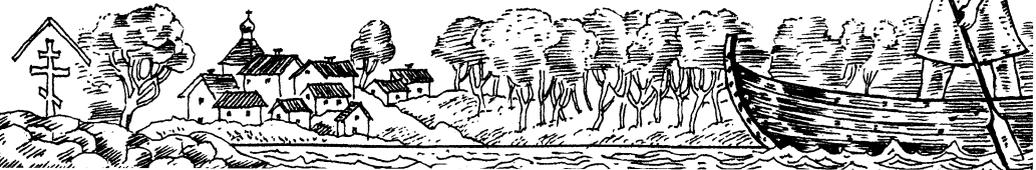
**Р**угательства в речи жили всегда. Это — обязательная и необходимая часть языка.

Много или мало бранились раньше русские крестьяне? Во всяком случае, сами они, противопоставляя себя пьяному и сквернословящему городскому работному люду, утверждают, что раньше в деревнях ругались меньше — «Бога боялись».

«В обычной повседневной речи бранные матерные слова не употреблялись, — вспоминают многие, — больше употребляли божбу». Уважение — к слову, себе, соседям — препятствовало громкой ругани.

Крестьянка В. Я. Бакланова вспоминала: «Уважали друг друга, обидеть боялись. Ругались в кулачок, да и то шепотком, чтоб не услышал никто...»

Женщины-крестьянки не ругались вообще — большим грехом считалось даже чертыханье. Впрочем, при ссоре, спо-



ре, драке, когда гнев затуманивал голову, выплескивались эмоции — ругательства летели направо и налево...

Вообще большинство стариков крестьян считают, что ругань раньше употреблялась лишь при ссоре, вспышке гнева — а не в обыденной речи, как сейчас. Типично такое суждение: «Люди стали сейчас озлобленные на жизнь, нет счастья у людей, поэтому и ругаются. Раньше больше было хороших, приветливых слов. Старались в словах друг другу уважения больше выразить...».

Речь здесь не идет о городе, заводе, мастерской: поговорка «ругается как сапожник» сложена не зря. Василий Ильич Р-ин, бывший сапожник, вспоминая о своем ученичестве, рассказывал: «Когда где трудно или страшно было, так не раз Боженьку помянешь, бывало. Зазорного в этом ничего не было. Однако и культуры у народа никакой не было. Пили водки много и ругались матом, бывало, через слово. Особенно когда в мастерской сапожной работал. Там только и слышно мат на мате. Изъясняться с помощью матерщины легче было. И напряжение нервное снимает в работе...»

Ругань могла быть и следствием ссоры людей, порой — спутником драки. Да и сами слова брани часто были совершенно, на современный взгляд, безобидны.

«Ругались у нас дьяволом, лешим. Называли чертом: “Бес ты окаянный!”; “Дура ты, сатана, нечистая сила!” ... Ругались нечасто. Деревня была не ругательская. Ругались, когда сильно насолят друг другу. Часто из-за земли ругались. Мерили-то шагами. У одного — шире шаг, у другого — уже. Вот и говорили: “Ты у меня прикосил к себе!” ... Исподтишка корову портили — тоже ругались. Камни бросали на сенокос — и из-за этого вызубривали косу. Ругались из-за сена...» (Лысов А. А., крестьянин).

Ругательство в речи действительно отражает стиль жизни, образ мыслей, отношение человека к миру и самому себе. Если человек чист духом, он чист и в речи...

Свидетельство деревенской жительницы А. А. Машковцевой подтверждает эту мысль: «В наше время в словах скромнее были. Таких грубых и резких слов раньше не употреблялось, по сравнению с теперешним днем. Такого матерного слова, как сейчас (прямо у некоторых через слово повторяет-

ся), не слышно было. Это мужики наши в ранешные времена в сердцах ругнутся так. А так, чтобы постоянно, то такого не водилось. Как Господь говорил, чтоб уста свои разными пакостными словами не оскверняли...

В работе мужик — так это тоже ругнется изредка. А как же: тяжело приходилось работать! Ну иль по пьяному делу кто выскажется, то было простительно: не владеет собой человек... А в доме, в семье об этом и речи не может быть! Родители никогда себе не позволяли какую-то ругань, особенно — при детях. А среди нас тем более такого не было. Тятя за такое дело строго бы наказал...

Парни при драке — деревня на деревню — тоже, бывало, изредка вплетали слова разные. А так: скромнее люд раньше был — и в словах, и в поведении. Более выдержанные были и уравновешенные. Друг к другу относились с большим уважением. Что между собой — даже к животным, к скотине домашней с лаской относились. Поговорят с ней, как будто она понимает...

А от женщины (тем более — от девушки) грубых слов, не говоря уже о матерных, не услышишь. А сейчас это стало — как обычное явление. Люди уже не замечают за собой этого — вот до чего дожили! Потому что сейчас у людей друг к другу уважения нет...»

Уважение к себе и другим, уважение к слову, внутренняя сосредоточенность и духовная опрятность — все это, оказывается, очень тесно связано. И одно без другого существовать не может.

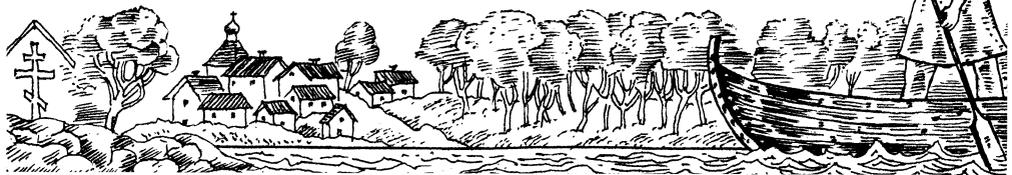
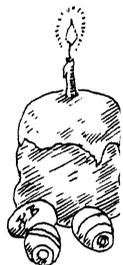
Но тяготы невыносимой жизни часто были бы просто непреодолимы без крепкого слова, да к тому же — с русским матерком.

«Эх, житье: вставши — да за вытье!» А выругаешься от души — и вроде легче тебе станет!..

## Глава 15

### Русь «сидячая»

**В** России «от тюрьмы да от сумы» никому зарекаться нельзя. Судьба может любого человека здесь удивительно бы-



стро вознести на гребень жизненного успеха, но затем столь же неожиданно сбросить в «бездну ничтожества»...

Правда, большинство «обыкновенных» людей, руководствуясь здравым инстинктом выживания, вовсе и не желают «вознесения к вершинам».

Как пел Булат Окуджава:

Прекрасны юные мечты:  
все метят в главари,  
но время скажет «нет», и ты  
пойдешь в золотари...

1976

Приходящие, как правило, с годами опаска, осторожность в «играх» с судьбою помогают многим избежать тюремных застенков и лагерных бараков. Но все же — миллионы побывали, а сотни тысяч и ныне пребывают там: в «местах не столь отдаленных»...

«Береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет», — гласит народная мудрость. Но ведь «мир заключенных» и «мир вольных» — это два сообщающихся сосуда. Бывшие «зэки», как водится, чаще всего возвращаются из неволи в родные места, в свою социальную среду, принося в нее (пусть и опосредованно) многие особенности «тюремно-уголовной» жизни, которые проникают каким-то (но весьма внятным) образом и в речевое общение, и в сферу быта и бизнеса, да и вообще — в умы и сердца людей, особенно — подростков, молодежи...

В «сталинские» годы значительная часть населения страны «сидела», но ведь другая-то (и немногим меньшая по количеству) часть того же населения строчила на первую доноску, а третья — охраняла первую: в лагерях, тюрьмах, ссылке...

Завелось превеликое множество людей, которые либо уже «сидели», либо могли «сесть», либо еще «сядут». Основная масса «сидельцев» (в середине прошлого века и ныне) — не уголовники и не «политические», а так называемые «бытовики». Ведь наше «зубодробительное» законодательство карало (и карает по-прежнему) лагерным сроком и за самые, казалось бы, незначительные правонарушения: раньше —

за невыход на работу, хищение колосьев с колхозного поля и т. д., теперь — за кражу хлебного батона, семейную ссору и т. п.

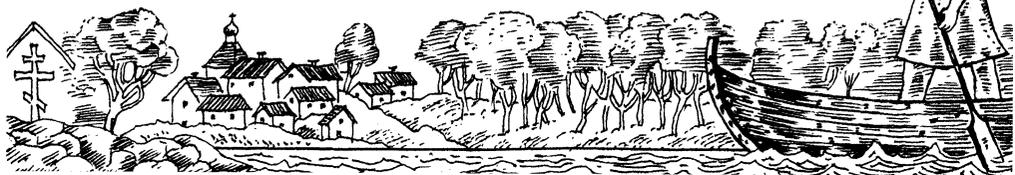
Мой дядя замечательный был человек (царство ему небесное!), но в конце 1940-х годов тоже угодил-таки «под срок». Дело случилось так. Выпивали они с мужиками в родной своей машинно-тракторной станции — и «не хватило»! Пошли на местный рынок, продали пару запчастей — и «добавили». Все вроде «путем»... Но кто-то (может быть, из этой же пьяной компании) донес «куда следует». И отмотали всем собутыльникам (дяде — в том числе) по лагерному «пятаку» — в полном соответствии со зловещим Указом от 1947 года («четыре шестых») — за «хищение общественно-го имущества» (статья 3). И надо сказать: легко отделались мужики — дело могло обернуться и полновесной «двадцаткой» (статья 4)...

Помню также, как (уже в начале 1960-х годов) едва не «сел» мой отец. Он работал шофером и однажды немного «подкалымил»: подвез дрова — с берега реки к дому знакомого мужика... Тот заплатил отцу три рубля... А между тем — дрова-то оказались «казенные»: какой-то там организации... Мужика отдали под суд, но временно не арестовали (взяли подписку о невыезде — на период следствия)... Мать долго и гневно умоляла отца сходить вернуть эту злосчастную «трешку». Тот сначала отказывался: мол — стыдно... Но в конце концов все же сходил — и отдал «криминальный приработок»... А в судебном заседании на вопрос: «Не получил ли он денег за перевозку дров?» — чистосердечно ответил: «Нет!»... В итоге: мужика посадили, а отец остался на свободе — подфартило...

«Залететь по Уголовке» (статье Уголовного кодекса) можно (и так оно было во все времена) очень легко: из-за драки, ссоры, «по пьяни», да и просто — по недоразумению...

Вспоминается ужасная история (из того же начала 1960-х годов), совершенно потрясшая мое детское воображение.

Жили напротив нашего дома в родном селе двое стариков (лет под шестьдесят, как я сейчас думаю) — муж с женой. А сын у них «мотал срок» в лагере где-то на Севере — как «мелкий хулиган». И вот надумал отец навестить сыночка:



поехал «на свидание», повез (для «передачи») кое-что из еды и одежды... Да так и не вернулся: его зарезали — прямо в лагерном сортире... По слухам, «сынишка» (мужик лет тридцати) вчистую проигрался на «зоне» в карты и (за неимением ничего другого) поставил на кон жизнь отца родимого — чтобы все разом отыграть... Но опять проиграл!..

Вот такие ужасы-кошмары рассказывали люди...

А через квартал от нас (на углу) жила тетя Аня — чрезвычайно добрая, приветливая бабуля-инвалидка: у нее не было одной ноги и она ходила на костылях. Светлее, радушнее человека не было на селе!.. Работала тетя Аня в войну вместе с моей мамой — на базе хлебопродуктов. Законы тогда были драконовские, а голод — страшный... И вот однажды у нее — при осмотре на выходе с базы после работы — охрана обнаружила в карманах горсть зерна. Дело «ясное»: в лагерь! Там работала на лесоповале, на погрузке — вручную закатывала бревна-баланы на железнодорожные платформы, и как-то (может быть, от неосторожности, а скорее — по усталости) попала под поезд — так и потеряла ногу). Освободилась досрочно (по инвалидности), вернулась на родину, но родители к тому времени уже умерли: жила одна, получала нищенскую пенсию, сама обрабатывала небольшой огород, ухаживала за ним, с него кормилась... Повторюсь: более благожелательного человека — к соседям и знакомым — я на нашей улице не встречал...

Не понаслышке знакомые с историей Отечества знают: в царской России сроду и на протяжении столетий не было такого невероятного числа арестованных, посаженных, расстрелянных государством, как в десятилетия коммуно-советского тоталитаризма.

Оступившихся — «несчастных» — на Руси жалели. Существовала традиция народной помощи — и «кандальникам», и прочим «сырым-убогим».

Вспомним, как у того же Сергея Маркова:

...Одна слеза лишь знойная  
 Прожжет сибирский снег.  
 Зашепчутся конвойные:  
 «Тоскует человек!»...

В России XX века появились миллионы «кандалных» и «каторжных» — вместо не столь уж многих тысяч при «царе-батюшке». Тогда в ходу была даже своеобразная молитва — «Невольничья милосердная»:

Милостивые наши батюшки,  
Не забудьте нас, невольников,  
Заключенных, — Христа ради! —  
Пропитайте-ка, наши батюшки,  
Пропитайте нас, бедных заключенных!  
Сожалейте, наши батюшки,  
Сожалейте, наши матушки,  
Заключенным, Христа ради!  
Мы сидим во неволюшке —  
Во неволюшке: в тюрьмах каменных,  
За решетками — за железными,  
За дверями — за дубовыми,  
За замками — за висячими.  
Распростились мы с отцом, с матерью,  
Со всем родом своим, племенем...

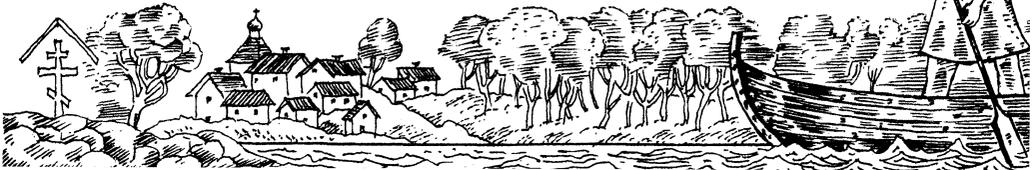


Ныне сочувствия уже не хватает: оно испарилось куда-то. Да и опыт массового «расчеловечивания», обретенный в минувшем столетии, невероятно изощрен, чудовищно эффективен и потому дьявольски привлекателен — для всякого рода современных «модернизаторов»...

Но в глубинах русских душ жалость к «падшим», сострадание, милосердие по отношению к ним — неистребимы. Дай только срок!..

И потом: для каждого россиянина в прошлом веке «серьезные» неприятности — в виде лишения свободы — не маячили где-то за горизонтом, а присутствовали всегда и везде, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Поэтому многие относились ко всему этому фаталистически: чему быть — того не миновать!

Вместе с тем уголовные повадки всякой там «отсидевшей» мелкой «шушеры» (развинченна походка, наколки-татуировки на видных местах тела, «блатной» говор, «выживание» на людях и т. п.) — вызывали явное и общее неодобрение.



«Ничего чужого не возьму, но и своего ничего не отдам» — вот такой «принцип поведения» исповедовался, практиковался, одобрялся и поощрялся моими земляками...

Если же говорить о «лагерном населении», то в любой колонии человеку, впервые попавшему туда, ее обитатели покажутся внешне очень похожими: лицами, одеждой, манерой держаться, речью... На самом же деле внутри любого «пенитенциарного учреждения» (колонии, тюрьмы, поселения) всегда царила и сохраняется поныне жесткая иерархия — по кальке замкнутого в себе средневекового сообщества (ордена крестоносцев, монастырской братии и т. п.).

Права и обязанности любого члена внутри этого социума зависят от того, к какой группе (категории) заключенных он принадлежит: «духарик» существенно отличается от простого «мужика», «битый фраер» — от «блатного авторитета» — и т. д.

Все здесь — в соответствии с неписанным, но жестко соблюдаемым законом «малой зоны», дублирующим (в общем и целом) нравы и обычаи «зоны большой» — сложившегося в 1920–1950 годах «советского социума» с его «центровым брендом»: Главным управлением исправительно-трудовых лагерей ОГПУ-НКВД-МВД СССР (ГУЛАГом), а беря шире — всей уголовно-карательной системы.

Мир этот суров, немилосерден и сложен. И постичь все его «детали» и «тонкости» возможно лишь изнутри.

Кто хоть недолго жил в тюрьме,  
Чей хлеб неволей пах,  
Те много знают о дерьме  
В душевных погребях.

Так полагает Игорь Губерман — российско-израильский сочинитель, известный прежде всего своими знаменитыми афористическими четверостишиями — «гариками». Он знает, о чем говорит: в начале 1980-х годов «отмаял» пять лет в сибирских лагерях — за «спекуляцию»... А в упомянутых им «душевных погребях» вся нация — как на юру: и этнопсихология, и менталитет — и т. д., и т. п.

Проводившаяся в стране на протяжении десятилетий политика «искусственной криминализации» породила и такой социальный феномен, как симбиоз профессиональной преступности и органов правопорядка, которые недаром получили в народе меткое наименование «правохоронительных».

Можно не соглашаться с теми, кто считает, что на рубеже старого и нового тысячелетий в России произошла «великая криминальная революция», но нельзя не видеть, что позиции современного организованного криминала, корни которого берут начало в «университетах» ГУЛАГа, за последние десятилетия существенно укрепились во всех сферах отечественного социума — и в базовых, и в надстроечных его структурах.

Мы до сих пор лишь приблизительно представляем себе масштабы и параметры этого явления. Серьезные и детальные исследования по этой проблеме отсутствуют...

И в связи с этим все чаще всплывает в памяти высказывание замечательного мыслителя Георгия Петровича Федотова, который пророчески утверждал: все исторически обоснованные процессы русской жизни протекают с такой разрушительной яростью, с таким «запросом», что и под конец не знаешь, через столетия не знаешь, что это — к жизни или смерти?..

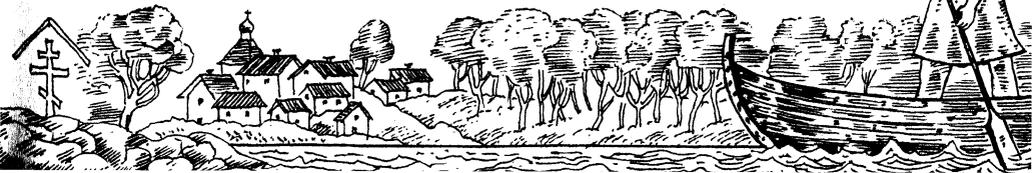
## Глава 16

### Русь бродячая

Есть одна старая поговорка, произнося которую обычно забывают самое окончание («резюме») ее, а в нем-то и спрятана вся соль: «Кто любит попа, кто — попадью, кто — попову дочку, а кто — свиной хрящик».

И таких «оригиналов» — «орлов», что предпочитают не обычную для всех «нормальных» людей дорогу, а изобретут обязательно что-то свое, — немало в русском народе.

Понятно, что «среднестатистическое большинство» такие «чудики» нервируют, раздражают. «Люди — дорогой, а черт — стороной!» — это о них сказано...



Но именно из таких «необычных» мечтателей, «бездельников», «пьяниц», «бомжей», «неудачников», «авантюристов без царя в голове» и формируется превеликая армия подвижников-героев — путешественников и первооткрывателей.

Немало этой «голи кабацкой» осваивало в старину Урал и Сибирь, Поволжье и Дальний Восток, Северное Причерноморье и Среднюю Азию... До Америки ведь добрались (Аляска, Калифорния)...

С Дону, как известно, «выдачи нет!»! Ну вот и зарождается, бьется в человеке некий «креатив», зудит (извиняюсь за выражение!) «точно в заднице шило» (и попробуй его оттуда вытащить!), тянет его — куда-то далеко: «за реки и горы, моря и окяны...».

«Озоровать», «испытывать судьбу» на Руси всегда охотников вполне хватало. Сидит, видать, в русском человеке (не в каждом, разумеется, но во множестве соплеменников) вот эта тяга «к перемене мест», авантюре, поиску неведомых земель и сокровищ, знатной родни — словом, к чему-то невероятному... И снимается человек с места: колесит по необъятной стране, нигде приткнуться не может — и возвращается (побитый и меченный неудачами) в старую жизнь, которая его давно отторгла и забыла. Но обычно это мало кого вздумляет: наберется такой «бродяга» толику сил, и опять — вперед, за новыми приключениями...

Отметим: такие вот «смельчаки-удальцы» — превеликое горе для своих родных и близких. Но одолевающий их «бродяжий» дух — неукротим, неуправляем, неискореним...

Героизируя подобные судьбы, поэт Сергей Марков (сам, кстати, метавшийся по безбрежным просторам Советского Союза в годы первых «сталинских» пятилеток — правда, не всегда по своей воле) высказывался о них, надо сказать, с большим уважением:

...Шли на восход... И утренний туман  
Им уступал неведомые страны.  
Для них шумел Восточный океан,  
Захлебывались лавою вулканы.

Могилы неизвестные сочти!  
И не ответят горные отроги,  
Где на широкой суздальской кости  
Построены камчатские остроги.

Хвала вам, покорители мечты,  
Творцы отваги и суровой сказки!  
В честь вас скрипят могучие кресты  
На берегах оскаленных Аляски...



В душе «бродячего» русского человека постоянно пульсирующая стрелка невидимого внутреннего компаса (указывающая обычно на восток, но нередко также — и на другие стороны света) подвигала первопроходцев и «внутренних мигрантов» к Уралу и за Урал, к другим «далям и весям».

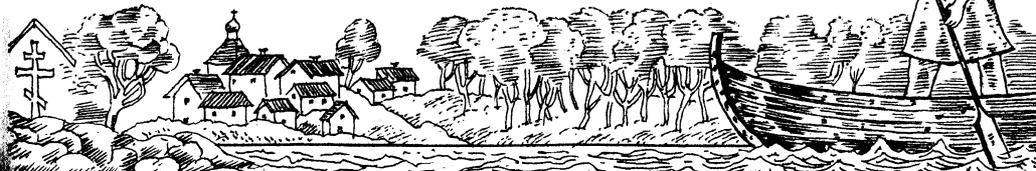
Ведь Россия — это «страна, которая колонизируется».

Так — буквально в трех словах — наш великий историк Сергей Михайлович Соловьев концентрированно определил суть тысячелетней отечественной эволюции. Непрестанный людской поток неостановимо и неутомимо перехлестывал и бесчисленные мощные речные преграды, и таежное бездорожье, и бескрайние степи, и крутые горные отроги...

Но уже в XX веке этот «креативный» порыв и невероятная «центробежная энергия» нации поиссякли. И сегодня поток переселенцев из Сибири в Европу намного превосходит «встречное движение»...

Знавал я одного такого «бродячего» человека. Назовем его «дядя Саша». Родился он в середине 1950-х годов в обычной семье советского офицера...

К слову: вот уж кого жизнь действительно помогала по нашей неоглядной стране в советские десятилетия, так это — офицерские семьи (а это, между прочим, — миллионы человек): сегодня — Кушка, завтра — Новая Земля, затем — Свердловск (Екатеринбург) — и т.д. «Путешественники» поневоле — с женами и детьми — ехали по приказу куда придется... Жизнь в военных городках «сахарной» тоже не назовешь: не «зона», конечно, но и не «вольная воля»... Да еще пьянство (не поголовное, но весьма распространенное) мужей, интриги, склоки и ссоры жен... Иногда, правда, — замечательная природа вокруг, но чаще — скуд-



ная мертвечина (тундра, пустыня, горы, безлюдный остров) и тоска смертная...

Вспоминается анекдот. Вопрос: «Чем отличается царский офицер от офицера Советской армии?» Ответ: «Первый — до синевы выбрит и слегка пьян; второй — слегка выбрит и до синевы пьян»...

Но вернемся к дяде Саше. Так вот: уже в раннем детстве он убежал из дома, правда, — недалеко. Юношей приходил на местный аэродром: устраивался там где-нибудь на обочине — и часами сидел, наблюдал за полетами самых разных «крылатых машин»: от примитивных «тихоходов» до красавцев-сверхзвуковиков... Его всегда манила, притягивала к себе «неведомая даль». Умный, шустрый, невысокий, но жилистый, крепкий — он любил туристические тусовки, походы, стал профессиональным спелеологом, нашел себе коллег-сподвижников в исследованиях пещер Урала... Окончив географический факультет, в молодости объездил всю страну: Алтай, Саяны, Хибины, Камчатка. Побывал и на Тибете... А вот учителем географии проработал всего полугодие: понял — не его это дело!.. Ну почти как в известном романе Алексея Иванова «Географ глобус пропил»...

Выпивал, надо сказать, дядя Саша крепко, но ведь и закусывал... В каких-то деловых проектах крутился — зарабатывая на жизнь. В чем-то выручал и круг друзей-знакомых — любителей «спелеотуризма»...

Тут вот ведь какая штука: на волне 1990-х годов некоторые умные и дельные мужики сумели-таки «зацепиться» и неплохо «раскрутиться» в бизнесе (не имея, заметим, отношения к криминалу), а затем — из обретенных капиталов слегка помогли друзьям юности (сохраняли старую «тусовку»), но главное — всю стремились реализовать свои «розовые мечты»: летали в Гималаи и Тибет, «осваивали» Альпы и Пиренеи... Жизнь раскрывалась перед ними словно чаша с дорогим ароматным вином...

В ту пору дядя Саша тоже (не без помощи старых друзей-бизнесменов) организовал собственный магазин — по продаже альпинистского и прочего горно-туристического снаряжения. На паях приобрели остров на озере (неподалеку от города) — для отдыха... Казалось бы, жизнь хорошая,

легкая, праздничная: мечты сбываются, хорошее вино и другие крепкие напитки — не переводятся...

Но ведь как говорится: «Пей бураком, да не будь дураком!»...

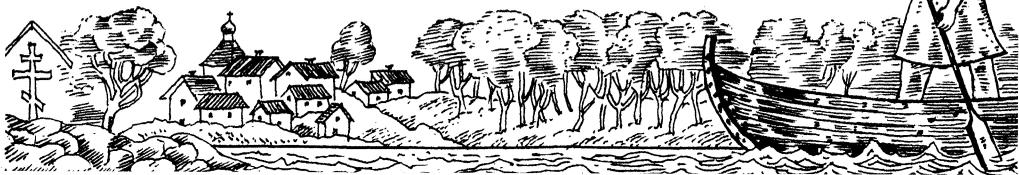
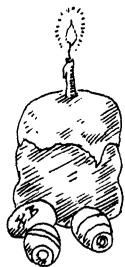
Жизнь постепенно усложнялась и ухудшалась. Поколевис по миру и столкнувшись с материальными проблемами, дядя Саша вроде бы уgomонился: сначала продал половину своего магазина, затем — оставшуюся его часть; долго жил в одиночестве — старым холостяком (хотя дети у него были) ... Приютил какого-то совершенно спившегося «дружка» (условно — Володю), человека, в общем, безобидного, к тому же услужливого по всяким мелким хозяйственным делам. И вот однажды этот самый Володя поведал дяде Саше, что его, Володин, дедушка якобы спрятал где-то в Иркутске (в родном доме — в стене подвала) целую горсть бриллиантов. «Если бы только добраться до этого тайника!.. Вот она — реальная возможность разбогатеть!..»

Вечерние разговоры на эту тему стали ритуальными и продолжались месяца три. Наконец дядя Саша (коему тогда набегало уже под шестьдесят) оседлал свою видавшую виды машину, загрузил в нее (вместе с Володей) еще парочку друзей-попутчиков, и вся эта нескучная компания двинулась с Урала в Иркутск — «за сокровищами»...

Сюжет — вполне достойный пера И. Ильфа и Е. Петрова, но с необходимым соответствующим комментарием: «Кто легко верит, тот легко и пропадает»...

До Иркутска «охотники за бриллиантами» добрались без приключений: трасса-то отнюдь не прогулочная и далеко не безопасная... Но как-то все обошлось... А вот по приезде в Иркутск упомянутый Володя, показав тот самый «дедушкин дом» и выпросив у дяди Саши банковскую карту («чтоб букет цветов купить — для родных при встрече»), благополучно растворился среди сибирских земляков... Обнаружился он лишь дня через три — и с полностью «выпотрошенной» кредиткой...

С превеликими тяготами «компаньоны» вернулись восвояси — на Урал. И что самое поразительное: уже через две недели дядя Саша простил Володю и вновь приютил его в сво-



ей квартире. И смех, и горе!.. По присловью: «Золото моем, а сами с голоду воем!»...

Впрочем, это еще не финал всех испытаний, которые выпали на долю легкого на подъем дяди Саши — побывавшего в пещерах всех горных систем Страны Советов.

Где-то через месяц после «иркутской экспедиции» некий кредитор, выясняя с дядей Сашей отношения по давно просроченному денежному долгу, в порыве ярости так крепко приложил нашего «спелеолога» по голове, что ему пришлось сделать впоследствии две операции на черепе, и только на этом завершилась, в сущности, активная фаза его неприкажной судьбы...

Вот этот «вирус» и «зуд» дальних странствий, когда «мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз», в крови у превеликого множества людей: геологов и старателей, добытчиков-«вахтовиков» и туристов-романтиков, «бомжей» и нищих, «бичей» и побегушников-детдомовцев...

Беспрецедентные пространства России (от тундры — до теплых морей, от Балтики — до Тихого океана) как бы сканированы в кровь русского человека. И что с этим делать — не знает никто.

Одна (и все та же) отговорка: «Наше авось — не с дуба сорвалось!»...

Справедливости ради стоит сказать, что в 1990-е годы — в пору разгула бандитского капитализма в стране — множество людей потеряло себя в жизни, опустившись на самое дно ее. Их неудержимо разнесло по России и прибило в основном к большим городам, где — хотя бы в мусорных баках — они всегда могли отыскать себе пропитание, какую-то (иногда вполне приличную) одежку, кое-что «для души» (старые книги, журналы, даже телевизоры...).

Мой старый друг — 80-летний художник — задумчиво сказал мне однажды во время нашей совместной уличной прогулки, заметив во дворе «бомжа», увлеченно копающегося в таком вот контейнере: «Залезть в мусорный бак легко, вылезти назад — практически невозможно...»

Все это так. Как несомненно и то, что «Русь бродячая» всегда была (и остается) великой и многоликой. К паломникам, странникам, и юродивым («каликам перехожим»),

«лихим людям» («ворам» и «разбойникам») прошлых эпох присоединились — после мощных социальных ураганов конца XX века — миллионные толпы самых разномастных людей...

Вспоминается мне русский «бомж» в Будапеште: выпускник университета, владеющий (кроме родного) тремя европейскими языками, для коего возможность «вечного путешествия» по планете — главное счастье в жизни...

Как говорит моя родственница, врач-гинеколог: «Гены пальцем не раздавишь!»...



## Глава 17

### Москва и Россия

**В** XX веке Москва, вновь став официальной столицей страны, приобрела в умах русских людей (и всех россиян) значение невероятное, порой — мифологическое. В ряду «одна страна — один вождь — одна столица» все покрывалось дымкой волшебства и фантасмагории.

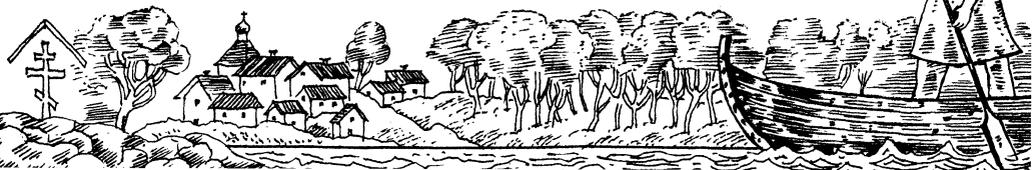
Ведь что и как думали в провинции о Москве в советские времена?

Ну, во-первых: «В Москве все есть — деньги, продукты, там — власть, знаменитости и всяческие чудеса...»

Далее: «Если хочешь чего-нибудь добиться по большому счету (сделать настоящую “крутую” карьеру, обрести широкую известность — как политик, литератор, художник, артист) — надо ехать непременно и только в столицу...»

Но Москва-то — не резиновая, хоть и разрослась, разбухла неимоверно за минувшее столетие: как толстая бабища на сельском рынке, которая, напаялив в мороз на себя «сорок одежек» да поставив еще под юбки железное ведро либо чугунок с горячими углями, горделиво поглядывает на шляющуюся туда-сюда публику и при этом смело предлагает нехитрый свой товар — пирожки с мясом, рыбой, капустой, картошкой и т. п.

Конечно же, превеликое число «праздношатающихся» провинциалов, не сумев «зацепиться» в столице, «отчаливали» из нее восвояси. Как говорится: «Пошел за шерстью,



а вернулся сам стриженным»... Или (более древнее): «Хотел мужик с Москвы сапоги снести (украсть. — *В. Б.*), да рад с Москвы голову унести»...

Так бывало и в старые времена, когда Москва являла собой подлинно национальный русский город, вполне может быть — даже более азиатский, нежели европейский.

«Сталинская реконструкция» всю эту «азиатчину», патриархальность и «русскость» древней столицы сокрушила напрочь. Урбанизация! Город стал колоссально монструозным центром власти подлинной Империи. Свирепая мощь бюрократии выпирала и сочилась из всех его «высоток»-тяжеловесов, административных, театральных и музейных зданий, станций метро, многокилометровых проспектов и набережных — из того, что составляло инфраструктуру («жилы и уста») этого диковинного города...

Город, понятно, менялся (и весьма кардинально) в каждую из прошлых эпох. Вот, скажем, какой увидел «допожарную» (1812 года) Москву один из навестивших ее в конце XVIII века иностранцев (немец):

«Весь город — совершеннейший восточный базар! Грек и татарин, турок в чалме и туфлях, сухой француз в башмаках, перескакивающий с камня на камень мимо луж и промоин — чувствуют себя здесь так же спокойно, как и тот ямщик, бранящийся с торговкой и обрушивший на нее весь запас тайников народной речи...»

Именно эта «свобода жизни» (в отличие от официально-чопорного Санкт-Петербурга) долго чувствовалась в Москве (еще даже и в XX веке), хотя «понаехавшая» на разного рода стройки и «непрестижные» хозяйственные работы «лимита» довольно быстро «переварила» местное коренное население и, по сути, «растворила» его в себе.

Отнюдь не облегчали жизнь рядовых горожан и обретенные Москвой функции главного транспортного узла страны, крупнейшей перевалочной грузовой базы и бессонного транзитного пассажирского пункта...

Отсюда, скорее всего, — нескрываемая неприязнь москвичей ко всяким там «приезжим и проезжим». Как стали говорить в XX веке: «Москва бьет с носка»...

Сегодня Москва — космополитический суперурбанизированный мегаполис-монстр, где тяжело жить всем: бедным и богатым, большим начальникам и «мелким сошкам», мужчинам и женщинам, старикам и детям... Плохая вода, скверный воздух, нездоровая пища (и дешевая, и сверхдорогая — без разницы), постоянное людское столпотворение (на улицах, в транспорте — везде), невероятно, чудовищно огромные табуны машин (на улицах, трассах, в городе и за городом) — все это производит прямо-таки парализующее впечатление на провинциалов... Ритм жизни здесь просто ужасен... Сам воздух города высасывает жизненную энергию из любого человека...



Похоже, современных москвичей, эту совершенно особую и невиданную ранее категорию людей, следует изучать как неких экзотических существ (типа гуманоидов-мутантов) либо как вымирающих представителей фауны (белых медведей, к примеру...).

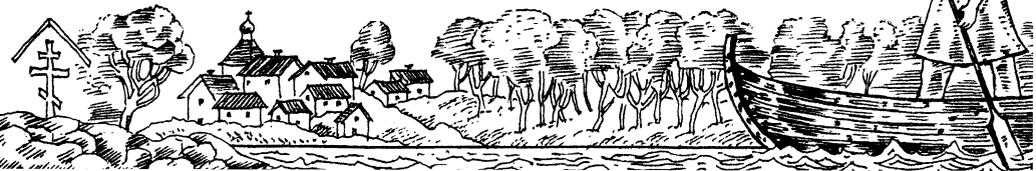
Находящиеся в Москве исконно русские святыни: Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного и т. п. — превращены в назойливые лубочно-плакатные артефакты для иностранцев и туристов...

Но ведь уже в апреле 1940 года Анна Андреевна Ахматова в своих «Стансах» верно подметила:

...В Кремле не надо жить — Преображенец прав.  
Там зверства дикого еще кишат микробы:  
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,  
И Самозванца спесь взамен народных прав.



Впрочем, не бывает «минусов» без «плюсов». Этот город сосредоточил и несет в себе мощный накал интеллекта, огромный потенциал культуры (как понимали ее в XIX веке), необъятный ресурс сверхцентрализованной власти. Он предоставляет порой человеку уникальные и невероятные возможности для реализации своих задатков (иногда — весьма скромных изначально), для обогащения (ведь большая часть российских капиталов крутится именно здесь — в Москве), для саморекламы, а там, глядишь (чем черт не шутит?!), — «восхождения на вершину славы»...



Москва в нашем Отечестве действительно всему дает ход, до всего ей есть дело. Именно отсюда, как из «морально устаревшей» уже, но все-таки циклопически огромной динамо-машины, расходятся повелительные импульсы по всей державе. Отсюда же простирается та невидимая, дряхлеющая, но по-прежнему необоримая рука, что тащит Россию за шиворот куда-то вдаль (непонятно, правда: то ли — в «светлое будущее», то ли — в бездну)...

Я впервые увидел Москву юным студентом — в июне 1974 года.

Раннее утро. Большие пустынные улицы и площади — с поливальными машинами на них. Солнце и зелень. «Разносортные» дома... Все очень приветливо, симпатично, уютно. Много всего такого, чего в остальной России еще не было... Причем город тогда не гудел непрерывно: и день, и ночь — как жук в муравейнике или пчелиный улей. Он спал и просыпался, жил, волновался («ох, все говорят только об этом!»), недомогал и отдыхал... В нем — ярко, празднично, определенно — наличествовали все четыре времени года, присущие окружающей Среднерусской равнине. А прекраснее подмосковных березовых рощ в сентябре, когда они стоят в полном убранстве, сверкая золотым своим нарядом, — я в жизни, пожалуй, так ничего и не увидел...

Это все — подлинно русское: и природа, и климат, и красота...

Еще одно чудо — «вода с серебром» из подмосковных Мытищ. Эту водичку в старые времена (до конца XIX века) возили «богатым барам» по железной дороге аж в тогдашнюю столицу — Санкт-Петербург...

А современная Москва переросла себя и стала развиваться по каким-то неведомым нам, простым смертным, законам, точнее сказать, наверное, по матрице космополитического супергорода — с его укладом, нравами, понятиями...

Такова, хочу подчеркнуть, моя личная точка зрения — как сугубого провинциала. Убежден: нынешняя Москва — отнюдь не Россия (в определенном смысле, разумеется). Здесь почти не сохранилось традиционного русского уклада жизни, его темпоритма (неспешного и соразмерного человеку), настоящей природы, характерного национального строя

мысли и соответствующей ему русской речи: то есть — всех тех «особинок», что, в сущности, и создают, и определяют своеобразие нации.

Поэтому, чтобы увидеть «настоящую Русь», надо покинуть Москву и проехаться по провинции: вполне годятся любые областные либо районные города Среднерусской полосы или Севера (не обязательно — Суздаль, Кжи и т. п.). Интересны и святыни с традицией: калужская Оптина (Введенская) пустынь, нижегородские Саров и Болдино... Многообразие достопримечательностей Поволжья великолепно смотрится с борта круизного речного судна...

А в общем-то, реки в Европейской России — это великое сокровище, которое мы почти утратили: после возведения бесчисленных плотин и ГЭС, вырубки прибрежных лесов, осушения болот и т. д. Еще одна сторона платы за форсированную и бездумную (часто безумную — параноидальную) «догоняющую модернизацию»...

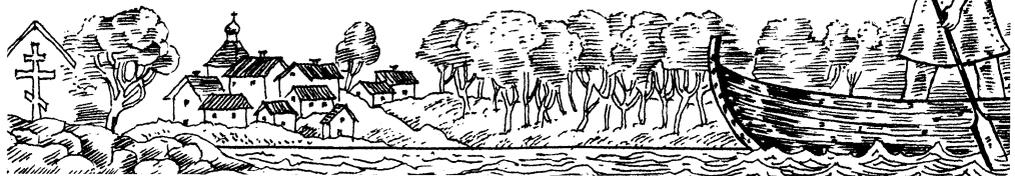
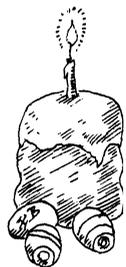
Добавим: да, многие «продвинутые» провинциальные молодые люди, наивно (и в подавляющей массе своей — безо всяких на то оснований) пытающиеся «завоевать мир», стремятся в Москву — как мотыльки на огонь свечи. Но многократно больше тех, кто не хотел бы и не помышляет жить в столице.

Не нами сказано, однако — и возразить нечем: «Крепка могила, да никто в нее не хочет! Крепка тюрьма, да только черт ей рад!»

Именно отсутствие «воли-свободы», дикой природы, синего неба и ясного солнца делают жизнь в Москве невыносимой и невозможной для провинциала. При этом столицу в «глубинке» и недолюбливают, и боятся, и даже слегка презирают. Приглашая в гости к себе друзей-иностранцев, предуведомляют: «Настоящая Россия и настоящие русские — у нас (в Вологде, Новгороде, Твери, Вятке, Перми...), а не в Москве»...

Но что там ни говори, а с реальной-то жизнью не поспоришь: «Куда иголка — туда и нитка». Судьбы российской провинции и древней столицы сплелись неразрывно.

Хотя еще в конце 1990-х годов на Первом конгрессе русской интеллигенции, проходившем в той же Москве, один замеча-



тельный профессор-провинциал предложил «разгрузить» нынешнюю столицу страны и даже перенести ее в какой-нибудь небольшой областной город — Тулу или Владимир... Можно подумать и над тем, чтобы специально отстроить совершенно новый столичный центр (как в Бразилии, скажем) ... Мотивировал профессор свое предложение тем, что Москва давно уже живет «сама по себе»: своими интересами, своими людьми, своей политической игрой — и на остальную Россию должного внимания не обращает. От сего-то и могут происходить превеликие бедствия — и для державы, и для народа...

Нда...

Как говорят в селе иногда — при болезни коровы: «У нее жвак потерялся»... Те, кто держал (или держит) корову, знают, что она «перемальвает» свою жвачку в определенном ритме. И только так может усваивать пищу. Но случается, что по какой-то причине (от испуга или болезни) она вдруг теряет «волну» этого гармонизирующего все ее существования ритма. Происходит сбой: корова не может поглощать корм без этого животворного «жвака», и тем самым возникает серьезная угроза для животного — вплоть до гибели от голода, если «жвак» не восстановится...

Жизненные ритмы России и Москвы — строго индивидуальны. Любые перебои в этих ритмах смертельно опасны для нации. Все может быть. Припомним еще одно мудрое народное изречение: «И не нашим селям чета, да подламывались»...

Тем не менее, вопреки всему и несмотря ни на что: в глубине подавляющего большинства русских душ «Москва златоглавая» по-прежнему остается символом национального торжества и непреходящего красочного праздника, воспринимается одновременно как реальная мощь и древняя сказка, загадочный инопланетный корабль и дальняя неосуществимая мечта...

---

## Глава 18

### Русская водка

**П**ожалуй, самым широко известным в мире русским национальным продуктом можно смело назвать водку.

И отношение к ней русского человека — тоже яркая черта нашей жизни.

Листая на досуге журнал «Жизнь» за 1900 год (орган «легальных марксистов», издавался в 1897—1901 годах в Санкт-Петербурге, в 1902 году — в Лондоне и Женеве), я наткнулся на удивительное письмо в редакцию от одного российского обывателя.

Этот текст я бы озаглавил как «Похвала водке».

Излагается же анонимным его автором (по всей видимости — дегустатором-алкоголиком) буквально следующее:

«Милостивый господин редактор!

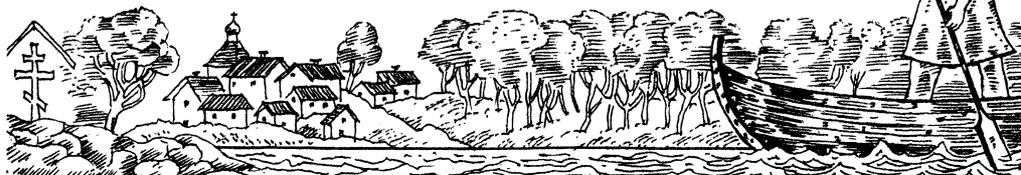
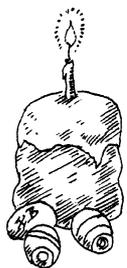
Позвольте через посредство уважаемого вашего журнала довести до сведения кого следует, что казенная водка стала хуже. Будучи большим любителем водки и потребляя не менее 10 рюмок в день, а при хорошем расположении духа и добром здоровье — до 15 рюмок, я, естественно, хочу, чтобы водка доставляла мне удовольствие и пользу. Так оно и было, когда я пил водку Смирнова (дай Бог ему доброго здоровья!). Но с введением монополии я стал замечать, что водка все хуже и хуже. Вкусовое ощущение совсем не то, что от водки Смирнова; нет того изящного, маслянистого и вкрадчивого привкуса, который так ценится в водке Смирнова или доброй памяти Новосильцева. Недавно я достал себе Смирновки: между нею и нашей — целая пропасть. Я выпил 10 рюмок и не только без всякого принуждения, а, напротив, принудил себя, чтобы больше не пить. Поэтому не следует (ли) местному складу готовить такую водку, чтобы она не заставляла жалеть о минувших лучших днях?»

Подпись: «Умеренный потребитель водки»...

Ну, что тут скажешь?

Письмо исполнено с пафосом — на ноте высокой поэзии, с подлинным, душевным чувством...

Комментируя его, литератор (впоследствии — эмигрант) Евгений Николаевич Чириков справедливо отмечал: «За этим письмом встает целая картинка жизни русской провинции... встает помятая, полусонная и добродушная физиономия обывателя... для которого даже воспоминания о лучших минувших днях ничего не рожают, кроме сожаления о водке лучшего качества...»



Но это, так сказать, эмоциональная сторона дела. Суть же вопроса заключается в том, а в действительности — лучше или хуже стала со временем русская водка? Ведь при всех субъективных предпочтениях так называемая «питкость» (то есть благоприятные вкусовые ощущения при употреблении) — лишь одна из сторон качественной водки и отнюдь не единственный показатель ее качества вообще...

Пришлось углубиться в дореволюционные издания знаменитой энциклопедии «Гранат». А там внятно поясняется, что еще до введения в России «водочной монополии» качество как спирта, так и водки, производимых фирмой Смирновых (дяди и племянника), было значительно хуже, нежели у аналогичных «казенных» продуктов. Что же касается «прекрасной питкости» «Смирновки», то она достигалась благодаря различным ароматическим добавкам (довольно вредным для здоровья).

Так, профессор-химик Михаил Григорьевич Кучеров еще на рубеже XIX и XX столетий обнаружил в «хлебном вине Смирновых» поташ и уксусно-кислый калий, придававшие «Смирновке» пресловутую «мягкость», но при этом совершенно нежелательные к употреблению — по санитарным показаниям. Кстати, уже в советское время было рекомендовано добавлять в винный спирт питьевую соду, что, как считалось, не только сообщало водке «питкость», но и способствовало улучшению пищеварения у потребителей «всенародного напитка»...

С 1894 по 1902 год в России была последовательно введена «казенная монополия» на водку. Ее производство и продажу изъяли из частных рук. И «казенная» («менделеевская» — как ее нередко называли) водка оказалась и более качественной, и (если тут уместно это выражение) менее губительной, чем «вкусная», но коварная «Смирновка»...

Вспоминая 1960–1970-е годы, поражаешься тому, как «злоупотребляли» мужики — из всех слоев общества: простые работяги, пролетарии и колхозники, инженеры и доценты, учителя и врачи... С каким исступлением, массово, находя в этом смысл жизни! Спивались — независимо от профессии и социального статуса. Пили годами, жесточно. Спился мой научный руководитель в университете —

добрейший человек, ученый глобального системного ума — как спился и злейший враг его: совершенно аморальный, растленный тип...

А сколько встречалось тогда на улицах пьяных?! Во всяком случае — намного больше, чем сейчас, когда взрослые почти все поголовно (кроме разве что босяков и маргиналов) водят автомашины...

Вспоминаю (1987 год) своего соседа — из квартиры рядом, заводского рабочего дядю Толю — добродушного мужика, который каждый раз после получки приносил мне бутылку водки — «на сохранение». Боялся за себя: не удержится и выпьет «заначку» — разом и без толку... А потом раз пять приходил за этой «заначкой» — при том, что забирал ее в первый же раз — и довольно скоро. Остальные четыре визита наносились уже лишь в надежде на то, что водка еще сохранилась — «ну, самая малость хотя бы»... В конце концов мне надоели эти алкогольные «бродни», и я перестал принимать от дяди Толи его «заначки»...

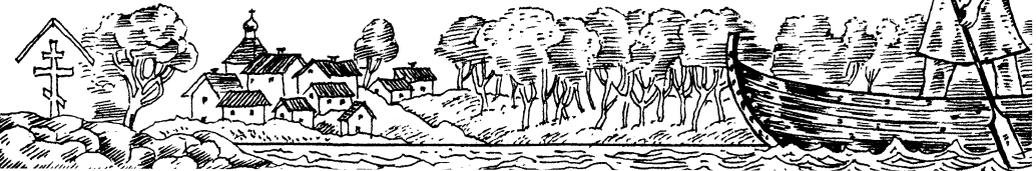
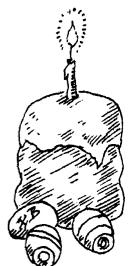
Многие помнят этапы той жизни по ценам на водку: 2 рубля 12 копеек, 2 рубля 87 копеек, 3 рубля, 4 рубля 62 копейки...

Спирт при изготовлении советской «массовой» водки часто использовали картофельный, не зерновой. Но ведь наличествовала еще и столь же «массовая» советская водка, но произведенная из целлюлозного спирта (основное сырье для которого — опилки), так называемая «табуретовка»...

Бр-р-р!..

Бутылка водки в «доельцинские эпохи» служила самой твердой «валютой»: ею расплачивались за любые услуги — от вспашки огорода до починки унитаза... Так что сейчас, если прикинуть «на глазок», «водочная ситуация» представляется куда более благополучной. «Пью, но не больше людей», — как говаривал еще один мой знакомый-алкоголик...

Кстати, до Первой мировой войны более всего в мире производилось «абсолютного» (чистого) спирта не только в России, но также в Германии и Австро-Венгрии. В каждой из этих империй ежегодно выкуривалось около 35 миллионов ведер (одно ведро = 12,3 литра, то есть 35 миллионам ведер = 430,5 миллиона литрам) данного «продукта». Франция и США получали его в полтора раза меньше. Выпива-



ли же водки (в 40-процентном эквиваленте) тогда в России примерно по 5—6 литров в год на каждую живую душу (это — без учета самогона и другого самодельного зелья, меры которого никто не ведал даже в самые «запретные» годы...).

Статистика статистикой, но все-таки позволим заметить: в стране нашей, для населения ее — по условиям климата, в силу народных традиций в питании — умеренное потребление «беленькой водочки» (не стаканами, конечно, а по одной-другой рюмочке в день) гораздо полезнее вина и «цветных» крепких напитков... Вспомним еще раз китайцев: «Кто живет на горе, должен питаться тем, что растет на горе; кто живет на болоте — ему полезнее то, что растет на болоте» — мудрость старая, но живая...

Важные моменты: ритуал потребления водки в России, отношение к ней в разные периоды жизни человека. Это все же — мужской напиток! И нельзя, разумеется, забывать (как говорил мой брат, двенадцать лет выпивавший по бутылке водки каждый божий день, а затем «завязавший» — и намертво): «Водка — это же чистый яд!»...

Впрочем, общественное мнение у нас всегда относилось к пьянству весьма снисходительно — с пониманием и юмором. Ведь говорили же не просто так: «Кто празднику рад — тот до свету пьян»...

## Приложение

Как пьют русские писатели.

Рассказ буфетчика ресторана «Вена»

...Русские писатели пьют преимущественно очищенную (водку. — *В. Б.*), но не брезгают и пивом, которое спрашивают всегда бокалами. Когда средства позволяют, русские писатели охотно требуют и коньяку, предпочитая хорошим, но дорогим маркам плохие, но зато дешевые, вина русские писатели пьют редко — только когда их угощают; что же касается ликеров, то склонности к ним не чувствуют, предпочитая повторить коньяк, чем перейти на ликер.

В отношении закуски русские писатели требуют преимущественно той закуски, которой за наименьшую цену пола-

гается наибольшее количество. Многие пьют, совершенно не закусывая, или совершают обряд ерша, заключающийся в том, что каждую рюмочку водки заглатывают глотком пива. Минеральную воду русские писатели не пьют, но квасу требуют, и притом со льдом.

Русские писатели пьют в кредит-с, хотя некоторые пьют и на наличные или в рассрочку платежа. Иногда русские писатели оставляют заложника и затем его выкупают. В отношении, так сказать, емкости русские писатели идут непосредственно за купцами, причем и рюмки среднего размера — поменее купеческого и поболее общегражданского — называют у нас писательскими. Некоторые русские писатели пьют до положения риз, но большая часть русских писателей отличается хорошей закалкой и ума не пропивает. Напившись, русские писатели или целуются, или ругаются, а некоторые произносят речи на тему об искусстве или рассказывают про авансы, которые они получили и пропили — или собираются получить и пропить. Замечено, между прочим, что суммы этих авансов русские писатели по большей части значительно преувеличивают.

*Газета «Русское слово», 1908 год*

## Раздел II Русское слово и русские нравы



### Глава 1

#### Лексикон русских крылатых слов и выражений

**Я**зык — это действующий архив памяти, истории, культуры и психологии народа. Он живет — и намного прочнее любых формаций, идеологий, законов и правителей.

Писатель-этнограф Сергей Васильевич Максимов в конце XIX века составил замечательный сборник русских крылатых слов, где история и душа раскрылись с замечательной полнотой. Вот это и есть «русскость» — без фальшивых прикрас и ложно-глубокомысленных изречений. Конечно, значительная часть содержания этого сборника уже «вымылась» из нашего языка, но большее — осталось, пусть и несколько видоизменившись в прошлом столетии.

Попытаемся же внимательно прочесть сегодня «староречные» русские «крылатые словечки», что намертво «прикипели» к нашему языку и украшают не только мысль и речь человека, но и душу его. Эти слова срываются с наших уст

бессознательно и безотчетно. Они — на слуху, они — в живой речи, а не в мудреных книгах и не в школьно-вузовских учебниках.

История русского народа, глубоко впечатанная в эти слова, проросла в современность и, словно мощная древесная корневая система, «держит почву» отечественной культуры на очередном инволюционном склоне — от обвала и осыпи. Точно так же она оберегает живую память народа (этноса) — от уничтожения или самоликвидации.

Именно поэтому историзм русской речи, для коей череда веков и формаций — всего лишь мелькание кадров старой хроники, — остро востребован сегодня: дабы нам не потерять себя, не раствориться в огромном, быстротекущем и кипящем бульоне этносов планеты. Потому — и речь о словах...

Ведь родились они когда-то не на пустом месте и не «просто так»: в годовом круговороте крестьянских забот — от посева до жатвы; в огненных смерчах тюркских и монгольских набегов; в тайных канцеляриях «просвещенного» XVIII века; в обезумевшей толпе (как слово «шаромыга», например) замерзающих французских солдат 1812 года...

Впрочем, не только народ пользуется родным языком, но и тот же язык, упрямо саморазвиваясь, по своим неведомым законам (незнакомым и недоступным рати «ученых толмачей»), «использует» свой народ — для невероятной полифонии и выброса диковинных, порою самых неожиданных ветвей этого своего развития.

В то же время дремучий и роскошный лес русского языка (краткого и сильного, многозначного и буйно-свежего) немыслим без своего носителя — русского народа, чья жизнь и психология пробиваются в каждом крылатом выражении — переливаясь, словно в ограненном бриллианте, потоками света — как прямым смыслом, так и подтекстами речи...

Для удобства нижеследующие крылатые слова и выражения расположены мной по алфавиту. Выбрано лишь то, что сохранилось в живой речи и имеет отношение к теме данной книги. Мои толкования этих слов и выражений весьма произвольны и субъективны.

**БАКЛУШИ БИТЬ.** В просторечии — бездельничать, лентяйничать или заниматься пустым, ненужным делом. На Руси XIX века — это легкий, не требующий особого искусства крестьянский промысел. Наиболее распространенным он был в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Вытесанные из осины (с коей сподручнее иметь дело) и слегка обработанные плахи-заготовки — это и есть настоящие баклуши. «Бить» их — дело простое, но пустое: денег на этом не заработаешь — стоят-то они гроши. А вот из баклуш этих уже настоящие мастера-ложжари делали (обычно — на токарном станке) крестьянскую посуду — ложки и плошки для повседневного обихода. Впрочем, тоже — товар копеечный... Гораздо реже заготавливали березовые, липовые или кленовые баклуши.

**БЕЗ ЧИНОВ.** Выражение означает: «Будьте как дома, не церемоньтесь!» Сохранилось оно в языке со времен московских царей XVI—XVII веков, когда монархи снисходили до ближних к ним людей (дьяков, бояр, окольных) и обедали с ними в своих домашних покоях — «запросто», без местнических норм и обычаев. А местничество тогда — наиглавнейшая традиция в придворном быту и «царской» службе, отмененная полностью лишь в 1682 году. И произошла она из обычая «считаться местами» — за «царским столом» и на «государевой службе». Место знатного человека в феодальной иерархии зависело от его родословной (знатности предков) и успешности служебной карьеры (как собственной, так и прародителей). Скандалов и ссор по этому поводу бывало тогда несчетно. Люди в ссылку шли, лишь бы «чести своей родовой не умалить», «ниже ворогов за столом не сидеть» или в военном походе должность, «позорящую род», не получить. «Лаяли» (ругали) друг друга в местнических ссорах того времени (XVII век) бояре непотребно:

«Мартынушка-мартышка! — Черти тебе сказывают! — Отец твой лаптем ши хлебал! — Шпынок турецкий! — Сынишко боярский!»...

И много чего другого — покрепче... Царь и Боярская дума разбирали такие ссоры. А тянулись они порой десятилетиями...

Так что «без чинов» (то есть — «не чинясь») — это еще и попросту, по дружбе, свободно сидеть за общим столом — и без дальних последствий...

**БЕСПУТНЫЙ.** Так говорят про человека, выбравшего неправую или ложную жизненную дорогу. При этом имеется в виду, что проблемы такого человека — в нем самом...

В древнерусском обществе «путь» — это еще и образ жизни, имение и домохозяйство, служба... Так, у царя Алексея Михайловича имелся в придворном штате «сокольниковый путь» — то есть чиновник, ведавший именно соколиной охотой, с подчиненными непосредственно этому чиновнику слугами, которые, в частности, обязаны были собирать по окрестным волостям соколов, кречетов и других ловчих птиц...

«Путные» бояре в древности — это вельможи, имевшие право отъезда к другому князю. Стало быть, «беспутный» (или «беспутый») — это еще и человек, невольный в своей судьбе, наполненной неудачами и рабством.

**БРАТАТЬСЯ.** С древнейших времен на Руси был христианский обычай побратимства, то есть — «крестового братства». Совсем чужие люди обменивались нательными крестами и связывались на всю жизнь обязательствами крепкой дружбы и взаимопомощи. Часто эти узы становились даже более прочными, нежели кровные связи. Обменявшись «тельниками», крестились и обнимались, называя друг друга «побратимами» (или «посёстрами»).

В наше время слово означает крайнюю степень доверия и дружбы в отношениях между двумя людьми. Но может использоваться и в виде дружеской укоризны: «Что же ты бра-таешься со всякой сволочью?»

**В ДУГУ ГНУТЬ.** Иносказательно означает принуждение — путем нажима, уговоров с угрозами или насилия — к тому, чего самому человеку делать не хочется.

Россия — вплоть до середины XX века — немыслима без лошадей. А в конской упряжи важное и почетное место занимала дуга: к ней крепились разного рода постромки и по-



водья — чтобы лошадь могла надежно тянуть телегу, повозку, экипаж, сани и т. п.

Крестьяне-кустари выбирали (обычно — зимой) пригодные деревья (вяз, осина, ветла) и, срубив их, выделывали из этой древесины заготовки для дуг. В дальнейшем важно было не переломить и правильно выгнуть такую заготовку. Поэтому ее «парили». Как подмечено в басне Ивана Андреевича Крылова: «А дуги гнут с терпеньем и не вдруг...» («Трудолюбивый медведь»).

Для изготовления дуг наиболее подходяща древесина твердая, крепкая, но одновременно — вязкая и упругая. Не всякое дерево годится для этого: ведь, как уже говорилось, нужно согнуть дугу так, чтобы при этом не сломать заготовку...

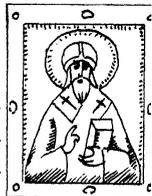
Вот и при «нажиге» на человека (подчиненного) иной начальник хочет «согнуть» его под себя, заставить работать так, как ему (начальнику) надо, а не так, как этот человек (подчиненный) хочет и может... Процент брака при этом (и у неумелых кустарей, и у неумных начальников) довольно велик: заготовка (или человек) просто-напросто ломается...

Деревянные заготовки в старину гнули на дуги в жарко натопленной баньке либо в особом срубе. Кряжи за долгое время так распариваются, что гни их (даже дуб) потом, куда хочешь. Концы будущих дуг связывают мочалом или веревкой — постепенно придвигая друг к другу. Кряж «попривыкнет», «слежится», ссыхаясь, и «замирает», остывая, — в таком виде, какой требуется мастеру. «Остывшие» дуги тщательно обтесывают топором, проходят по ним скобелем (двуручным ножом), сушат в теплых избах. А затем уже можно вырезать на дугах всякие узоры, раскрашивать их, кольцо продеть и колокольчик подвесить. То-то весело зазвенит он под дугой — на большом почтовом тракте!..

**ВЗЯТКИ ГЛАДКИ.** «Гладкие» взятки в старину — это такие подношения, которые можно («разрешено») брать. В современном же смысле эти слова подразумевают полную отстраненность, безопасность и свободу человека от каких-то неприятных последствий, проблем или внешних разбира-

тельств. «С меня и взятки гладки!» Иными словами: «Мое дело — сторона! Я в вашем кавардаке не участвовал!»

Правда, по-настоящему «гладкие» взятки присущи до сей поры лишь тем, кому нечего «дать», и тем (коих гораздо меньше), кто ничего и никогда «не берет».



**ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ.** Так говорят о людях, сбившихся с правильного пути и отдавших всякого рода порокам: пьянству, разгулу, преступлениям, гневу, мести... При этом человек заранее снимает любые моральные самоограничители. В таком состоянии он способен на все.

Выражение пошло в народ, вероятнее всего, из русского духовенства — как и десятки других чисто сословно-конфессиональных поговорок и речений. Кстати, в церковных книгах оно обычно означает максимальный размах праздника или духовной музыки — без каких-либо ограничений...

**ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ.** Выражение переносное. Подразумевает громкий, отчаянный крик («на всю округу») или разудалую, веселую ездускачку — по «пьяному делу» да по просторной родной улице. Скорее всего, происходит от раздольного, могучего московского звона, по большим праздникам раздававшегося с колокольни Ивана Великого в Кремле и слышимого далеко окрест — широко и свободно. Впрочем, применяли это выражение не только в значении «орать», «скакать», «мчаться», но говорили также — «кутить во всю Ивановскую», то есть — отчаянно, куражливо, «на широкую ногу», не задумываясь о последствиях.

В той же Москве царские глашатаи иногда объявляли высочайшие указы на Ивановской площади Кремля, а к ней вела одноименная улица. И вот они (глашатаи), направляясь к площади, как раз и «кричали во всю Ивановскую улицу»...

**ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ.** Означает полную свободу — идти, куда хочешь, и делать, что угодно. «Поступай, как знаешь!» — обычно этим словам предшествуют в диалоге некие аргументы (соображения, рекомендации, советы), которые оппонентом в расчет не принимаются. Так повелось со времен Средневековья, когда удельные князья фиксирова-

ли в договорах друг с другом: «А боярам, и детям боярским, и слугам, и крестьянам — вольная воля...»

Сейчас нам это выражение кажется такой же бессмыслицей, как «масло масляное». Но в те времена (XIV—XV века) в нем содержался вполне определенный смысл. Земля без крестьянина — мертвая, бесполезная, ничего не стоящая пустошь. Только русский мужик трудом своим превращает ее в подлинную ценность. Поэтому задача для землевладельца свободного мужика на этой земле удержать — любыми способами. Можно дать ему скот, орудия труда, хлеб — на прокорм и на семена. Тогда он становится должником у своего «благодетеля»: хоть ты и свободный человек, а с долгами-то рассчитайся, и лишь потом тебе — «воля» и все остальное... То есть в данном случае «вольного воля» — это право жить на отведенной земле, «покуда поживется», и уходить с этой земли, куда вздумается. Это вам — не холопы!..

Но уже в XVI—XVII веках эта «воля» — «идти, куда вздумается» — была отнята у подавляющего большинства крестьян окрепшим к тому времени самодержавным государством...

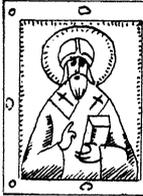
**ВПРОСАК ПОПАСТЬ.** Совершить ошибку, оказаться в неудобном положении, «дать маху» — вследствие незнания или опрометчивости.

В XIX веке в ряде небольших приволжских городов (во Ржеве, например) еще сохранялись небольшие кустарные предприятия по изготовлению канатов: как корабельных, так и «ходовых» — для гужевой (конной) тяги.

Выделывали канаты на небольших прядильных фабриках, где колеса нехитрых механизмов крутили, как водится, либо слепые лошади, либо бабы с ребятишками. А во дворе такой фабрики висело обычно целое плетенье из веревок — словно основа ткацкого стана: своеобразный веревочный лабиринт, в котором легко разбирались лишь сами работавшие с ним прядильщики. Причем веревки эти были в постоянном движении: их обрабатывают («сучат» — свивают, скручивают). Вот это и есть тот самый «просак»...

Свидетельство очевидца (меткое и образное): «Здесь, если угодит один волос попасть в “сучево” или “просучево” на любой веревке, то заберет и все кудри русые и бороду бобро-

вую так, что кое-что потеряешь, а на побитом месте только рубец останется на память. Кто попадет полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан рубахи отрывается прочь, пока не остановят глупую лошадь или услужливое колесо. Ходи — не зевай! Смеясь, поталкивай плечом соседа, ради веселья и шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда — не выдерешься, просидишь в просаках — не поздоровится...»



**В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ.** Означает какие-то тягости или проблемы для человека, обусловленные отнюдь не собственными его ошибками либо действиями.

Исторически на Руси гости, приглашаемые на пир (именно — на пир, а не просто на обед), обязаны были платить за эту оказанную им (воеводой, к примеру) честь. Съестные припасы тогда стоили дешево, и этот самый воевода, при минимальных затратах, использовал такого рода «мероприятия» как неплохой источник дополнительного обогащения. Вдобавок гостей на пиру «накачивали» спиртным, что называется, вусмерть. И на следующий день физические страдания несчастного гостя: тягостное уныние духа, больная голова и прочее — усугублялись осознанием немалых и совершенно ненужных ему трат — в виде подарков и подношений хозяину на пиру... По пословице: «Не всякому Савелью веселое похмелье; ваши пьют, а у наших — с похмелья головы болят». Или как в старой песне причитывалось: «Не жалко мне битого-грабленого, а жалко мне доброго молодца похмельенького!..»

**ВЫДАТЬ С ГОЛОВОЙ.** Древний обычай, известный еще с XII века. Означал выдачу жалобщика или провинившегося человека его недругу — на расправу и «полную волю». В старину могли также выдать должника кредитору — «головой» вместе с домочадцами в «рабство и работу», пока не покроется весь долг...

Во времена местничества (до конца XVII века) оскорбителя (жалобщика), «выданного головой», били батогами, а затем он лежал ниц на дворе «обиженного» (обжалованного),

пока тот не насытится местью и не поднимет своего «супостата» со словами: «Повинную голову и меч не сечет».

В наше время так называют нарочитую либо случайную выдачу кому-либо жизненно важной тайны другого человека.

**ГАЛИМАТЬЯ.** Слово означает бессмыслицу, совершенно бессвязный вздор в разговоре: «Что ты несешь всякую галиматью?» В русском литературном языке укрепилось в XVIII веке. По одной (не вполне доказанной) версии, происходит от имени французского доктора Галли Матье, который лечил пациентов... смехом (!). Он рассылал им отпечатанные листочки — с разного рода островами и каламбурами. И говорят — помогало!.. Ну а на Руси «галиматьей» стали называть речи всяческих болтунов и пустословов, что городят сущую ерунду, от коей «уши вянут»...

**ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ.** Эта угроза («Я тебе покажу, где раки зимуют!») в просторечии означает (предваряет) некие свирепые действия, направленные против собеседника. Синоним выражения: «Я тебе покажу кузькину мать!»

В старину считалось, что раки зимуют в практически недоступных, глухих норах — по глинистым берегам или под камнями на песчаном дне рек, озер и других водоемов. Стоит сказать, что русские старообрядцы раков в пищу не употребляли, считая их «нечистыми» существами. Стало быть, выражение «отправить кого-то кормить раков» (кои иногда не брезговали и утопленниками) тоже означало угрозу, высказываемую доведенным до крайности человеком.

**ГОЛ КАК СОКОЛ.** Синоним крайней степени бедности, нищеты. Говорили также: «гол, как осиновый кол»; «гол как бубен»; «гол как перст»... На первый взгляд вызывает недоумение, когда сравнивают бедного человека с одной из любимейших охотничьих птиц Древней Руси. Сокол — опытный крылатый воин-охотник — как молния падает с высоты на жертву... Он парит, словно покоясь на незримой облачной волне... У него — прекрасное оперение, мягкие контуры силуэта, яркие цвета раскраски... Неслучайно царь Алексей

Михайлович больше жизни любил своих дворцовых соколов и «охотничью потеху» с ними...

Однако в рассматриваемом нами русском выражении речь идет вовсе не о птице соколе (ударение на первом слоге), а о старинном стенобитном орудии — «соко́ле» (с ударением на втором слоге), которое отливалось из железа и, подвешенное на цепях, проламывало деревянную (или каменную) стену крепости) — при ее осаде. А от крепостных ворот при этом только щепки летели...

Позднее «соко́лом» стали называть также большой ручной лом, коим долбили гранит, каменную соль и т. п.



**ДОЛГИЙ («ДЛИННЫЙ») ЯЩИК.** «Откладывать дело в долгий ящик» — означает волокиту и сознательное безделье чиновника (или любого другого человека), не желающего решать назревшую проблему, исполнять положенные ему по должности (или по личной необходимости просителя) действия.

Выражение (по одной из нескольких версий) ведет начало от все того же «богомольного царя» Алексея Михайловича. Он, по преданию, велел прибить на столбе возле своего любимого дворца в подмосковном селе Коломенском «длинный ящик» — для челобитных (в основном — жалоб). «Длинный» — потому что основным форматом бумаги в тогдашней России были свитки — «столбцы». Лишь много позднее Петр I заменил эти свитки на стандартно-европейский («голландский») формат, который мы используем и по сей день...

Сам царь Алексей Михайлович споро решал все попавшие к нему в руки дела, но, проходя из царских палат дальше — через бояр и дьяков, подьячих и писцов в приказах, эти дела «тормозились» и «застревали»... Скрипучие колеса московской бюрократической машины требовалось «смазывать» — подарками («посулами») и разного рода подношениями, проще говоря, взятками. К тому же «приказные люди», бывало, годами не получали жалованья, то есть высшие власти как бы сами пускали их на «подножный корм» — от «службы государевой»...

**ДЫМ КОРОМЫСЛОМ.** Дым из печной трубы любой крестьянской избы выходит по-разному — в зависимости от погоды. Может подниматься восходящим потоком (прямым «столбом» — вверх), либо стелиться к земле, либо изгибаться «коромыслом», то есть выбиваться клубом, а потом переваливаться дугой. Когда говорят «дым коромыслом», то, как правило, имеют в виду всяческую сутолоку: многолюдную ссору — со сварой и свалкой, где ничего не разберешь и не поймешь; резкую и ожесточенную ругань, в которой нет ни начала, ни конца; беспорядочную суету и бестолочь...

**ЕМЕЛИНА НЕДЕЛЯ.** Всем известна русская присказка: «Мели, Емеля, — твоя неделя!» Эту фразу с досадой произносит собеседник, коему надоело хвастовство визави — хвастуна и вралю, непомерно развязавшего свой язык. Таким же образом раздосадованные слушатели пытаются (но зачастую — безрезультатно) остановить зарвавшегося (и завравшегося) говоруна...

Само это выражение происходит от распорядка жизни в крестьянском хозяйстве. Работали в нем все, и при этом соблюдалась некая очередность, где каждому домочадцу определялся свой срок. В случае с «Емелиной неделей» речь идет о том, что приходится — на какое-то время — мириться, выслушивая очевидные нелепицы, поскольку пришел срок высказаться и «этому болтуну»...

**ЖОХ.** Этим словом в русских детских уличных забавах прошлых веков («бабки», «козанки» и т. п.) обозначалось одно из положений игральных фишек (костей). В качестве последних использовались обработанные суставные кости конечностей домашних животных (коров, телят). При этом жохом считалась такая ситуация, когда кость ложилась хребетиком вверх. Если же случалось наоборот — это «конка». Кость улеглась на правом боку — «ницца» («ничка»), на левом — «плоцка» («плёчка»)...

Таким же способом кости бросают («конаются») не только при игре, но и «на удачу и неудачу».

В переносном же смысле фраза: «Ну, ты и жох!» — означает (в частности) обращение к ловчиле-удальцу (а то и про-

сто — шулеру), внезапно «сорвавшему куш» (крупный выигрыш) — за карточным ли столом, в бильярдной, в казино и т. п.

**ЗАДАТЬ КАРАЧУН.** Выражение означает «пришибить» кого-то — убить или злодейски замучить, уничтожить «под корень».

По одной из версий, в Древней Руси именем «Карачуна» звался день Спиридона-Солноворота (25 декабря по новому стилю — вскоре после зимнего солнцестояния). Это — конец нарастания «черных ночей и темных сил». Солнце начинает с этого дня свой «поход на лето», а зима «перекачивается на мороз». По народным поверьям, в этот день «медведь в берлоге с боку на бок поворачивается».

Новгородцы в старину называли «карачуном» самые короткие дни в году — перед «солноворотом».

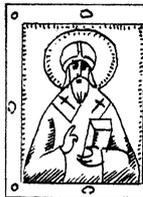
Вероятно, выражение это — языческое и подразумевает какую-то очень злобную силу, хозяйничавшую в «преисподней», но повелевавшую и морозами на земле.

Любопытная вещь: смена тьмы светом неизбежна, и это вроде бы всем известно. И тем не менее такая перемена — всегда великая всеобщая радость...

В старину в Спиридонов день (14 декабря по старому стилю — в XVII веке) звонарный староста московского Успенского собора приходил (по обычаю) к царю и объявлял, что «отселе — возврат солнцу с зимы на лето; день прибывает, а ночь — умалется». За такую радостную весть государь жаловал «звонарному» 24 серебряных рубля. Но в день летнего «солноворота» (середина июня), когда тот же староста являлся к царю с известием, что «отселе возврат солнцу с лета на зиму; день умалется, а ночь прибавляется», его за эту весть обычно запирали на сутки — в темном помещении кремлевской Ивановской колокольни...

Вот так в живой речи дошла (хотя и в сильно усеченном виде) до наших дней память о языческом «злом духе».

**ЗАДНИЙ УМ.** Широко известное выражение гласит, что «русский человек задним умом крепок». Синоним этому нашему «заднему уму» — французский «ум на лестнице».



И в том, и в другом случае имеется в виду, что лучшее решение какой-то задачи приходит к человеку лишь после того, как он справился с ней, но отнюдь не оптимальным образом, произвел не самые правильные действия и т. п. И вот, продолжая размышлять над этим своим делом, он вроде бы и находит некий наиболее выигрышный для себя вариант — но уже поздно, сделанного не воротишь: как говорится — «поезд ушел»...

Отечественные этнографы XIX века полагали, что русский «задний ум» — это нажитой опыт прошлых лет, народная смекалка, догадливость и находчивость. «Задний ум», полагали они, рассчитывает на память. При появлении нового он труслив, недоверчив, загоняет себя в тупик, а придя в себя, начинает разбираться — в то время, когда требуется немедленный ответ. Дело не ждет, а «задний ум» все медлит, осматривается — и упускает время. Как говорили тогда: «Если бы у русака задний ум — как у немца — стал наперед, то с ним бы не сладить».

И все же: «Мужик хоть и сер, да ум его черт не съел»...

**ЗА ПОЯС ЗАТКНУТЬ.** Выражение это означает «превзойти кого-то в своем деле».

Надо сказать, что до XX века значение пояса в одежде на Руси было огромным, даже — сакральным. Известно, например, как в XV веке из-за сорванного дорогого пояса на княжеской свадьбе началась даже одна из удельных войн.

Ходить без пояса считалось в старину большим грехом — и для мужчин, и для женщин. Говорили: «Рассыпался бы дедушка — как бы не подпоясывала его бабушка».

Ямщики зимой засовывали за кушак рукавицы (спереди) и кнут (сбоку). Плотники устраивали за пояса (сзади) свои топоры. В женских монастырях мастерили на продажу прелестные женские пояски — изделия «чистых» монашеских рук.

Впрочем, этот тип национальной русской одежды (вместе с пояском на мужской рубахе) давно ушел в прошлое — как и многое другое. А вот выражение в языке осталось-таки...

**ИЛЬИНСКАЯ ПЯТНИЦА.** Пятницы на Руси издревле считали неблагоприятными днями, но самой тяжелой («всем

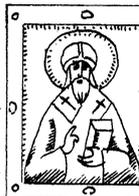
пятницам мать») полагали так называемую «Ильинскую пятницу». Пришло это поверье из времен язычества. Но и по сей день во многих местах бытует народный «метеопрогноз»: «Ильинская пятница без грозы не бывает». Не случайно и то, что одной из самых почитаемых русских святых (вплоть до конца XVIII века) являлась Параскева Пятница.

В старину по пятницам не пахали и не боронили землю, не сеяли, не толкли и не молотили хлеба, сочетая все это ритуально-вынужденное безделье еще и со строгим постом. Существовало поверье, что именно в этот день (и особенно — в октябрьско-ноябрьские поминовения святой Параскевы) сама Пятница («Льняница») вместе со Смертью ходит по земле, проверяет: не работают ли люди? Ну и жестоко наказывает не почтивших ее ослушников, а других, соблюдающих ее наставления, — милует и награждает. А поскольку Параскева Пятница считалась также хранительницей семейного счастья, то (до прошлого столетия включительно) перед ее образами молилась — на коленях, со склоненной головой и согнутой спиной — вся женская половина Руси...

Остается добавить, что чтимый народом православный праздник — день святого пророка Ильи (Ильин день) — отмечают ежегодно 2 августа (по новому стилю), то есть вне зависимости от дня недели. Так что «Ильинская пятница», предшествующая этому дню, выпадает на разные числа календаря: в пределах «седмицы» накануне «Ильина дня»...

**КАЗАНСКАЯ СИРОТА.** Так называли в дореволюционном прошлом назойливого, докучного жалобщика, нагольного плута, образцового притворщика. Это особый тип человека — так же, как «московский жулик» и «питерский мазурик». В самой бедной деревеньке он своей показной робостью и ханжеским смирением выжимал у окружающих слезу и, как правило, находил покровителей, ибо «за сиротою — сам Бог с калитою». Такие люди промышляли нищенством и попрошайничеством — и весьма успешно...

В современном звучании фразеологизма очевиден подтекст: верить особам подобного сорта нельзя — ни в коем случае...



**КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ.** Выражение означает, что какой-то человек — при внешне добром к тебе отношении — на самом-то деле затаил злобу и всегда готов причинить неприязни, пакости, вред...

По одной из версий (мифологической), в Смутное время поляки в Москве хоть и пировали зачастую вместе с русскими, но соблюдали при этом «опаску» и держали (на всякий случай) за пазухами своих кунтушей булыжные камни. «С москалем дружи, а камень за пазухой держи!» — якобы приговаривали тогда эти «незванные гости»...

**КОЛОКОЛА ЛИТЬ.** До XIX века на Руси в обычае было (среди заводских мастеров) при отливке церковных колоколов распускать самые невероятные слухи и сплетни. Задача заключалась в том, чтобы при всей несбыточности и нелепости этих небылиц придать им вполне достоверный вид. Считалось, что это «отведет нечистую силу» и поможет предотвратить ее «вмешательство» (то есть брак) при изготовлении колокола.

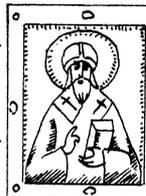
Забавные нелепицы, сознательно запущенные «в народ», стали обязательным придатком к искусству колокольных мастеров, кровно заинтересованных в успехе своего дела. Вот пример такого рода слухов-«ужастиков» — из московской жизни начала XIX века (свидетельство современника): «Появился человек с рогами и мохнатый: рога как у черта. Пить-есть не просит, а в люди показывается по ночам — моя кума сама видела. И хвост торчит из-под галстука. По этому-то его и признали, а то никому бы не в догад!..»

Или вот еще. В 1890 году в Сарапульском уезде Вятской губернии на 10 декабря ждали мороза в 60 градусов, а потом (на 15-е число) — аж и все 100 (!). А посему запасали дрова, пищу для себя и корм для скота, утепляли окна... Выяснилось, однако, что слух этот распустили заводчики из другого вятского уездного города — Слободского, выполнявшие как раз в это время большой заказ — на целую партию колоколов...

Таким образом, «лить колокола» — значит распространять заведомо недостоверные слухи.

XX век уничтожил в стране основную массу церквей и колоколов. Поэтому и фраза «лить колокола» из речевого обихода почти исчезла...

**КОЛОМЕНСКАЯ ВЕРСТА.** Так называют высокого человека, превосходящего по росту окружающих (обычно — «на целую голову»), иногда — загромождающего другим обзор (тогда выражение звучит с оттенком неприязни), сравнивая этого человека с длинным верстовым столбом — из тех, кои царь Алексей Михайлович повелел расставить от Москвы до своей любимой резиденции — села Коломенского. Это был первый в стране опыт измерения и разметки дорог. Верста того времени включала 1000 сажений (примерно 2,13 километра). Позднее царь Петр I приказал убавить ее до 500 сажений (примерно 1,07 километра) и поставить пестрые верстовые столбы — по «всем казенным почтовым дорогам»...



**КОНДРАШКА ХВАТИЛ.** Роковой, смертельный для человека удар. Появилось это выражение, вероятно, на Дону — около 1707 года, когда восстал тамошний войсковой атаман Кондратий Афанасьевич Булавин и казнил полковника князя Юрия Владимировича Долгорукова вместе со всей его карательной командой.

В переносном смысле может означать не только внезапное и резкое ухудшение здоровья (инфаркт, инсульт и т. п.), но и какое-то неожиданное и сверхнеприятное известие.

**КРАСНОГО ПЕТУХА ПУСТИТЬ.** Совершить поджог. Обычно — из мести или ради грабежа. Часто в обещание «пустить красного петуха» облекалась разбойничья угроза.

Петух у славян и скандинавов издревле служил символом бога огня (Сварога, Локи). Этому божеству его и приносили в жертву...

**КУРАМ НА СМЕХ.** Насмешки над курами — обычное дело в сельской жизни. Наиболее употребительная из них (хотя и отнюдь не всегда справедливая): «Курица — не птица, баба — не человек».

Вялый и неповоротливый в труде неумеха работает, как «мокрая курица». «Слепая курица» — человек, бестолково и суетливо ищущий то, что лежит на самом виду. А если человек говорит безнадежно плохо, то это «курам (самым ничемным и бестолковым существам) на смех»...

**ЛИСОЙ ПРОЙТИ.** Так говорят про хитрого, изворотливого человека, умеющего обойти все острые углы, опасности и казавшиеся неминуемыми беды.

О хитрости же натуральной лисицы, способной миновать все — даже самые изощренные — силки и капканы, бывалые охотники могут рассказывать бесконечно. Эта коварная особь всегда держит нос против ветра, знает — и в своем убежище, и в округе — все входы и выходы, твердо держит в памяти все опасности, с коими когда-либо встречалась.

**МОСКОВСКАЯ ПРАВДА.** В допетровские времена выражение это имело насмешливый характер, и слова «московская правда» держались по всей Руси «на худом счету». Суд там (в столице) — «прямой, да судья всегда кривой». В руках такого судьи «закон — что дышло: куда повороти — туда и вышло». Считалось, что в Москве «правды не доищешься: везде — кривда».

От тех же времен ведут свое начало и такие мрачные лексемы, как «подлинная правда» и «вся подноготная». Первая из них расшифровывается довольно просто. В XVII веке для того, чтобы «доискаться правды», в застенке Сысского приказа одновременно «ставили под пытку» и ответчика, и истца по расследуемому «делу». Подымали обоих на дыбе — с вывернутыми руками. При этом палач бил испытуемых по спинам особым кнутом — так называемым «длинником», под ударами коего и «сыпалась» из уст несчастных людей «настоящая правда». Но случалось, что люди «запирались» — и твердо. Тогда шла в ход еще одна (более мучительная) пытка: забивание под ногти (на руках и ногах) железных гвоздей либо деревянных колышков. Вот тут-то и выходила на свет божий «вся подноготная».

Иногда же пальцы и ногти зажимали в особые клéщи (тиски), от боли при постепенном сжатии коих человек спо-

собен был «сознаться» в чем угодно и взять на себя какие угодно «вины и прегрешения». По внешнему виду эти клѣщи напоминали репу, а потому и назывались «репкой». Отсюда — еще одно сохранившееся выражение: «Ты хоть матушку-репку пой!..» То есть: «Что бы ты ни говорил, а я все равно не поверю».

Крута она — «московская правда»!..



**НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ.** Означает, что преступник сам себя выдал. Ведет происхождение от житейского случая. В старину (когда-то и где-то) один вориска украл что-то — тихо, незаметно. И надежно скрыл похищенное: как говорится — «концы в воду». Сколько ни искали лиходея, сколько ни обыскивали все вокруг — ничего не нашли. Тогда обратились за помощью к местному знахарю-ведуну. Тот созвал всех сельчан — участников и возможных свидетелей события — на базарную площадь. Долго там говорили-рядили о воровстве, как вдруг знахарь неожиданно выкрикнул в толпу: «Глядите, православные: на воре-то шапка горит!» От этого зловещего крика присутствовавший при сем тот самый вор схватился рукой за голову — тем-то и выдал себя...

**НИ КОЛА НИ ДВОРА.** Подразумевает крайнюю степень бедности человека, не владеющего никаким имуществом. На Верхней Волге, например, пахотную общинную землю исстари делили на полоски — шириной в две сажени (примерно 4,3 метра). На каждой такой полоске забивали колышек — с меткой, обозначающей временного владельца этого земельного отрезка. Одна полоска — один колышек («кол»). «Не иметь кола» значило — не иметь пашни, а «не иметь двора» — жить у чужих (других) людей. Словом, это — человек неимущий, перебивающийся «с куска на кусок», живущий случайными заработками либо подаями. Отставные солдаты, бобыли, нищие, «приткнувшиеся» к сельской общине, — вот (в старину) основные «фигуранты» этого выражения.

**ОЧУМЕТЬ.** При эпидемии чумы в Москве (1771 год) доктора отмечали: «Выговор больных невразумителен и заме-

шателен, язык точно приморожен, или прикушен, или как у пьяного...» Вначале болезнь проявлялась полным расслаблением — с ознобом и жаром, сильной головной болью. Слабость бывала так велика, что больной не мог двигаться и с трудом ворочал языком. На другой день головная боль переходила в помрачение сознания — с тревожным и бурным бредом.

Все это и отложилось в народной памяти выражением: «Ты что — очумел?» То есть: человек ушел глубоко в себя — и ничего не видит и не слышит. Либо наоборот: вне себя от какого-то яркого суперсобытия — драмы или радости. В любом случае — такой человек теряет контакт с реальной жизнью. Вот к нему-то и обращаются тогда — с вопросом «по поводу очумения».

**ПОД БАШМАКОМ.** В наши дни чаще произносят — «под каблуком», что означает полное и безоговорочное подчинение мужа жене.

**ПОДКУЗЬМИТЬ И ОБЪЕГОРИТЬ.** Осенние «Кузьминки» и «Егорьев (Юрьев) день», зимняя «Никольщина» почитались у крестьян как праздники этапные, к которым приурочивались возвращение старых долгов, выполнение ранее принятых обязательств. «У Егора по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, а во лбу-то солнце...» — пелось в одной старинной севернорусской былине. «Подкузьмить и объегорить» — значит не выполнить своих обещаний, не вернуть долгов, подвести и/или обмануть другого человека.

**ПОПАСТЬ В КАБАЛУ.** Безвыходная нужда, неоплатные долги или тягостная работа, с коей невозможно уйти (уволиться). В древности означало: попасть в рабство («в холопы»). Эта степень беспросветно-тяжелого, бесправного найма точно отражена в пословице: «Нанялся — как проданся».

**ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ.** Имеется в виду: по цене, уменьшенной для покупателя, но приемлемой как для него, так и для продавца.

В купеческих лавках прошлых времен на выходе обычно имелись ступени — «сходни», с коих торговец (запросивший сначала за свой товар «втридорога») нередко возвращал покупателя назад, и после вторичного «обмена мнениями» дело завершалось порой значительным понижением цены на товар — к взаимному удовольствию сторон...



**ПРАВДА — В НОГАХ.** Наиболее распространенный вариант этого выражения: «В ногах правды нет!» Так обращаются зачастую к тем гостям, кои излишне церемонятся, отказываясь от хозяйского предложения присесть.

Но в древности за этой короткой фразой таился далеко не безобидный и вполне конкретный смысл. В те времена сборщики податей и налогов упорно искали эту самую «правду в ногах», ставя недоимщиков «на правёж», то есть — подвергая их истязаниям: битью палками — по пяткам, голням, икрам... Такую же процедуру производили (до конца XVIII века) и в судах: над должниками — по жалобам их кредиторов.

Фаворит императрицы Анны Иоанновны обер-камергер Эрнст Иоганн Бирон приказывал ставить недоимщиков в снег — с голыми ногами и на морозе. Несчастные голосили: «Дай срок — не сбей с ног!»

Понятное дело, что народ бежал от подобных тягот — на Волгу, на Север, на Урал и «далее — везде», доказывая тем самым, что в ногах действительно правды не найти, а лучше всего — унести их (ноги то есть) куда подальше...

**ПУСТОЗВОН.** Упрек и укоризна в отношении болтуна, верить которому нельзя — ни в чем и ни в коем разе. Ближайший синоним — «краснобай». В последнем, впрочем, присутствует оттенок некоего внешнего блеска — изящных по форме, но пустых по содержанию речений.

Слово «пустозвон» пришло из былых времен: так презрительно именовали нерадивых священников, которые по праздникам «для приличия» велели звонить с колокольни своего прихода, а сами в храм не показывались — из-за лени или от пьяного «недомогания», то есть — элементарно обманывали верующих. Услышат последние колокольный

перезвон — и устремляются на богослужение. А церковь закрыта! Значит — и службы в ней нет!.. Перекрестятся люди да вздохнут только: «Не батюшка — а пуστοзвон!»...

**С БУХТЫ-БАРАХТЫ.** Означает поступок, совершенный опрометчиво, ошибочно, без какой-либо подготовки, надобности или определенной цели. Смысл таких поступков определяется кратким словом — «зря». Можно добавить к этому: «бестолково», «ни с того ни с сего». Иначе говоря: совершил ошибку, а потом «барахтайся» — выправляй дело, возись и оправдывайся!..

**СЕМЬ РАЗ ПРИМЕРЬ (ОТМЕРЬ) — ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ.** Цифра «семь» вовсе не характерна для старинного счета на Руси, где господствовала «сороковная» система счисления. «Сорок сороков» московских церквей, «сороковой день», «сороковка» (мера жидкостей)... Тем не менее у обманщика и плута, не желающего отдавать долги, — всегда «семь пятниц на неделе». Самое отдаленное и ничего не значащее родство — «седьмая вода на киселе». Также «семеро одного не ждут», а у свехумного человека — «семь пядей во лбу». Кое-кто, запутавшись в своих проблемах и махнув на все рукой, может (то ли беспечно, то ли обреченно) вымолвить: «Семь бед — один ответ!»

Ну а в нашем случае фразеологическая «рекомендация» предполагает самую тщательную, скрупулезную, длительную подготовку к какому-то делу, а затем — быстрое, четкое и успешное его завершение.

**С КОНДАЧКА.** Означает: принимать решение несерьезно, легковесно, без понимания сути дела — «наобум», «на авось»... Среди исполнителей русской народной пляски имелись мастера «откалывать» разного рода «коленца»: например, ловко и сильно ударяя пяткой в землю, затем вмиг вскидывали носок ступни вверх. Вот этот незамысловатый танцевальный прием и есть, собственно, «кондачок»...

**СНЯВШИ ГОЛОВУ — ПО ВОЛОСАМ НЕ ПЛАЧУТ.** Подразумевается, что при большом горе или крупной неудаче

мелкие неприятности значения уже не имеют. Выражение это пришло из глубин истории Руси, когда усечение головы на плахе являлось официально узаконенным и весьма распространенным наказанием для осужденных — как за государственные, так и за «общеуголовные» преступления...



**СОБАКУ СЪЕСТЬ.** Подобных выражений, не имеющих определенных исторических обоснований, в русском языке множество («пруд пруди»). Говорят, например (совершенно отчаявшись и «начихав на все»): «А мне это — трын-трава!» Что за «трава» такая — только Бог ведает...

В рассматриваемом же случае имеется в виду некто до тонкостей постигший свое дело, являющийся в нем первоклассным и всеми признанным мастером. И не важно, в какой сфере деятельности: токарь ли это, автомеханик, инженер, художник либо даже ученый-историк...

**СОР ИЗ ИЗБЫ НЕ ВЫНОСИТЬ.** В переносном смысле означает правило не распространяться о домашних ссорах и дразгах, не рассказывать о них посторонним людям. Ведь в деревенском быту сплетни и слухи играли немаловажную роль. Не глаз, но ухо являлись для селян первейшим источником информации о мире.

В прямом смысле: у крестьян никогда мусор не выметался из помещения (избы) прямым на улицу. Этому мешали высокие дверные пороги, предназначенные для сохранения тепла в жилище, а также опасения, что ветер может унести этот сор «куда ни попадя» и какой-нибудь «лихой человек» использует его — дабы «навести порчу». Поэтому мусор в избе сметался под лавку — к печке, а когда последнюю протопливали — сжигался.

Так, по обычаю, молодую на второй день свадьбы гости, предварительно разбив горшки (в знак утраты девичества), заставляли мести пол и приговаривали: «Мети-метети — да из избы не выноси, а сгребай под лавку да клади в печь, чтоб дымом вынесло!»

**СПУСТЯ РУКАВА РАБОТАТЬ.** Имеется в виду небрежная, некачественная работа, выполняемая неохотно — «с ленцой».

В старину национальной одежде были свойственны длинные рукава, которые во время труда закатывали либо засучивали. А после окончания работы — опять распускали.

**СТАРОГО ВОРОБЬЯ НА МЯКИНЕ НЕ ПРОВЕДЕШЬ.** После обмолота хлебов обычно оставались (возле крестьянских дворов или гумен — токов) груды пустых колосьев, в коих уже почти не оставалось зерен. Это — мякина. Но молодые воробьи все же нередко пытались искать здесь пропитание для себя, путая ворохи мякины с необмолоченными хлебными скирдами. Старый же и опытный воробей всегда летит мимо такой «обманки» — к настоящей поживе.

Приведенная фраза подразумевает умудренного жизнью человека, которого провести невозможно.

**ТЯСТИСЬ (ДРОЖАТЬ) КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ.** Листья осины, в отличие от зеленого покрова других деревьев, устроены так, что — от малейшего ветерка или движения воздуха — начинают трепетать («трястись», «дрожать»). В переносном смысле речь идет о человеке, впадающем во внезапную и мелкую дрожь — от страха, холода либо по каким-то другим причинам. «Что ты дрожишь как осиновый лист?» — спрашивают такого сильно испугавшегося собеседника: хотя внешне он может и не «трястись», но внутреннее тревожное состояние проявляется уже вполне отчетливо...

**ТУРУСЫ НА КОЛЕСАХ НЕСТИ (РАЗВОДИТЬ).** Означает: «городить всякий вздор», «болтать по-пустому»... В Средние века при штурме укрепленных поселений противника использовали осадные машины («туры») — дощатые башни, поставленные на колеса. Именно такие «туры» (или «турусы») подкатывали монголы под стены осажденных русских городов и с них по лестницам спускались на крепостные стены. Вот и отложилось это слово в народной памяти — как обозначение чего-то огромного, сложного и непонятного...

**ХОТЬ СВЯТЫХ ВЫНОСИ.** Речь идет об иконах, которые стояли в «красном углу» в любом русском доме. «Под святыми» — на лавку или на стол — укладывали тяжелобольного,

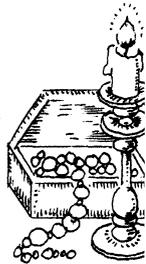
умирающего или уже причастившегося человека... Ну а если в доме возникал бестолковый шум («содом»), говорили: «Хоть святых вон выноси!» — чтобы «святые образа» не видели и не слышали всего этого безобразия. Иконы также выносили при стихийных бедствиях — пожарах, наводнениях и т. п.



**ЧУР МЕНЯ!** Обращение к «духам предков», словесный оберег — во время чрезмерного испуга, внезапной опасности, тревожного удивления. Считалось совсем не лишним при этом очертить вокруг себя круг и таким образом понадежнее оградиться от «нечистой силы»... По народным поверьям, слово «чур», дошедшее до нас со времен глухого языкачества, также «помогает» тем, кто нашел клад, сокровище либо просто чью-то потерю. Произнося это слово, нашедший якобы защищает себя от «нечистой силы». Если же, скажем, идут себе по дороге двое и вдруг обнаруживают на ней нечто полезное (или ценное), то один из них может сказать: «Чур — на одного!» либо «Чур — на двоих!» В первом случае находка присваивается только единолично, а во втором случае — обоими путниками...

Знахари стремились «зачурить» своих «клиентов» — обеспечить им защиту от «злых сил»...

В детских играх недавней эпохи слово «чур» употреблялось еще довольно часто. Ныне же оно уже совсем и, по всей видимости, окончательно вышло из обращения...



**ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ.** Означает: все сделано неверно, к прямой неудаче и несчастью. То есть следовало бы все сделать наоборот...

В старину «шиворотом» называли затылок головы либо заднюю часть воротника (рубахи, кафтана и т. п.). За шиворот хватали тех, кто преступил обычай или закон: таковых «вязали» (брали под стражу), «вели к ответу» (судили) и подвергали наказанию...

В наши дни так говорят, когда кто-то, одевшись второпях, допустит в своем гардеробе какую-то промашку. С этим, кстати, связывают немало примет: надеть рубашку наизнанку — значит «быть битую» — и т. д. и т. п.

На свадьбах и других праздниках иногда специально обрядились в вывернутую наизнанку верхнюю одежду, дабы и гостей повеселить, и «нечисть» обмануть...

**ЮЛИТЬ.** Ведет происхождение от древнерусской игры «в кости». Важная роль в ней принадлежала «юле» — вертушке («волчку») с гранями по ребру и цифрами. Мошенники (что-то наподобие современных наперсточников) на ярмарках запускали свои «юлы»...

В переносном смысле: суетиться, вертеться, «увиваться», выслуживаясь перед кем-то, хитрить, одним словом — «темнить».

**ЯБЕДА.** В современном разговорном обиходе: донос, наговор, клевета. В старину же — нечто среднее между заявлением и жалобой. Была в средневековой Руси и такая категория официальных «служилых людей», как «ябедники», — мелкие судебные чины или даже писцы, занимавшиеся (за плату, разумеется) составлением для просителей разных образцов (прошений) в «высокие инстанции».

## Глава 2

### Характер русского народа в пословицах и поговорках

1. О чем могут поведать наши пословицы и поговорки?

**Язык** — это лицо народа, отличающее его от других этносов. А пословицы и поговорки — изюминки здравого смысла, золотые крупы опыта, плоды «ума и сердца горестных замет». Они, как правило, многозначны, часто — двойственны, нередко — противоречивы, а порой просто непостижимы — до полной сути своей. Это связано с тем, что мы (в массе случаев) не знаем конкретики появления той или иной пословицы — ее, так сказать, «гнездо».

И все же они, эти жемчужины родного языка, поистине замечательны!

Конечно, их «золотой век» давно прошел — вместе с полным господством устной речи и вербальной системы распространения информации в обществе. Еще императрица Екатерина II, будучи весьма недовольна «избыточным употреблением просторечия» в своем — придворном — кругу, соизволила сочинить сатирическую пьесу — «Сумасшествие на пословицах»... Что не помешало Владимиру Ивановичу Далю через несколько десятилетий после завершения ее правления собрать более 30 000 русских пословиц и поговорок.



Пословица — и в старину, и в наши дни — это не упрощение разговора, но опора здоровой логики для его участников, поддержка разумных доводов, образное оформление мыслей. Обращаясь к пословице, человек порой начинает лучше понимать ситуацию, а в сложном случае не прочь сложить и свою поговорку...

Существует определенная смысловая дифференциация: в пословицах чаще очевидны законченная мысль и четкая нотация (мораль — как в басне), а поговорка — это, как правило, просто удачный оборот речи или (неожиданное даже для автора, но вполне убедительное) сравнение.

«Ум — хорошо, а два — лучше» — это пословица.

«Ни то ни сё»; «Ни рыба ни мясо» — это поговорки.

«От ума сходят с ума» — также пословица.

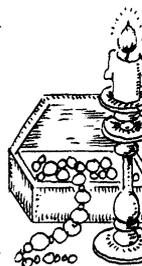
«Как снег на голову» — поговорка...

Здесь, как и во множестве других русских пословиц и поговорок, опосредованно отлились, запечатлелись и вековой запас здравого смысла огромной нации, и ее исторический опыт.

Мы же из всего этого превеликого сокровища выделим лишь то, что непосредственно относится к избранной нами теме.

Итак, что же все-таки могут нам сказать пословицы и поговорки о характере русского народа? Да очень и очень многое!

«Мужик простой — что кошель пустой!» И верно: присутствует обычно в людях наших некая «изюминка», «зацепка», «непонятинка» — при всем внешнем радушии и чистосердечии («душе нараспашку»). Поэтому обманется тот, кто при-



мет эту кажущуюся «простоту» за наивность и глупость. «Где просто — там ангелов со сто, а где хитро — там ни одного»...

В пословицах содержатся глобальные размышления и суждения — о жизненной стратегии и даже диалектике: «Живи как поживется», «Жить как набежит», «В горе сильно не горюй», «В счастье — сильно не радуйся»...

Отметим: тема самоограничения и аскетизма — одна из самых излюбленных для нашего народа. Он даже как будто и опасается внезапной и слишком большой удачи, а вместе с тем радуется — своей доле, своему «талану», собственной судьбе: «Чем молод похвалится, тем стар покается», «Много хочется, да не все можется», «Как пришло, так и прошло»...

Отсюда, между прочим, и недоверие, враждебность к любутому богатству — как к чему-то изначально несправедливу. Преуспевающий и знатный человек в нашем фольклоре (сказках, частушках, поговорках) подозрителен и подсуден изначально: «Мужик богатый — что бык рогатый», «Где голь берет? Бог ей дает»...

Но проповеди — это одно, а реальная жизнь — совсем другое. И вот как, скажите на милость, соотносите, к примеру, две следующие пословицы?

Первая: «Тише едешь — дальше будешь».

И вторая: «Или — грудь в крестах, или — голова в кустах».

Ответ напрашивается сам собой: да никак они не соотносятся, ибо прямо противоположны — и по мысли, и по духу. Но из них можно извлечь некую общую суть, а именно: «Любой совет к разуму хорош». То есть иногда можно сделать так — и это будет правильно, а в другом случае — поступить наоборот, и это тоже будет верно. Диалектика, одним словом!..

Не зря же человека пожившего, опытного, побывавшего в разных переделках, но сумевшего успешно выйти из них, называют в народе «тертым калачом»...

Вовсе не чужда нашим людям и зависть — во всех ее вариантах: «белая», «черная» и т. п. «Пусть у меня ничего не будет, лишь бы и у соседа ничего не было», «От дурного глаза — вся зараза»... И спору нет: именно зависть окружающих во многом реально мешала (и мешает) более состоятельным

и удачливым людям в России и жить, и работать, развивая свое дело...

Русские пословицы и поговорки затрагивали весь спектр жизни человека: быт и работу, здоровье и досуг, любовь и семью... Именно поэтому в этих афористичных речениях наглядно проявился характер народа, его отношение и к окружающему миру, и к собственному бытию в нем.

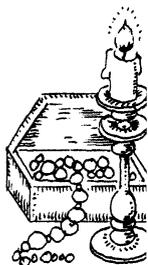
Сегодня этот генератор национальной культуры перестал действовать. И связано сие прискорбное обстоятельство прежде всего с гибелью русского крестьянства — как единственной живородящей основы этой культуры.

Пословицы и поговорки вымываются из устной речи наступившего XXI века подобно снегу в жаркий весенний день. Нагрянули иной строй и темп жизни, иная — городская, индустриальная (и постиндустриальная) цивилизация. «Все эти фольклорные штучки» с точки зрения субкультуры постмодернизма, во всяком случае, — как аппендикс у человека... Но известно ведь, что после удаления сего «рудиментарного отростка» — вроде бы ненужного и даже вредного — у человека может возникнуть несколько опасных болезней: ибо ничего «бесполезного» и «нецелесообразного» в природе не бывает...

Тем же, кому наше национальное достояние по-прежнему «мило и дорого», старинные пословицы и поговорки способны поведать о многих чертах нравственной физиономии русского народа, сформированных тысячелетней его историей.

Вглядимся же и вслушаемся в эти уцелевшие фрагменты (намек, случайные останки) ранее полнокровной и бурлящей крестьянской (в основном) жизни, столь чуждой современному человеку — и в России, и в зарубежной Европе, где духовный опыт прежних поколений, по сути, совершенно не востребован новыми генерациями общества. Условно говоря: отцам уже нечего (в сфере высокой культуры и духовности) передавать своим детям...

Остается уповать на то, что почитание и сохранение сохранившихся элементов старой культуры — как непреходящей ценности — остаются парадигмой для некоторой (пусть количественно немногочисленной) части общества, которая



в меру своих сил стремится поддерживать, продвигать, развивать интерес к прошлому народной жизни.

Вот это душу и греет...

## 2. О погоде и вкусах народных

Всякое время года необходимо и любезно для русского человека. Без каждого из них он скучает, но при наступлении его ждет — также нетерпеливо — прихода следующего. Такая уж натура!..

«Первый Спас (Медовый, 1/14 августа. — *В. Б.*) — готовы рукавицы про запас; второй Спас (Яблочный, 6/19 августа. — *В. Б.*) — шапку про запас; третий Спас (Ореховый, 16/29 августа. — *В. Б.*) — шубу про запас».

То есть уже в конце лета — начале осени крестьяне готовились к зиме: ведь пережить ее — дело далеко не простое...

В месящеслове В. И. Даля на каждый день приводится народная примета и соответствующая поговорка. Вполне уместно упомянуть здесь и прекрасные работы о русских пословицах, оставленные профессором Московского университета Иваном Михайловичем Снегирёвым.

Год-то в России на протяжении многих столетий был чисто аграрным (сельским), представлял собой неизменный крестьянский круговорот забот и работ. Вот об этом-то в основном и судили-рядили: «Коли курочка в Евдокеи (1/14 марта. — *В. Б.*) напьется, то и овечка на Егория (23 апреля/6 мая. — *В. Б.*) наестся»...

При этом нельзя упускать из вида, что в каждой местности на Руси бытовали собственные приметы — привязанные к «своей» погоде, к особенностям климата, рельефа, почвы; и на всей огромной территории нашей страны эти приметы просто «не срабатывают»...

Русскому крестьянину всегда приходилось быть (жизнь вынуждала) и стихийным «прогнозистом», и «метеорологом»: «Придет Илья — принесет гнилья» (про дождь в Ильин день — 20 июля/2 августа); «На Астафья (20 сентября/3 октября. — *В. Б.*) примечай ветер: северный — к стуже, южный — к теплу, западный — к мокроте, восточный — к вёдру»; «На Трифона звездисто (1/14 февраля. — *В. Б.*) — поздняя весна»;

«Федул — губы надул» (о ненастье в этот день. — 5/18 апреля)... И несть числа таким «прогнозам»...

Бывали в годовом «солновороте» дни хорошие, случались (причем — нередко) и тяжелые. Но наверное, самым трудным в году считался Касьянов день (29 февраля/13 марта): «Касьян на что ни взглянет — все вянет», «Касьян на народ — народу тяжело, Касьян на траву — трава сохнет, Касьян на скот — скотдохнет».

И надо сказать, всегда находилось (и находится) немало личностей с таким вот гнетущим, темным, «лихим зраком», готовым «озевать» («сглазить») — что скотину, что молодых девок...

Отмечались, однако, и праздники, благостные для всех людей, без исключения: «На Благовещенье (25 марта/7 апреля. — В. Б.) воры заворовывают — для счастья на весь год».

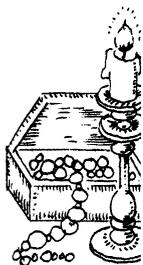
Явления смены погоды в крестьянском календаре часто удивительно образны, поэтичны. Например: «Марья, зажги снега, заиграй овражки» (о весеннем таянии снега — со дня Марии Египетской, 1/14 апреля).

Смена погоды очень тонко улавливалась нашими предками и как бы «пришпиливалась» ими к определенным дням церковного календаря. Попробуем вспомнить, скажем, сколько присвоено на Руси прозвищ одним лишь «большим морозам»: «рождественские» (25 декабря/7 января), «крещенские» (6/19 января), «афанасьевские» (самые лютые, 18/31 января), «сретенские» (2/15 февраля)...

Разнообразно и колористическое обозначение времен года. Лето у нас — «красное», зима — «белая», осень — «золотая», а весна — вновь «красна по благорастворению воздуха»...

Надо помнить, однако, что все народные мудрости и остроты четко привязаны к конкретному случаю. И если одна половина из этих речений утверждает одно, то вторая — зачастую нечто противоположное. А правы и те, и другие... Нелишне здесь повторить: «Любой совет — к разуму хорош»...

Точно так же неоднозначна ситуация в том, что касается традиций народной кухни. Многое здесь за минувшее столетие



кардинально изменилось. Но ведь что-то (и немалое) осталось — нам в наследство. Попытаемся припомнить кое-что из этого наследия, обратив внимание не только на то, чем просто удовлетворялся пищеварительный аппарат русского человека, но также и на то, чем тешилась его душа...

«Хлеб да вода — крестьянская еда» — негусто, надо сказать. Но заметим, что хлеб тогда (чаще всего — не дрожжевой) был значительно вкуснее и сытнее.

«Ши да каша — пища наша» — это уже ближе и доступнее для нас. Учтем, однако, что исконно русские ши с капустой употребляли в старину все и всегда — и баре, и мужики, и в постные дни, и в мясоед. А «суточные», а «кислые» ши? Это же вообще — настоящий деликатес!..

Основная же и привычная еда в русских домах — «суровые» ши, приготовленные из рубленой (свежей либо кислой) капусты, преимущественно «пустые» (без мяса), затертые мукой, в мясоед забеленные молоком или сметаной, а в пост — растительным (как правило — конопляным) маслом. Это своеобразный символ родного дома, составлявший особый предмет гордости за него, подпитывавший любовь к нему и память о нем: «Хоть шей горшок, да сам большой», «Добрая жена да жирны ши — другого добра не ищи»... И совсем не попусту говорилось: «Для шей люди женятся, для мяса — замуж идут».

Можно сказать и так: домашняя пища на Руси — это основа жизни. Трактиры, кабаки (позднее — рестораны) и прочие «заведения» — это все для праздника, «загула», но не для ежедневной трапезы. Традиция домашнего питания еще сохраняется кое-где — в отечественной провинции...

Народная еда была простой, грубой, но сытной — вполне соответствующей нашему отнюдь не мягкому природному климату. В то же время в ней преобладала растительная и мучнистая составляющая, а не животная — как, например, у американцев и европейцев. К такому рациону (каши, овощи, ягоды) невольно понуждал прежде всего распорядок твердо соблюдаемых религиозных постов (а они занимали примерно полгода). Оно, однако, и полезнее для здоровья и для семейного бюджета менее обременительно...

А вот праздники у нас всегда «красны пирогами — как река берегами». Хотя и в мясоед среда и пятница считались постными днями, когда не следует употреблять в пищу ничего мясного и молочного...

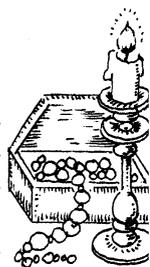
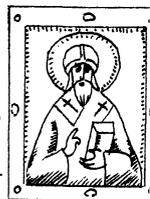
Соблюдение поста считалось в прежней Руси первейшим делом — и для здоровья физического, и для спасения души. В постные дни потребляли очень много грибов — сушеных, соленых, жареных: «Семеро яств, а все — грибы». А вот на западе Европы (как и в остальном «цивилизованном» мире) грибы, как известно, всегда считались продуктом «нечистым» — «тяжелым для желудка» и даже «ядовитым»...

Впрочем, аскеза — это вообще еще одна наша национальная традиция. С одной стороны, ее можно объяснить бедностью и суровостью жизни подавляющего большинства населения. Богачи, понятно, питались намного лучше: «Богатому — ежедень праздник», «Мужик богатый гребет денежки лопатой»... В такого рода речениях, конечно же, проявляется и зависть — тех, у кого «хлеба до обеда, а шей до ужина». Так оно пребывало встарь и остается, увы, таким в наши дни: «Иной живет в тоске, а спит на голой доске»...

Но с другой стороны, всегда было (и, к счастью, остается) немало любителей даже в самых трудных ситуациях поиронизировать, пошутить, поострословить, понасмешничать — и над окружающими, и над собой: «Богат Мирошка: животов — собака да кошка», «Не беда, коли не рожь, а лебеда; а нет хуже беды, когда ни ржи, ни лебеды», «Ни дров, ни лучины — а живет без кручины»...

Самое лучшее пиво варили на Руси в марте, причем питье это было настолько крепким, что «с ног сбивало». Отсюда еще одно известное присловье: «Пить пиво — не диво, только бы с ног не сбilo». А в повседневной жизни жажду утоляя чаще всего квасом: «Худой квас лучше хорошей воды».

Что же касается «хлебного вина» (то есть — водки), то это зелье распространяется в Отечестве нашем (и становится «превеликим делом» и страшным бедствием одновременно) где-то с XVI века. И. М. Снегирёв справедливо заметил по этому поводу: «Хлеб, обращенный в горячее вино, горелку, сивуху, — при изнурении подкрепляет тело русского народа



среди холода, ветра и дождя, греет его кровь; в кручине веселит его сердце, так что пьет он и в радости и в печали».

Говорили в старину: «Мужик год не пьет, два — не пьет, а как бес прорвет, так и все пропьет». Так-то оно так, но, может быть, действительно: чем дальше к северу, тем нужнее человеку не виноградное вино, а куда более крепкие напитки?..

Спору нет: немало народу русского спивалось тогда (и спивается сейчас). Не на пустом месте сказано: «Кто рюмки допивает, тот века не доживает»... И все же представлять весь народ «диким сборищем пьяниц» — это или дилетантское преувеличение, или преднамеренная и злобная ложь.

Да, мы любим и соленое, и горькое (хотя равнодушны к острому и перченому). Но главная наша национальная традиция — и в еде, и в питье — умеренность, самоограничение. Наедаться и напиваться «до упора» позволялось (и удавалось) только в праздничные дни (или — что гораздо реже — «на даровщинку»). Вспомним: «Наелся — как дурак на поминках»...

Широко известно и еще одно многовековое пристрастие русского народа — к парной бане: «Баня парит, баня правит, баня все поправит», «Когда б не баня, мы бы все пропали», «Баня — мать вторая»...

Примечательно: среди множества фронтовых ужасов и «бытовых неудобств» в окопах Второй мировой войны наши солдаты, пожалуй, более всего жалели о том, что «в баньку нельзя сходить», — и пытались (при первой же возможности) прямо на передовой что-то наподобие «парилки» устроить...

И хотя самоирония русского ума, часто нацеленная против самого дорогого в жизни, проявила себя и в отношении гигиены, а значит — и бани («С грязи не треснешь, с чистоты не воскреснешь», «Грязь — не сало, потер — и отстало»), но преобладало-таки убеждение (дошедшее из Античности, но актуальности не утратившее): «В здоровом теле — здоровый дух, а чистота — залог здоровья».

Тут уж и возразить нечего...

## 3. Народная мораль

Главным регулятором нравственной жизни людей в прошлом являлось чувство стыда. Его стремились воспитывать и культивировать в детях. А люди «бесстыжие» подвергались порицанию и осуждению: «Ему хоть плюй в глаза — все Божья роса» (нередко применялся и более сильный глагол — синоним слова «мочиться»). На что, правда, обвиняемые в «непотребстве» могли отговориться (и в различных вариантах): «Стыд — не дым, глаза не ест», «Брань на вороту не виснет».

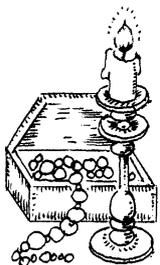


Поощрялась нравственная стойкость человека — в горе и в радости, в нищете и в преуспеянии: «Голенький — ох, а за голеньким — Бог»...

Говорили (не без зависти опять же): «Кому счастье случит, тот ни о чем не тужит», «Не родись красивой, а родись счастливой».

Но особо-то счастью — удаче, «талану», «фарту» — не доверяли. Считалось, что все это «дается свыше» и от усилий самого человека не очень-то и зависит: «Счастливым быть — никому не досадить», «С твоим счастьем — только в бор по грибы», «Наше счастье — вода в бредне».

Впрочем, иногда — отчаянно рискуя или оказавшись в нужное время в нужном месте — можно и собственными силами кое-что ухватить: «Либо сена клок, либо — вилы в бок».



От чужих людей помощи или ответного дара чаще всего не допросишься и не дождешься: «Как тонут — так топор сулят, а как вытащишь — так топорщица жаль». В общем: «Каждый — сам за себя, один Бог — за всех».

Вполне закономерно, что речений про горе-несчастье намного больше, нежели оптимистических суждений: «Таков наш рок, что вилами в бок», «Мой талан съел баран», «Беда беду накликает», «Счастлив бывал, да несчастье в руки поймал».

Такие и подобные им высказывания как бы еще более укрепляют убеждение человека в том, что приход к нему счастья (либо несчастья) — дело почти случайное, непредсказуемое: как гроза с ливнем — не предугадаешь... Этот неверо-

ятной мощи фатализм — природный, стихийный — всегда жил в народе: «Чему быть — того не миновать».

Но — как и во всем другом — здесь также присутствовало то, что «шло вразрез» (своего рода «диссидентство»): «Горю горюй, а руками воюй», «Глаза боятся, а руки делают». Люди были во все времена очень разные: кому-то одно пригодится по жизни, кому-то — совсем иное... Но и в горе-нужде русский человек пытался улыбаться, находя даже в ущербных для себя ситуациях какие-то прибавки: «Собака пропала — цепь освободилась».

Иначе говоря: живи, как живется, — и будь, что будет!..

#### 4. О вере и суевериях

Память о древнеязыческих временах сохранилась лишь в немногих бытующих до сих пор поговорках: про «лад», «леших», «щура» («чура»): «Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад»... Вспомним, что именно Лада (богиня весны у древних славян) почиталась нашими прапредками как покровительница любви и брачных союзов.

Ну а великое множество рассыпанных по разным фольклорным «жанрам» (поговорки и пословицы, гадания, заговóры, песни, частушки) упоминаний «на лирическую тему» — яркое свидетельство тому, что ранее на Руси выбирали спутников жизни, заводили семьи отнюдь не «с бухты-барухты» (как — зачастую — в наши дни), а после серьезной предварительной подготовки, с большим тщанием и поиском «оптимальных вариантов».

Ведь все, что находилось в семье и вокруг нее, составляло огромную (если не основную) часть жизни человека: «Кому на ком жениться, тот для того и родится», «Дочку замуж выдать — не пирог испечь», «О-хо-хо! Бабы каются, девки замуж собираются».

Конечно, случались и тогда «браки подобные смерти»: «Судьба придет — руки назад привяжет»; «Суженого и на коне не объедешь». А отсюда уже — выход на гадания, обереги и (не в последнюю очередь) — на всякую нечистую силу: колдунов и ведьм, леших и домовых, русалок и чертей...

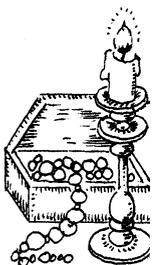
Вот потому-то (особенно — на Васильев день, 1/14 января) и принимались девушки столь азартно «загадывать на женихов»: лили в воду расплавленный воск (олово, свинец); выходили на перекрестки дорог; обходили вокруг проруби; смотрели на звезды (какая и где упадет); клали кое-что «заветное» под подушки; подвешивали на ночь в сарае гребень... Да много чего прочего и разного делали...

Ну а про «вещие» сны сколько разговоров было: «На печице — котище, по полу — гусыня, по лавочкам — лебедки, по окошечкам — голубки, за столом — ясный сокол»...

Не боясь показаться «несовременными», признаемся: именно вот этой зачарованно-сказочной (и почти утраченной) жизни русской души жаль сегодня более всего! Все это ушло в небытие — и напрочь. Городская «цивилизация» немилоствива к «рудиментам» крестьянской мифологии...

Удивительно, однако, что никуда не исчезла — при полнейшем рационализме нашей жизни — бытовая суеверность народа. Как и в древности, при виде черной кошки скрещивают пальцы и/или сплевывают за левое плечо. Студенты — перед «опасным» экзаменом — кладут себе в обувь (под пятку) монету (желательно — «пятак», ныне, увы, упрямый). Старики (да и не только они), спускаясь утром с кровати, стараются первой поставить на пол правую ногу. Перед большим путешествием и после него многие ставят в церкви свечу. На поминках по усопшему непременно выставляют специально приготовленные блины. В поминальные дни («родительские субботы») на кладбищах — полно людей, ухаживающих за могилами родных и близких. Маленьких детей-«ревунков» по-прежнему носят к «бабкам»-знахаркам — «заговаривать от сглаза и порчи». Все так же любимы на праздничных столах холодец и рыбные пироги; готовятся (среди общей массы) отдельные «особые» пельмени (с тестом вместо мяса — «на счастье»); разламывают куриную косточку — «дужку», гадая — на чьей же стороне будет удача?..

То есть какая-то незримая ниточка связи с прошлым миром жива. Вот только запрятана она так глубоко в души человеческие, что и не найдешь с ходу...



Извечно теплилась (и теплится) — в душе (в подсознании, в «подкорке» — как угодно) человека вера в то, что «за Богом — молитва, а за царем — служба не пропадет».

Конечно же, повседневная жизнь куда шире и сложнее любых прописей и нравоучений: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься»... Но исход-то — при любом раскладе — один, и помнить об этом надлежит до последнего земного вздоха: «Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни богату — суда Божьего не миновать», «Все под Богом ходим!».

Он в крови народа — этот стихийный деизм...

## 5. Про быт и нравы народные

Страна у нас — вплоть до середины прошлого столетия — была сугубо патриархальной. Поэтому и в фольклорных речениях роль мужчины — хозяина в доме — чрезвычайно значительна. Причем многое здесь нам уже понятно плохо или непонятно вообще; например: «Хозяйский глаз желтей червонца»...

Но как только женщина превратилась из домохозяйки в работницу на производстве — так и пришел конец абсолютной власти мужа в доме. Случилось это как раз к середине XX века. И тут же появились на свет новые изречения: «Жена без грозы — хуже козы», «Раньше мужики баб били, сейчас — наоборот»... Впрочем, и у наставления «Люби жену, как душу, а тряси ее, как грушу (бей, как шубу)!»), хотя ситуация вроде кардинально поменялась, последователи еще имеются, и их немало...

Претерпела существенные изменения и роль родителей в семье. Раньше непреложным правилом было: «Живы родители — почитай, померли — поминай». Ныне отношения между поколениями, мягко говоря, многовариантны и очень зыбки. Ограничивать детей в чем-либо одной родительской властью крайне сложно — практически невозможно, ибо с точки зрения современной ювенологии «родительская воля заводит в неволю»... В этих условиях все более актуализируется старинная народная поговорка: «Малень-

кие детки — маленькие бедки, а большие детки — большие бедки»...

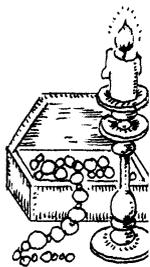
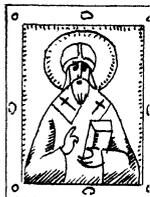
Конечно, всегда особыми были (и остаются по-прежнему — в большинстве случаев) отношения между матерью и детьми: «Материнская молитва со дна моря вынимает»... Но и здесь современная жизнь преподносит все больше исключений из вековых правил и установлений...

Намного ослабли и столь почитаемые прежде связи между родственниками — близкими и дальними. Тесными остаются (да и то не всегда) отношения лишь внутри «малой» семьи, а вся широко разветвленная ранее система родства безвозвратно рухнула. Регулярное и теплое в прошлом общение с двоюродной родней (братьями и сестрами, дядьями и тетками, дедушками и бабушками), шуринами и золовками, сватами, кумовьями и прочими категориями «свойственников» кануло в Лету. А ведь как оно было — и в недалекие еще времена: «Кто мне сват — тому и рад», «Русский человек без родни не живет». Правда, слишком отдаленную родню и тогда не очень-то жаловали: «Седьмая вода на киселе»...

И все же какая-то тяга к «семейственности», «общинности», приверженность родовым связям (нередко переходящая в то, что на языке политологии именуется «непотизмом») осталась у русских и по сей день. Посещая любую европейскую столицу, вы непременно обнаружите там русское землячество — со своими периодическими изданиями (бумажными, а с недавних пор — и электронными), со своим тесным, хотя и несколько душным, внутренним мирком, со своими традициями и праздниками, дружбами и распрями, пристрастиями и сплетнями. Жениться здесь принято тоже, как правило, на «своих»...

Кстати, и в Москве еще не так давно создавались (по разным, нередко конъюнктурным соображениям) свои этно-региональные землячества: «казаков», «вятчан», «сибиряков» — и прочая, и прочая, и прочая...

Очень много значило в старину добрососедство: «Не купи дом — купи соседа». И верно: ведь волей-неволей, а придется, глядишь, рядом «весь век вековать». Поэтому счастливы те, кто жили с соседями «душа в душу».



Тогда, впрочем, традиции взаимоподдержки преобладали в народе. Это сейчас (как следствие бурного расслоения общества — в духе «дикого» капитализма) все более распускает свои метастазы холодно-равнодушный ко всему окружающему индивидуализм.

А желающих «половить рыбку в мутной воде» с избытком хватало во все времена: «Не помнит свинья полена, а помнит, где поела».

При этом и для зависти нет ни препон, ни оград: «Злой плачет от зависти, а добрый — от жалости», «На чужой каравай рот не разевай, а свой затевай!» Последним изречением, кстати, частенько «осаживали» тех чересчур назойливых ухажеров, что «пускали слюни» при виде чужих жен и невест.

Ну а вокруг праздничного (да и просто домашнего) застолья сложился целый комплекс фольклорной афористики. Ведь душа семьи не просто отражалась, но и жила именно в домашнем обеде. А тут уж: «Что в печи — все на стол мечи!»

Хлеб-соль — это святое! А в долгом застолье возникали и душевная приязнь, и доверительный разговор... И очень горек упрек тому, кто забывает эту прежнюю «хлеб-соль» (то есть — «приятельство», «дружбу», родство).

Немало присловий (зачастую, правда, диаметрально противоположных по смыслу) посвящено винопитию: «Кто празднику рад, тот до свету пьян», «У праздника два невольника: одному хочется пить, да не на что купить; а другого потчуют — да не хочется пить»... При этом считалось негужим «злоупотреблять» отдельно от «общества» (в одиночестве либо «где и с кем попало») и не по праздничным (выходным) дням: «Кто пьет один, тот пьет с дьяволом», «Пей за столом, да не пей за столбом!».

Неплохо бы сейчас почаще вспоминать и те народные поговорки, в которых осуждаются злопамятство и мстительность: «Тому тяжело, кто помнит зло», «Кто старое помянет — тому глаз вон», «Добрые люди бранятся на весь мир, а побратавшись — сойдутся на добренький пир», «Сходись — бранись, расходись — мирись!»...

Нашли свое отражение в фольклорном наследии и такие отличительные черты народной жизни, как экономность и умеренность в пище и одежде, простота и неприветли-

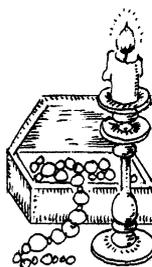
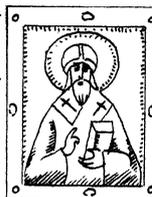
вость в жилище: «Не до жиру — быть бы живу», «Копейка рубль бережет», «Всех денег не заработаешь», «Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою», «По одежке протягивай и ножки», «Ешь — не наедайся, пей — не напивайся, вперед не набивайся, назад не оставайся». Тут ведь — целая жизненная философия умеренности, не показное, но подлинное торжество здравого смысла.

Еще одна характерная особенность русских — склонность к насмешке, иронии («подковырке», «подначке»): чаще, впрочем, добродушной, нежели злой, а тем более — злобой. Но здесь, как и во многом другом, всегда ценилась мера: «Умей шутить, умей и перестать», «Над кем смеешься, тот над тобой поплачет», «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», «Шутил Мартын, да свалился под тын»... Про тех же, кто меры не знал, говорили: «Ради красного словца не пожалею ни мать, ни отца!»

Осторожность, стремление не обидеть других «негожим» словом (не всегда, кстати, реализуемое), оглядка на окружающих — все это делало русский народ своеобразным «стихийным коллективистом». И эту «эксклюзивную» его особенность многие на Западе воспринимали (и воспринимают) как некую «ненормальность», «ущербность», «недоразвитость». Между тем даже в известном присловии — «Попал в стаю: лай не лай, а хвостом виляй» — содержится немало позитивного смысла, а именно: нацеленность на преодоление заносчивости (в любых ее проявлениях), неоправданного и неуместного порой индивидуализма, на совместные усилия и труд — в полную меру и силу...

Многие полагают, что русский человек слишком уж «затрачивается» на борьбу с самим собой — рефлексию и «самоедство», без которых его самоотдача (а следовательно — и достижения) была бы гораздо значительнее. Отразилось это и в поговорках, к примеру: «Человека точит не работа, а забота».

Пусть так, но зато и мстительность (выстраданная и долгая — в духе графа Монте-Кристо) вовсе не в характере нашего народа. В нем исстари существовало поверье, что зло, накапливаясь в человеке, — его же самого и «порвет»: «Господь долго терпит, да больно бьет».



Ну а главная нравственная опора — все же в самом человеке: «Живи просто — проживешь лет со сто!»

### Глава 3

#### Русские нравы в частушках

Частушки — неотъемлемая составляющая русской молодежной крестьянской культуры конца XIX — начала XX века. Тогда многие знатоки фольклора и профессиональные филологи высокомерно называли их «проявлением упадка народной песенной традиции», «порождением фабрично-заводской среды»...

На самом же деле, думается мне, в то время, на рубеже столетий, кардинально изменился ритм жизни всего народа. Устарел поэтический язык прежних песен: они перестали затрагивать тончайшие струны душ людских. Многие в них (отдельные слова и целые выражения) становилось уже просто непонятным, а значит, и сами песни не находили отклика в сердцах, не согревали их. Словом, песня — как жанр народного творчества — начала вымирать...

Другое дело, что и отпущенный частушкам срок жизни на родине оказался невелик: по сути — до начала 1940-х годов, то есть до тех пор, пока сохранялась (пусть хоть и в агонизирующих своих остатках) крестьянская Русь...

В расцвете своем частушка привнесла в русский быт и фольклор множество новых элементов: ярких, подпитанных повседневностью и вместе с тем (применяя модный ныне неологизм) — «креативных». В них нашли выражение и сила ума, и талант нашего народа, и стиль новой жизни.

Пей-ка, милый, водочку,  
Люби меня в охоточку!  
Пей, ума не пропивай, —  
Люби меня, не забывай!

Крестьянские девушки и парни, неизвестные авторы частушек, сочиняли их только в контексте своей личной жизни, применительно к конкретному случаю, событию — праздни-

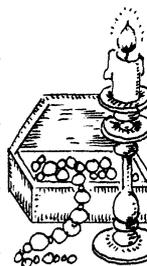
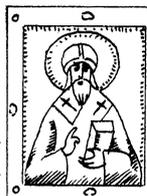
ку, вечеринке, посиделкам... Это — непосредственный отклик на что-нибудь мимолетное, мгновенное, но остро затронувшее автора. Да и сам размер частушки (обычно — не более четырех строк) не допускает многословия, в отличие от тех же — довольно-таки длинных, протяжных, а нередко и заунывных — народных песен. При исполнении частушек предстает нечто совсем иное. Это — четкий ритм русской плясовой, отмечаемый дробью каблучков, когда «красна девица» стремительно врывается в общий круг и отвечает сопернице — быстро, резко, остро и весело. И при этом — предельная концентрация на том, что необходимо «выпустить» с языка в течение всего лишь каких-то там секунд:

Запевала я частушку,  
Запевать всегда пора.  
Без частушки на вечерке,  
Что в лесу без топора.

Причем если в самом начале XX века частушки нередко представляли собой некие «мини-клоны» (фрагменты, отрывки, укороченные цитаты) народных песен, то к концу своего саморазвития — это уже вполне законченная фольклорная форма, основанная на каком-то реальном жизненном эпизоде, конкретном случае, на личностном «материале» (размышлении, чувстве, эмоции). Без частушек стали немислимы любые молодежные деревенские вечерки, игрища, посиделки — вплоть до середины минувшего столетия. А ритм и тон частушки задавались, как правило, популярными плясовыми мелодиями: ранее — «Барбушкой», затем — «Семеновной»...

Великое множество частушек построено — в соответствии и с фольклорно-песенным каноном — на антитезе. Например, сначала как бы панорамно обзревается окружающая природа, а затем проводится параллель со своими думами и чувствами:

Черный вóрон на вершине,  
Сера утка на воде.  
Моя милка черноброва  
Часто видится во сне.



Раньше реченька бежала,  
Теперь высохла она;  
Раньше девушка любила,  
Теперь бросила меня.

Хотя этот прием вовсе не обязателен. Сплошь и рядом встречаются и просто какая-то констатация, и меткая характеристика, и откровенное признание, и даже некое подобие мини-портрета (нередко — шаржированного):

Милая, заветная,  
По косе заметная,  
Рожку жнет на полосе,  
Алеет ленточка в косе.

Отметим, что стихотворные размеры частушек более позднего периода «подгонялись» уже под литературно-топонимические образцы. Ведь многие крестьянские парни и девушки к тому времени овладели грамотой и даже получили образование (правда, в большинстве своем — лишь начальное). В этот период все отчетливее проявляются в частушке элементы упадка, в чем существенное ее отличие от русской народной песни, полностью прошедшей и достойно завершившей круг своего развития.

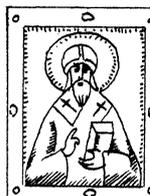
В частушке начинал ощутимо превалировать фабрично-трактирный привкус — с ярко выраженной вульгарно-эротической компонентой. Ситуация, благодаря жесткой государственной цензуре, не выходила из-под контроля властей, но на бытовом уровне за словом в карман не лезли — оставшиеся в памяти народной многочисленные «охальные» частушки убедительно свидетельствуют о том, что «секс в России был-таки всегда».

Впрочем, свойственное нашему народу острое чувство юмора и здесь «сглаживало острые углы», ретушировало очень уж явные и откровенные «неприличия»:

Стоит милый на крыльце  
С выраженьем на лице.  
Выражает то лицо,  
Чем садятся на крыльцо.

Что-то под ноги попало —  
Коробок со спичками.  
Не тебя ли, моя милая,  
В овине пичкали?

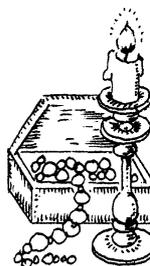
Мою милку сватали,  
Меня под лавку спрятали.  
Я под лавочкой лежу,  
Да милку за ноги держу.



Главная тема частушек — любовь и все, что происходит и творится вокруг этого чистого и бессмертного чувства: симпатия, свидания, ревность, измена, разлука.

Мы с цветочком расставались  
В поле на дороженьке,  
Опустились белы руки,  
Подкосились ноженьки.

Серый камень, серый камень!  
Серый камень семь пудов!  
Серый камень так не тянет,  
Как проклятая любовь!



Частушки распевали и по дороге — с посиделок, и под окнами милой — поздним вечером, и просто — в «хорошей компании»... При этом едко высмеять кого-нибудь — дело обычное:

Вот идут, вот идут  
Наши ухажеры.  
Половина — дураков,  
Остальные — воры.

У меня миленок есть,  
Срам по улице провесть:  
Люди все ругаются,  
Лошади пугаются.

Заряд беспощадной иронии и едкого сарказма мог быть обращен автором и на собственную персону:



Юбку новую порвали  
И подбили правый глаз.  
Не ругай меня, мамаша, —  
Это было в первый раз!

Хулиган-мальчишка я,  
Не любят девушки меня,  
А любят бабы-вдовушки —  
Отчаянны головушки.

Шёлды-ёлды, две шеколды  
И еще шелды-елды,  
Пил бы, ел бы, щё хотел бы,  
Не работал николды!

Из частушек и сейчас пробивается к нам поразительная сила молодой русской жизни предвоенной (до 1941 года) эпохи: духовная мощь и душевное здоровье, неистощимое трудолюбие и безмерное терпение, глубинный здравый смысл и свежесть чувств — все то, что в последующие годы ушло в небытьё...

Принудительный и практически неоплачиваемый, полуграбский колхозный труд, кровавая мясорубка и голодная пандемия войны, окончательно добившей крестьянство, сталинский террор, откровенный фискальный грабеж со стороны государства, то есть — целенаправленное (в течение многих «советских» десятилетий) уничтожение отечественной деревни, конечно же, не могли не изменить (причем — кардинально, убийственно-жестко) и образ жизни, и мировосприятие, и психологию русского народа.

Заметим при этом, что «политических» частушек (во всяком случае — откровенно критической направленности) во все советские годы появлялось сравнительно не так уж и много. Но они все-таки (что, согласимся, совсем не удивительно) «имели место быть».

Ну вот, например, про коллективизацию:

Все окошечки закрыты:  
Там колхозники живут —  
Из поганого корыта  
Кобылятину жуют.

Колхоз, колхоз,  
 Какое тебе звание? —  
 Без рубашки, без штанов  
 Идем на собрание.

Понятно, что за такие «тексты» можно было и лагерный срок получить, а то и головы лишиться...

Примечательный эпизод в этой связи вспоминал вятчанин, ученый-биолог и краевед Г. А. Котельников — о праздновании 7 ноября 1934 года в деревне Шенниковы (ныне Молотниковское сельское поселение Котельничского района Кировской области).

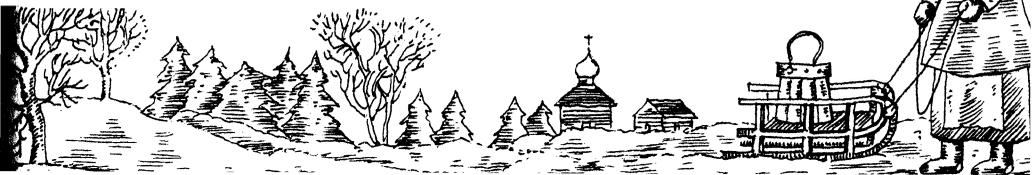
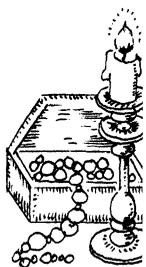
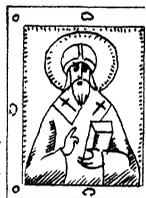
На сцене сельского клуба — президиум с председателем колхоза «Путь к социализму» во главе. В зале на скамьях — крестьяне-колхозники. На стене — портреты большевистских «вождей», из них самый большой (под стеклом) — с изображением «мудрого, родного и любимого» Сталина.

После доклада и самодеятельного концерта — танцы. Молодежь плясала истово, от души. И один здоровенный парень по имени Николай в кадрили, приблизившись к стене, как и полагалось по распорядку танца, крепко топнул ногой, а потом вдруг увидел на полу сорвавшийся со стены портрет «великого вождя» — с разбитым на осколки стеклом... Парни, будучи выпившими, поначалу этому факту и внимания не уделили, и значения не придали. Но к завершению празднования между ними, как заведено и частенько приключалось в таких ситуациях, завязалась потасовка, переросшая затем в большую драку...

По «горячим следам» всех этих событий председатель колхоза, как и положено, настроил заявление — в райотдел НКВД, дабы там разобрались что к чему. Разумеется, не оставили без внимания и упавший портрет «отца народов». Кое-кто из земляков, кстати, осуждающе поговаривал: «Уж зачем он шибко-то так топнул ногой, даже сам товарищ Сталин не выдержал — оборвался?!»

Итог деревенского праздника подвел суд, по решению которого Николай получил два года лагерей...

Есть во всей этой истории моменты, характерные для нашего народа в целом: и свойственное только русским стрем-



ление к безусловному оправданию высших властей, и донос председателя колхоза — лишь бы самому «не погореть» (ведь кто-то может и опередить с «сигналом» — и тогда «не отмажешься»), и покорная (не холопская ли?) безропотность могучего парня, «без вины виноватого» перед государственной машиной — со всеми ее рулями, колесиками и винтиками, готового покорно снести любую (пусть самую несправедливую) кару, которую эта слепая, бездушная молох-машина ему уготовит и назначит...

## Глава 4

### Ритмы жизни в народных песнях

**Н**ародные песни на Руси складывались в глубокой древности — вместе с обрядами. Отошли в прошлое старинные обряды — умолкли и связанные с ними песни. Хотя процесс отмирания — как первых, так и вторых — оказался довольно протяженным.

Все народные песни — похоронные, свадебные, «игрищенские» — ритуальны, обусловлены крестьянским бытом и календарем. Приписываемая им магическая сила призвана была способствовать хорошему урожаю, обеспечить пригожего и работающего жениха, принести здоровье и благополучие, дать облегчение отлетевшей в мир иной душе. В общем, это нечто вроде удлиненного, положенного на музыку и вырванного в поэтической форме заговора...

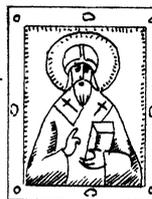
Ничего подобного в широком обиходе в наши дни уже не сохранилось, а многое исчезло абсолютно.

Начало «угасания» народной песни можно отнести к рубежу XIX — XX веков, когда она из ритуального действия постепенно превратилась в простое развлечение.

И кто помнит сегодня, например, о том, что «Мы просо сеяли...» — это весенняя обрядовая песня, связанная с посевными работами и с весенними свадьбами? Что излюбленный русскими людьми хоровод — это символ движения небесного светила и почитание солнечного божества?..

Поскольку ныне хороводы стали просто забавой, то и сопровождающие их песни обрели игровое, а нередко — даже

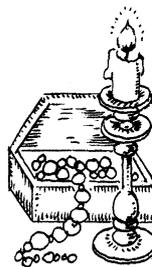
шутливое содержание. И конечно же, ничего общего с национальной традицией не имеют те псевдорусские игрища и попевки, которые демонстрируют по всей планете расплодившиеся в советскую эпоху так называемые «народные ансамбли песни и пляски». И даже когда в их исполнении звучат со сцены старые и подлинные тексты народных песен — это все-таки не более чем глумливая профанация, ибо без того строя жизни, в коем рождались и жили эти песни, они неорганичны, неодушевленны. Магическая сила слов исчезла полностью. Искренность, чистота, глубокое чувство — всего этого нет у большинства современных исполнителей. Это — нечто сродни музею восковых фигур: нарумяненная, но, увы, безжизненная «якобы красота».



Чем стариннее народная песня — тем мощнее проявляются в ней богатство творчества, цельность натуры, духовное здоровье. И это вовсе не идеализация: огромной личностью (раздробившейся, к несчастью, с течением времен) был сам народ...

Они захватывающе раздольны — русские народные песни. Вот пример одной из них:

Ай, улица широкая,  
Трава-мурава зеленая,  
Цвели цветы лазоревы,  
Пошли духи малиновы.  
По той траве конем топчу,  
Пером пишу — не выпишу.



Я ровнюшку не выберу,  
Я выберу неровнюшку-старинушку.  
Ах, стар добре —  
Неровня мне:  
Он спать идет,  
Сам кашляет,  
Попутру встает,  
Сам охает.

Ай, улица широкая,  
Трава-мурава зеленая...  
(далее тот же припев. — В. Б.)



Я выберу себе ровнюшку,  
Я выберу ровнюшку-детинушку.  
Детинушка — мне ровнюшка:  
Он спать идет играючи,  
Поутру встает  
Припеваючи...

Это — хороводное песнопение. Темп очень медленный — идущий из души, «берущий за живое». Вполне можно представить большой зеленый луг — с девичьим хороводом, «ведущим» эту песню. В сущности, это ролевая игра, настраивающая девушек выбирать себе жениха-«ровню» — и по возрасту, и по характеру, и по достатку. А действующие лица в этой игре — весь хоровод...

Песни, где звучали жалобно-грустные мотивы (печаль о разлуке с любимым, сетование на горькую судьбину), чаще всего исполнялись в два голоса.

«Разбойничьи» песни имели более широкий, раздольный напев и предназначались для «посидячего» исполнения.

Духовный источник всех этих песен (протяжных и глубоких — словно русская душа и судьба) — любовь, преданность, нежность, ласка, дружба, «сердечная тоска». Они как бы подымают человека над обыденщиной, вырывают из тесного круга суетных забот, очищают душу от «мелочей жизни». Это, к слову, хорошо понимала знаменитая исполнительница таких песен Людмила Георгиевна Зыкина.

Ну а веселые, плясовые песни имеют, конечно, и более живой темп, и «заковыристый» ритм. Многие из них могли служить (и служили) аккомпанементом-комментарием к заливатским пляскам — своего рода играм:

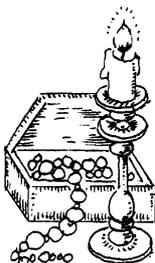
Вечор девки пивоварничали,  
Молодушки кашеварничали...  
Пришел к девкам незванный гостенёк,  
Незван, неждан и непрошенный.  
Стали девки перешептывати:  
— Ай, чем гостя будем потчевати?  
Одна — в щеку, друга — за волосы...  
Через стол тащат —  
Волосики трещат.

По горенке поволакивают;  
 По сеничкам словно семечко толкут;  
 По дворику, по-за дворику;  
 По улице мимо кузницы...



Такие «игришенские» (как и «подблюдные» — с гаданием) песни (наряду с хороводными — самые древние по происхождению) замечательны по-своему. Это — первозданно чистая, свежая струя народной лирики. Здесь нельзя не восхищаться уникальной образной системой, когда явления и предметы из мира природы сопоставляются (сопрягаются) — поэтично по форме и глубоко по смыслу — с элементами человеческих отношений. Символика в этих песнях прозрачна и весьма устойчива: «утушка» — невеста; «лебедушка» — либо невеста, либо молодая жена; «селезень» — муж; «сокол» — жених и «добрый молодец»; «кукушка» — тоскующая вдова; «полынь» и «крапива» — тоска и горе; «переправа через реку» — женитьба, замужество; «встреча у колодца» — свидание. И так далее... Таким образом, тому, кто хочет понять язык народной песни, необходимо прежде всего (и обязательно) изучить ее символику...

В основе содержания многих песнопений — и такой «непростой предмет», как иррациональность души русского человека, который зачастую — от «тоски зеленой» — сам же способен погубить свою жизнь. Это можно отнести главным образом к «мужским» песням: «бурлацким», «ямщицким», частично — к «солдатским»...



Но с наибольшей силой, как мне представляется, душа и строй мыслей нашего народа раскрываются в песнях свадебного обряда, большинство из которых (как и всех иных, заметим — объективности ради) складывалось все-таки женщинами.

И это понятно: ведь, в сущности, в те времена (да и сейчас не так уж редко) брак — главное событие в судьбе человека, ибо оно в конечном счете и определяет его счастливую либо «бесталанную» жизнь.

Сколько ласковости, душевной мягкости звучит, к примеру, в подтексте народной песни про выбор женихом своей невесты («суженой»):



За морем невеста не пышно жила,  
Не пышно жила, пиво варивала;  
Сóлоду купила, хмелю взáймы взяла.  
Черный дрозд пивоваром был.  
«Дай же нам, Боже, пиво то сварить,  
Пиво то сварить и вина накурить!»  
Созвали гостей — мелких пташечек.  
Совушка-вдовушка незваная пришла.  
Снигíрюшка по сеничкам похаживает,  
Совушке головушку поглаживает.  
Стали все птички меж собой говорить:  
«Что же ты, снигíрюшка, не женишься?»  
— Рад бы я жениться, да нéкого взять!  
Взял бы я пернатку, — та матка моя;  
Взял бы я чечетку, — та тетка моя;  
Взял бы синичку, — сестричка моя;  
Взял бы я сороку, — щекотливая.  
За морем есть перепелочка,  
Та мне — не матушка, не тетушка;  
Ту я люблю, за себя ее возьму.

Русский свадебный ритуал включал в себя целую череду обрядов, которые призваны были способствовать и счастливому соединению «молодых», и будущему их благосостоянию, и «оберегу от порчи», и появлению потомства — и т. д. и т. п.

Среди прочих — обряды «стимулирующие» и «обережные». Так, например, на колени невесте усаживали мальчика — чтобы рождались дети, и лучше бы — «мужеска пола». На пути следования свадебного кортежа («поезда») стреляли в воздух — чтобы «отпугнуть нечистую силу». С той же целью невеста в день свадьбы вкалывала в подол своего платья булавки или иголки. Молодые за свадебным столом пили только из одного сосуда.

Свадебное торжество — само по себе — многоактное драматическое действие, длившееся не менее трех дней. И в центре всего комплекса свадебных обрядов — невеста. Именно для нее замужество — это полный разрыв со всем прошлым, настоящая «рулетка», где ставка — жизнь или смерть, удача или «горе горькое»...

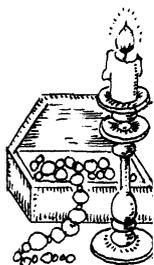
Все это «матримониальное» действо происходило на фоне практически непрерывного хорового пения — в исполнении подружек невесты. Сюда вплетались и «солирующие» речитативы самой новобрачной. В целом же складывалось настоящее произведение вокально-хорового искусства, отражающее образ идеального мира, который, конечно же, не имел ничего общего с реалиями окружающей жизни...

Каждому этапу свадебного ритуала предназначалась своя песня. Начиналось все уже на стадии сватовства:



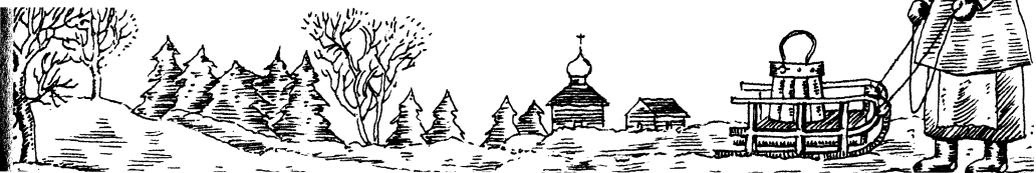
Налетали ясны соколы.  
 Садилась соколъ за дубовы столы,  
 За дубовы столы, за камчатны скатерти.  
 Еще все-то соколъ оны пьют и едят,  
 Они пьют и едят, сами веселы сидят,  
 А один-от сокъл он не ест и не пьет,  
 Он не ест и не пьет, он невесел сидит,  
 Он невесел сидит да все за завесу глядит,  
 Все за завесу глядит да себе девицу божит...

Следующий этап — «смотрины» и «сговор». Невеста выставляет свое приданое (подготовленное уже заранее и давно хранившееся в сундуках). Будущие сватовья (родители жениха и невесты) обмениваются взаимными визитами: осматривают хозяйства друг друга, договариваются о предстоящих расходах, о сроке свадьбы, о приданом, о персональном составе приглашаемых гостей... Ну а после «сговора», когда «бьют по рукам», — назад уже дороги нет...



Невеста и ее подружки в это время рукодельничают, напевая, в частности:

Ты река ли моя, реченька,  
 Ты река ли моя быстрая!  
 Ты, река, по лугам течешь,  
 По раздольям разливаешься,  
 У тебя ль, у быстрой реченьки,  
 Берега были хрустальные,  
 А пески на них жемчужные,  
 Тут стоял тонкий бел шатер!..



А в конце предсвадебной недели — «девичник» («девичий вечер»), когда подружки собираются для того, чтобы символически «попрощаться» с невестой. Она же навсегда расстается со своей «красой хрустальной» — девичеством, становится «молодушкой» («бабой») и снохой — самым обездоленным человеком в большой семье мужа. Потому-то во время «девичника» звучали только щемяще грустные и пронзительно лиричные песни...

Следом начиналась собственно свадьба — со всем своим невероятно сложным церемониалом. Чего сто́ит, скажем, одно лишь утро первого свадебного дня — это же целая серия обрядов: здесь и пробуждение невесты, и обряжение ее, и ожидание приезда жениха и т. д. — всех деталей не перечислить. И все это — непременно при песенном сопровождении!

Искреннее восприятие таинства и непоказное проявление стыдливости — то, что явственно отличало чувственную природу русского человека. Но к сожалению, ускорение темпов, искажение ритмов жизни постепенно сжали стародавние обряды в некую «скороговорку», и на рубеже XIX—XX веков от них остались лишь «намёки».

Течение жизни в деревне, конечно, гораздо спокойнее, нежели в уездном (районном) городке, а в последнем — существенно медленнее, чем в губернском (областном) центре, не говоря уже о мегаполисах и столицах. Но вирус дегуманизации, обезчеловечивания медленно, но верно проникал во все слои и прослойки общества. Теперь с этим уже ничего не поделаешь. Возникли новые — индивидуалистические — ценности, которые и определяют сегодня мировоззренческие и жизненные устремления большинства людей. Коллективным обрядам и песнопениям места на нашей земле остается все меньше и меньше...

А жаль!..

## Глава 5

## Русский язык как таинство

## Словарик диалектных слов

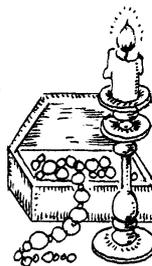
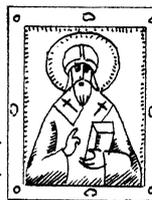
Русский народ — это поле жизни для русского языка. Но зависимость здесь двойная, обоюдная: без языка не было бы и народа. Когда же языку более тысячи лет, то он — и архив национальной памяти, и неформальная скрепа, поддерживающая существование общества, и зеркало народной души.

Многие поколения людей привнесли (разумеется — в разной мере) в русский язык свои помыслы, открытия, достижения — да самую жизнь свою. Но пространство языка — это цветущий луг, где сосуществуют самые разные «флора и фауна». Они живут, порой соперничают (и даже воюют), оставляют потомство, погибают, возрождаются вновь, некоторые — мутируют, другие — сохраняют свой первозданный генотип, третьи — исчезают навсегда...

Сверхогромные просторы России, критически малонаселенные, из рук вон плохо связанные друг с другом коммуникациями (дорогами — прежде всего), во все времена могли держать воедино только общий язык нации. Понятно, что мозаика этого языка в разных регионах (землях, краях, губерниях, областях, округах и округах) отливалась своеобразными оттенками. Но эти различия не разделяли, а лишь подчеркивали общенародное единство: ведь рука человека и не должна быть похожей на его же ногу...

В каждой традиционной российской области сложился собственный диалектный строй языка, отличающийся, допустим, пермяка от новгородца, а пензяка — от костромича. Замечательны отразившиеся в языкотворчестве нашего народа его сметливость, оригинальный строй мысли, беспримерная способность адаптироваться к любым жизненным обстоятельствам и бытовым тяготам, многогранность и многозначность лексических подтекстов.

Попробуем отследить эти моменты с помощью небольшой подборки вятских диалектизмов, заимствованной из обширной коллекции Николая Михайловича Васнецова —



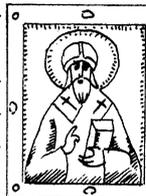
одного из первых собирателей «словечек» и «выражений», «живших» только в Вятском крае, старшего брата известных русских художников Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых.

Он родился в селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии (ныне Уржумский район Кировской области) в семье священника. Образование получил в Вятке — в духовном училище и в духовной семинарии. Но карьере священника предпочел педагогическую стезю: всю свою жизнь прослужил учителем, много лет — в селе Шурме (неподалеку от отчих мест) и лишь в последние годы — в губернской Вятке.

Близко знавшие его люди вспоминали, что он «...всегда в высшей степени добросовестно относился к своему делу, был весьма трудолюбив, терпелив, отличался замечательной добротой и, кажется, никогда не выходил из обычного ему спокойного и благодушного состояния духа, даже... когда тяжёлый недуг уже подтачивал силы несчастного страдальца (чахотка, то есть туберкулез, — частый тогда смертельный приговор для многих русских интеллигентов)... Как человек, Николай Михайлович был замечательно скромн, уживчив, безобиден и добрый до бесконечности...». В сущности, это — некоторые (отнюдь не все, конечно!) лучшие черты русского национального характера.

Для меня этот человек — как русский типаж — значителен не менее, а, в общем-то, даже более, нежели его всемирно известные младшие братья-художники... У него, наряду со всеми другими достоинствами, было замечательное внутреннее чутье (вероятно — подсознательное), настоящий «нюх» на творческое начало — во всех проявлениях текущей жизни. Он рачительно заботился о своих детях (а было их девять!), о младших братьях. Был хорошим садоводом, успешным пчеловодом... Его творческая одаренность проявилась и в увлечении архитектурным моделированием: он искусно выполнял макеты древних крестьянских изб, церквей, школьных зданий... Но более всего — глубоко и увлеченно — интересовала его вся толща народной жизни: крестьянский труд, промыслы, обряды, фольклор — сказки, песни, поговорки...

В 1907 году, уже после кончины Николая Михайловича, в Вятке издан солидный том его «Материалов для объяснительного областного словаря вятского говора». Именно из этой книги мной и взяты многие диалектные «экспонаты» — для нижеследующей подборки. И прежде всего мне хотелось — на примерах «необычных» и не повсеместно распространенных в России слов — показать особенности хода мысли русского человека-словоизобретателя, его добродушный, но — одновременно — и лукавый (да еще и не без ехидцы) ум...



**АРТАЧИТЬСЯ.** Упрямитесь, не соглашаться.

**АШОШЬ.** Орава детей; толпа, группа самых неуважаемых людей. (Презрительно-пренебрежительный оттенок смысла.)

**АЮШКИ.** Отклик: «А!»; «Что?» — вопрос-просьба — для повторения недослышанного.

**БАДОГ.** Длинная толстая палка.

**БАЗЛАТЬ.** Грубое: громко кричать, орать.

**БУСЫГА.** Избалованный человек; бездельник.

**БАЛАНДАТЬСЯ.** Медленно и бестолково что-то делать, медлить.

**ВАХЛАК.** Грубый, «неотесанный», плохо одетый человек, не умеющий вести себя на людях.

**ВЕНЬГАТЬ.** Плакать, кланчить.

**ВЕРТЛЮЖОК.** Небольшой деревянный брусок на гвозде — для запора дверей (калитки); часть рыболовной снасти.

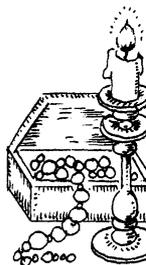
**ВЗБУБЕТЕНЬКИВАТЬ.** Бить кого-либо (чаще всего — детей); сильно трясти, встряхивать.

**ВЗБУЛЫНДИВАТЬ.** Сильно качать; трясти на ухабах (в телеге, в автомобиле); встряхивать.

**ВОЛЬНИЧАТЬ.** Баловаться, бегать и шуметь, никого не слушающая (про детей).

**ВОСЕТЬ.** Недавно, однажды.

**ВОШКАТЬСЯ.** Возиться, копошиться, медленно что-то делать; барахтаться; бороться.



**ВЫМУЛИВАТЬ.** Выпросить, выклянчить — при помощи разных уловок.

**ГАСНИК.** Шнур из льняных ниток — для завязок к штанам (брюкам).

**ГОНОШИТЬ.** Постоянно что-нибудь делать, не оставаться праздным никогда; хлопотать по хозяйству.

**ГРИЗДОК.** Скопление луковиц на одном корне; луковая семья, выросшая из одного севка.

**ДЕРБАЛЫЗНУТЬСЯ.** Упасть со всего маху.

**ДЕРЯБНУТЬ.** Отхватить куш; выпить; стукнуть (ударить).

**ДИКОНЬКОЙ.** Несколько «неадекватный» человек; навязчивый, надоедливый.

**ДОПЕТРИТЬ.** Додуматься; понять что-либо до конца.

**ДОТОРКАТЬСЯ.** Достучаться.

**ДУРЫНДА.** Дуралей, дурачок.

**ЕДРЁНЫЙ.** Крепкий, сильный, здоровый; свежий и сочный; прочный.

**ЕРЕПЕНИТЬСЯ.** Беспокоиться, волноваться, нервничать; ссориться, сердиться; чваниться, зазнаваться.

**ЕРИК.** Небольшая лесная речка с крутыми берегами.

**ЕРМОЛИТЬСЯ.** Вести себя беспокойно и суетливо, вертеться; чего-то нетерпеливо ждать.

**ЖАМКАТЬ.** Стирать белье руками.

**ЖОМ.** Жердь, которой укрепляют сено в стогу или на возу.

**ЖУБРЯТЬ.** Жевать — медленно пережевывать что-то.

**ЗАВЕНЬГАТЬ.** Заплакать, захныкать.

**ЗАВОРЗА.** Грязнуля.

**ЗАКОРКИ.** Место на спине (ниже шеи), где обычно помещают какой-то груз — для переноски.

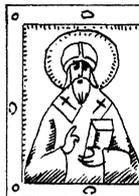
**ЗАКРОШКИ.** Посадить ребенка за спину так, чтобы он обхватил руками шею несущего, а тот поддерживал несомого под колени.

**ЗАКУРЖАВЕТЬ.** Очень густо заиндеветь (покрыться инеем) на морозе.

**ЗАМОЛАЖИВАЕТ.** Изменение погоды — к дождю или к снегопаду.

**ЗАМУХРЫШКА.** Невзрачный, некрасивый и «беспутный» человек; неряха.

**ЗАХРЕБЕТНИК.** Незванный гость, приходящий в неурочное время — после «пóмочи» (застолья по поводу окончания совместной работы) или праздника.



**ИЗВАДИТЬ.** Испортить; изнежить.

**ИЗВАРЛЫЖИТЬСЯ.** Искапризничаться; изленился, привыкнуть к безделью.

**ИЗГИБЕНЯ.** Человек (мужчина), напускной ловкостью желая привлечь внимание окружающих (женщин, девушек).

**ИЗГИЛЯТЬСЯ.** Изгибаться, принимая разные шутовские позы — чтобы вызвать к себе интерес «общества» (аудитории, толпы, застольной компании).

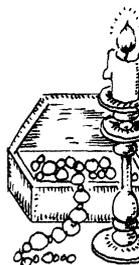
**КАШКАЛДА.** Орава мальчишек-малолеток.

**КОБЕНИТЬСЯ.** Грубое: возражать, спорить, не соглашаться (то же, что и «кочевряжиться»).

**КОКОРЯГА.** Старый древесный пень — с частью ствола и корней.

**КРЫСАТЬ.** Чесать, скрести, царапать.

**КУЛЁМКА.** Охалка, связка; толстенький, «округленький» человек; плотно, со всех сторон укутанный ребенок.



**ЛАДО́М.** Мирно, согласно; хорошо.

**ЛЁПАТЬ.** Делать что-то наспех.

**ЛУБНЯ.** Большая плетеная корзина без ручки (вариант лукошка).

**ЛЫЗЛА.** Высокий, нескладный человек.

**ЛЯСЫ.** Пустяки, вздор; «точить лясы» — болтать чепуху.

**МАНЕЖИТЬ.** Нежить (воспитывать в неге), холить; тянуть (растягивать) удовольствие.

**МАНТУЛИТЬ.** Тяжело, много и без отдыха работать.



**МАРАКАТЬСЯ.** Кривиться, гримасничать, морщиться — от чего-либо неприятного или невкусного.

**МЕЖЕУМОК.** Глупый, «придурковатый» человек.

**МУТУЗИТЬ.** Бить («колотить») кого-либо.

**НАБАРАБАТЬ.** Насобирать, набрать, натащить чего-либо.

**НАДЕКОВАТЬСЯ.** Набаловаться; поиздеваться над кем-то; помучить кого-либо.

**НАЗЮЛЬКАТЬСЯ.** Напиться допьяна.

**НАПРАСЛИНА.** Клевета; несуществующая вина.

**НАСОПЕТЬСЯ.** Грубое: наесться.

**НЕЗАГАТНЫЙ.** «Невидный», некрасивый, «неважный» (например — жених).

**НЕКОШНОЙ.** Леший, черт, «кереметь» («нечистая сила»); иногда — просто бранное слово (в переносном значении).

**НЕМТЫРЬ.** Немой или плохо говорящий человек, понять которого сложно.

**НЕЧУНАЙ.** «Бестолковый», непонятливый человек.

**ОБРЫСИТЬСЯ.** Рассердиться на кого-либо и гневно ему это высказать.

**ОБЫСТРОЖИТЬСЯ.** Осердиться; смотреть внимательно — широко раскрыв глаза.

**ОДВОРИЦА.** Крестьянский дом — с хозяйственными постройками и землей под ними.

**ОЗЕВАТЬ.** «Напустить порчу» — после осмотра кого-либо (детей, девушек, скота).

**ОПНИСЬ!** Остановись (успокойся, передохни)!

**ОТВЕРЮХАТЬ.** Отломить.

**ОТЕРЁБОК.** Пренебрежительно: неряшливый человек — с длинными волосами.

**ОТОПОК.** Старая изношенная обувь (чаще — лапоть).

**ОТРЕПЕНЯ.** Человек, облаченный в старую, изношенную одежду.

**ОТЧЕХВОСТИТЬ.** Отругать; дать отпор.

**ОХМИНАТЬ.** Есть что-либо.

**ПАКША.** Грубое: рука; кисть руки.

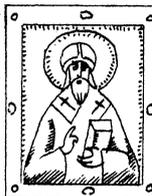
**ПОДВОЛОКА.** Чердак над жильем — под крышей.

**ПО́ЛИЦА.** Полка — в избе, клети, чулане.

**ПОТЁМА.** Нелюдимый, робкий, непонятливый, слабоумный, медлительный человек.

**ПРИМЫРКИВАТЬ.** Что-то потихоньку и ласково выпрашивать; ждать; выгадывать.

**ПРИУШИПИТЬСЯ.** Затаиться; притихнуть; обиженно замолчать.



**РАЗГУМАЖИТЬСЯ.** Проснуться полностью; прийти в себя (чаще — про детей).

**РАСКЛЕВИТЬ.** Расстроить, довести до слез ребенка.

**РАСХОРОХОРИТЬСЯ.** Рассердиться, раскричаться.

**РАСЧУХАТЬ.** Понять наконец; ощутить; распознать.

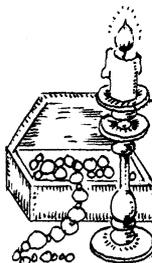
**РАСШОПЕРИТЬСЯ.** Широко расставить ноги или развести руки, загородив проход (вход, дорогу, дверь); раздвинуть края мешка (или какой-то другой емкости) — для удобства.

**РЕЛЬ.** Сухое возвышенное место — среди низины, болота или у реки.

**РЕМОНЬЕ.** Обрывки, лохмотья на одежде; собственно — драная одежда.

**СМУЗЫКАНИТЬ.** Подбить кого-то на что-то, повести (увести, увлечь) за собой.

**СТЕМЕРИТЬ.** Тайно и тихо задумывать и делать что-то свое; отсюда: «сидит — стемерит, молчит — да шишмарит».



**ТАКОВСКИЙ.** Соответствующий чему-либо; приличествующий своей участи.

**ТЕНЬКАТЬ.** Ударять обо что-то металлическое; говорить «пустое» (глупости).

**ТИЛИСКАТЬ.** Бежать очень быстро.

**ТОЛМИТЬ.** Твердить, повторять одно и то же; разъяснять и убеждать; учить, заучивать.

**ТОРКАТЬ.** Стучаться (в двери, ворота, окно).

**УМИНАТЬ.** Мять, умешивать (перемешивать), утапывать — до тягучести; есть — жадно, быстро и с аппетитом.

**УРОСИТЬ.** Упрямиться, капризничать, плакать (про детей).



**УРОЧЛИВЫЙ.** Подверженный «урокам» («лихому сглазу») и наговорам — тот, кого часто «сглаживают».

**УХАЙДАКАТЬ.** Потерять, промотать, извести какое-то свое добро (имущество, деньги); погубить (убить).

**ФАТЕРА.** Квартира, дом, жилище.

**ФЕФЁЛА.** Нерасторопный человек; «простофиля».

**ФУРИТЬ.** Мочиться (чаще — о детях).

**ХОЛОСТЁЖЬ.** Холостые (неженатые) парни (молодые люди, мужчины).

**ХОРОХОРИТЬСЯ.** «Петушиться» — задираться, храбриться нехстати.

**ХРУМКАТЬ.** Грызть что-то хрупкое, сухое, хрустящее.

**ХЫРКАТЬ.** Сморгаться (с трудом) — во время болезни; глухо кашлять.

**ЦАП-ЦАРАП.** Схватить и утащить.

**ЦЫМБАЛИТЬ (ЦИМБАЛИТЬ).** Насмеяться, глумиться, зубоскалить.

**ЦЫПУШКА.** Цыплёнок.

**ЧУВЫРЛА.** Грубое: неприятный, некрасивый, хамоватый человек (чаще — о женщинах).

**ЧЕПЫЖНИК.** Чаша из мелкой поросли, сквозь которую трудно пробраться.

**ЧЕРЕПЕНЬЯ.** Обломки глиняного горшка (корчаги), из которых поили домашних животных — собак и кошек.

**ЧИКНУТЬ.** Слегка ударить — ладонью; дать легкий шелчок.

**ЧУЧКАТЬ.** Пачкать, грязнить; месить.

**ШАБАРГАТЬ.** Шуршать, шелестеть; бормотать — что-то неприятное для других (окружающих).

**ШАБАРКНУТЬ.** Сильно стукнуть.

**ШВАРКНУТЬ.** Бросить, кинуть, швырнуть.

**ШЕБЕНЬКАТЬ.** Разговаривать; сплетничать, пускать молву.

**ШЕБУТНОЙ.** Шумный, энергичный, слишком предприимчивый человек; склонный к ссорам (склочник).

**ШИБЗИК.** Пренебрежительное: малорослый, хилый человек (чаще — подросток).

**ШИШЛЯТЬ.** Делать что-то втихомолку, неспешно, кропотливо («мэшкотно»).

**ШИШМАРИТЬ.** Затевать какое-то свое дело — тайное и порой враждебное для других.

**ШОВЫРЯТЬ.** Ковырять, разгребать; бросать.

**ШОРКАТЬ.** Тереть; чистить (отчищать).

**ЩУВАТЬ.** Унимать, уговаривать, увещевать, усовещивать.

**ЭТТА.** Тогда, в ту пору, как-то.

**ЮШКА.** Лицо; кровь.

**ЯРУШНИК.** Хлеб из ячменной (или овсяной) муки.



## Глава 6

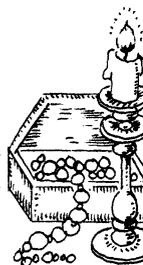
### Народная сказка как «кривое зеркало» русской жизни

Сказка — это действительно «связка». Потому-то непрерывный сказочный «контент» в древности глубоко магичен, а вместе с тем тесно связан с реальными процессами и движениями всего окружающего жизненного окоема.

Рассказчик либо создает новый («свой») мир, либо огораживает себя в сущем — от разных бед и напастей плетением образов и слов. Последние при этом так «цепляются» друг за друга, что их не расчленишь, не разорвать... Вспомним известную всем нам, пожалуй, с первых дней сознательного бытия «Сказку о репке»: «Бабка — за дедку, внучка — за бабку, Жучка — за внучку...»

Или вот этот зачин (не менее знакомый): «Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба...»

Как верно заметил писатель и литературовед Андрей Синявский: «Слова в сказке перекачиваются, как жемчуг или как мозжечок в прозрачном теле красавицы — из косточки в косточку. А проще говоря, сказка вяжется с начала и до



конца — как чулок...» («Иван-дурак. Очерк русской народной веры»).

Без сказок старокрестьянский быт просто немислим. В каждом приходе, околотке, селе, волости имелись свои знатоки сказочных историй (по основному роду занятий, обычно: плотники, пимокаты, портные, сплавщики леса, — словом, «бывалые» мужики). Помнили они всех этих «бывалей и небылиц» в превеликом множестве и могли «сказывать» их подолгу. Хотя и не в «обычную» пору: для такого «представления» необходим был какой-то серьезный повод: праздник, свадьба или нечто другое — очень значимое для семьи, которая и приглашала к себе «сказочника», дабы «по-тешить» гостей.

А кроме «мастеров-сказителей» имелись в каждой деревне и «любители-рассказчики» («боббель-старичок» или «вдова-старушка»), в избу к которым долгими зимними вечерами шли гуртом местные мальчишки и девчонки и, словно завороженные, слушали в неверном свете лучины таинственные и леденящие душу сказки — о богатырях и драконах, удачливых дураках и глупых царях... Мир за околицей наполнялся чудесами, и дети учились эти чудеса видеть: постигать жизнь не «холодным зраком», но «очами сердечными»!..

Волшебные сказки излагались не привычно-разговорным тоном, а в отрешенной речевой манере — далекой от обыденной жизни: медленно, размеренно, гипнотически ритмично и певуче. Все это и притягивало, и захватывало внимание, и в самом деле — завораживало... Да и в семьях родители (чаще — матери) нередко «баловали» детей сказками — как правило, по вечерам, в особо отведенное время (обычно — «на сон грядущий»).

Вятчанка Н. В. Метелёва так, в частности, вспоминала 1910–1920-е годы: «Сказочники и сказочницы были во всех деревнях. К ним в дом собирались вечером взрослые с ребятами. Чего только там не рассказывалось! И дома мать прядет, так сидишь около нее вечерами и слушаешь сказки...»

Что ж, действительно: без «чудесных историй» тягостно скучна в деревне зима — с ее бесконечными метелями, то-

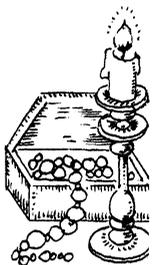
скливым ворчанием ветра в печной трубе, голодно-зловещим волчьим воем где-то рядом — «в чистом поле».

«Помню, зимой забирались на печь и рассказывали сказки. Обязательно — про царя, царицу, царевича и Ивана-дурачка, чтобы он был умнее царевича, чтоб обязательно совершил подвиг и женился на царевне. Просмеялись богачи и восхвалялась беднота в этих сказках...» (А. А. Кожевников, крестьянин).

Сказка огораживала от ночных страхов, укрывала от непогоды. Она органично переплеталась с особенностями жизни и быта конкретного поселения: потому — брала «за живое», потому же и любили ее многие всей душой.

Сказители нередко импровизировали: могли одну и ту же историю изложить в нескольких вариантах. «У нас в деревне был дедушка Миша, старенький такой, с бородой седой. К нему все собирались. Он столько сказок знал, и каждый день — все вроде про новое. Вот запомнилась сказка про сизое перышко. Как девушка друга милого ждала. Он в виде птицы должен был прилететь. А мачеха узнала про это, в окно стеколья понатыкала. Он и порезался. Плакала девушка над птицей (своим милым), а как упала слеза ее горячая птице на сердце — переметнулась птица и в друга милого превратилась. Я очень люблю эту сказку...» (Н. Ф. Стремюсова, крестьянка).

Народная сказка — это своеобразный код, который каждый ее слушатель расшифровывал по-своему. Вот об этом-то умении русского человека прошлых столетий верить в чудесное, его способности безоглядно увлечься «неведомым», а затем устремиться к нему — за кем угодно и куда угодно — замечательно высказался философ Евгений Николаевич Трубецкой: «Есть две черты, которые в ней (русской сказке. — В. Б.) поражают: с одной стороны — глубина мистического проникновения в жизнь, головокружительная высота полета, с коей открываются сказочные красоты вселенной, с другой стороны — *женственный характер* (здесь и далее выделено автором. — В. Б.) этих волшебных грез. В русской сказке мы имеем яркий образец *мистики пассивных переживаний* человеческой души» («Иное царство и его искатели в русской народной сказке»).



То есть народная сказка — это мост, и не в прошлое, а ввысь — в неизмеримые дали и глубины Вселенной.

Это и зеркало в мир души русского человека. Хотя зеркало-то — кривое. Да, собственно говоря, любое настоящее художественное (но — не натуралистическое) произведение искусства — тоже «кривое зеркало». И слава Богу, что оно есть. Ведь «прямым» зеркалам не дано главного — они не способны сотворить чудо.



## Глава 1

### Новая теократия

**Н**овая власть в 1917 году умело использовала многие традиции, умунастроения, верования дореволюционной России.

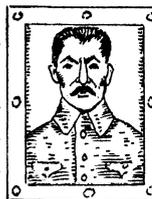
С октября 1917 года в России создавалось теократическое государство, основанное на слепой вере, тотальном насилии и беспрекословном послушании миллионов своих подданных. Новой официальной религией, активно внедряемой сверхмощной советской пропагандистской машиной, стала вера в социализм.

Пропаганда пыталась (и довольно успешно) охватить всех граждан своей державы, начиная с детских яслей и кончая глубокими старухами, насильно загоняемыми в ликбезы. Сверхмощный репрессивный аппарат НКВД уничтожал не только соперников новой религии (русскую православную церковь, католические, лютеранские храмы, мусульманские мечети, иудейские синагоги), но и еретиков марксизма, от-

клоняющихся хотя бы на волос, хотя бы на одну букву от Учения, официальными пророками которого были признаны Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Процедура их канонизации в России представляет большой интерес. Еретики были, в определенном смысле слова, гораздо опаснее открытых конкурентов и преследовались зачастую более ожесточенно и свирепо. То, что Лев Троцкий с 1930-х годов считался здесь ищадием ада и представителем сил зла на Земле — очень показательно. Жесточайше преследовалось малейшее сомнение в истинности новых канонов и даже недостаточно активное их воспевание. Культ новой власти пестовался любовно, целенаправленно и длительный период. Священной стала сама система советской власти с очень детально и подробно регламентированной иерархией чиновников. В зависимости от места на этой иерархической лестнице человек получал ту или иную долю святости и поклонения масс. Единственным живым пророком и помазанным от прежних пророков был Сталин, ореол святости которого был стопроцентным. Любое слово этого вождя было истиной в последней инстанции. Все остальные вожди — союзного, областного, районного или сельского масштаба — были вождями лишь постольку и настолько, покуда этого желал верховный вождь, из рук которого они и получили власть, пусть порой опосредованную. Впрочем, об этом мы поговорим отдельно в главе о Сталине. А советской власти, чтобы утвердить в огромной державе новую веру, начиная с 1917 года предстояло проделать огромную работу. Ведь русское крестьянство было не просто сословием религиозным, религия была неотъемлемой частью быта и повседневного обихода крестьянина, глубоко укоренилась в его сознании и была до того привычна в его жизни, что просто не осознавалась как нечто отдельное от нее.

Как вырвать этот кусок из жизни крестьянина? Над этим вопросом бились лучшие марксистские умы России начиная с 1900-х годов. Программа религиозного социализма, богосискательства и богостроительства, разработанная русскими социал-демократами еще до революции и жестоко раскрытированная Лениным, в 1920-е годы начала активно претворяться в жизнь. Но чтобы водрузить своего кумира, боль-

шевикам вначале потребовалось свергнуть своего соперника по влиянию на души людей и уничтожить его земные дома — церкви и храмы, а также духовных пастырей, религиозную литературу, полностью подчинить себе подрастающие поколения, изолировав их от влияния семьи и старых традиций. Рассказов об этом очень много. А. В. Власов (1927)\* вспоминает: «Религию тогда душили. Когда я ходил в третий класс, ломали, громили церкви по всей округе. Мы, ребята, смотрели на церкви, как на что-то ненужное, отжившее, мы многого еще не понимали. Взрослые помалкивали. Много было перегибов. Перед войной их (церквей) разрушили больше, чем фашисты во время войны. Духовенство было в изгнании, на них смотрели как на врагов народа».



Как всегда бывает в борьбе двух вероучений — то, которое обладало машиной государственной власти, жестоко и оскорбительно подавляло другое. Власти действовали через преданную и всецело зависимую молодежь, объединенную в кружки союза воинствующих безбожников. Обратите внимание на слово «воинствующих» в названии союза — в соответствии с таким пониманием методов работы они и действовали.

Чрезвычайная грубость, малограмотность, отсутствие каких-либо зачатков культуры, примитивность сознания этих людей и умело используемый властями стандартный коллективизм позволяли вести огромную антицерковную (а не антирелигиозную вообще) кампанию повсеместно — от Бреста до Камчатки.

И. А. Морозов (1922), активист той поры, с чувством неловкости рассказывает: «С начавшейся дискриминацией церковью были организованы кружки безбожников. Деятельность этих кружков, руководимых старшими, была бездарна, оскорбительна для верующих и не встречала с их стороны понимания, сочувствия, снисходительности. Кружковцы читали антирелигиозные стихи, пели песни такого же содержания, разыгрывали сценки, выставяющие священни-

---

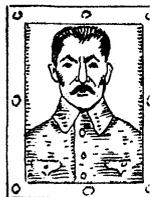
\* Раздел III целиком основан на крестьянских рассказах, записанных во второй половине 1980-х годов; после фамилии рассказчика, как правило, указан год его рождения.

ков в оскорбительном виде. Старшие пытались увещевать воинствующих атеистов, в сердцах называли идолами, антихристами, грозили божьими карами. Бывали случаи, когда верующие просто уходили от богохульников, и таким образом мероприятие считалось провалившимся. Об участии в кружке дома говорить не следовало: это не могло вызвать радости, поощрения, но и отказаться от участия в антирелигиозной пропаганде тоже было нельзя: быть белой вороной всегда плохо».

Религиозные обряды пытались заменить новыми — советскими («красными»), перевернуть их в духе верности новой идеологии. Вместо прежней свадьбы — комсомольская свадьба, вместо похорон — красные похороны. А. М. Червяков (1910) описывает одну такую попытку: «Члены союза безбожников в нашем селе были. Они там говорили, что Бога нет, вступайте в комсомол. Мы-то что, молодежь, рады были пойти за всем новым. Отцы, правда, ругали нас за это, иногда даже ремнем “перепало”. Запомнился случай “красных похорон”. Жил у нас мужик, был он верующий, ходил в церковь, молился Богу. Потом большевики-безбожники проводить стали свою пропаганду, и он перестал верить в Бога. Перед тем как умереть, он наказал сыновьям, чтобы его хоронили “по-новому”, без попа. По такому случаю из района приехал оркестр. Когда покойного выносили из дому, заиграла музыка. Сестры-старухи просили не делать этого, а то душу его не пустят “до царства небесного”, ведь мимо храма Божьего понесут. С песнями и барабаном. Когда покойник был погребен, то все стали расходиться. Многие, особенно старики, были недовольны таким обрядом, говорили: “Нельзя так. Не по-божески это”. Потом еще говорили, что покойник после этого стал появляться в доме. Сказывали, что после этого покойника перекапывали и положили лицом вниз, и только после этого он перестал появляться».

Но все-таки главным объектом борьбы для местных властей и активистов в 1920–1930-е годы оставалась местная церковь. Разрушительная деятельность вполне удавалась «воинствующим безбожникам». Закрытие церквей, уничтожение церковной утвари, расхищение ценностей, низ-

вержение колоколов стали в анналах истории каждого села впечатляющей и надолго запомнившейся страницей. Сопровождалось все это (как водится у нас на Руси) бездной ненужных и непонятных здравому смыслу, совершенно абсурдных действий. Во многих местах закрытие и разрушение местных церквей было связано с коллективизацией. Вот как описывает такого рода событие в родном селе И. А. Морозов: «Верхошижемская церковь прекратила свое существование в 1932 году. Еще до разрушения она подвергалась ограблению. Предвидя неизбежное изъятие церковных ценностей, мужчины-прихожане договорились прийти утром, унести наиболее ценные предметы богослужения, припрятать их, дожидаясь лучших дней. Но церковный староста Морозов Петр Семенович, зная об этой акции, ночью выкрал золотые подсвечники, дорогие иконы и другие ценные вещи и спрятал с корыстной целью».



Утром собравшиеся миряне предстали перед оскверненным алтарем. Впоследствии тайное стало явным, но по какой-то причине уголовного преследования не было, а мирской суд не всегда страшен для людей, освобожденных от совести.

Большой любовью прихожан пользовался отец Иван. Это был истово верующий человек высокой нравственности, сующий только добро. Человек высокой культуры и грамотности, он на своих землях выращивал богатые урожаи, притом собирал их без найма: учил прихожан ухаживать за пчелами (у него была пасека около 40 семей), был исключительно отзывчив. Под стать ему была и матушка.

После того как ценности из церкви были похищены, отца Ивана арестовали, сведений о его дальнейшей судьбе у меня нет, а семью выслали неизвестно куда. После этого и началась позорная вакханалия разрушения церкви. Эта печальная страница в жизни Верхошижемья, правда, оснащенная с нынешней точки зрения и элементами комизма. Первое, что решили местные атеисты, необходимо было сбросить колокола. С малым и маленькими управились быстро, дело стало за большим колоколом, обладавшим чудесным звоном, по которому его узнавали, определяли, какой церкви благовест. Наиболее активным в этом деле оказался житель Вер-

хошижемья Илья Андреевич Охлопков, по уличной карточке Морковкин, или Илья Морковка. Он вызвался взорвать верх колокольни и войти таким образом в анналы местной истории. При первой попытке консервная банка, набитая черным охотничьим порохом, удачи не принесла. Но было очень много ожидания, дыма, огня, грома. На Илюху смотрели уважительно. Вторая атака выглядела более солидно: Илья принес обрезок трубы и заявил, что перед этим взрывным устройством кладка уж точно не устоит. Длинный фитиль, опущенный до пола, горел, казалось, очень долго. Взрыв был очень мощным, колокольня даже окуталась красной кирпичной пылью, но колокол висел нерушимо. Потом прибегли к примитивному устройству: подвесили к простенку двухпудовую гирию, к ней привязали толстую веревку и, дергая за нее, отбивали кусочки кладки. С двух сторон окна выбили ниши для юбки колокола, и, наконец, он был низвергнут. Расколотый на несколько крупных частей, сверкающий серебристыми изломами, он был раздроблен на мелкие части, и я не знаю, куда и кем они были определены. Пиротехник же Илья, продолжая свою разрушительную деятельность, сорвался с трехметровой высоты на каменные плиты пола церкви и то ли в результате падения, то ли по какой другой причине у него на теле появились три опухоли, которые верхошижемцы называют килами. Они были расположены с боков и сзади. Килы, по-видимому, не причиняли Илье боли или неудобства, прожил он с ними еще лет тридцать и, похоже, даже гордился тем, что нажил их при свершении столь нестандартного подвига. В общественной бане он, польщенный вниманием, охотно рассказывал об их происхождении и даже позволял желающим потрогать. Люди же, близкие к Богу говорили, что килы — это Божье наказание».

Не везде закрытия церковей проходили спокойно или с женским плачем. Во многих местах местные жители пытались оказать властям сопротивление. Такого рода попытки жестоко подавлялись. А. Т. Симушина (1915) рассказывает: «В тридцатых годах повсеместно закрывали церкви. Не минуло это и церковь села Поджерково. Вместе с закрытием церкви изымалось все ценное, что там имелось. В Поджер-

ково приехали милиционеры, чтобы забрать ценные иконы, позолоченные, а также церковную серебряную утварь. Узнав об этом, к церкви собралась большая толпа, которая пыталась помешать милиции увезти ценности. В суматохе, а попросту в жестокой драке был убит милиционер. Начались повальные задержания местных крестьян».

Активное сопротивление было обречено на неудачу. Пассивное сопротивление — скорбь, оплакивание гибнувшей веры, тайное хранение икон и тайные молитвы — держались долго в крестьянской среде. Т. Р. Селезнева (1925) хорошо помнит эту атмосферу: «Когда коммунисты начали громить церкви, началась третья великая скорбь народа. В благочестивые семьи заходили монашки и вместе горько горевали на гонение священнослужителей. Передохнув, покрестившись, они куда-то уходили, а мы, оставшись дома, горевали, переживали за них. Они нам пели и рассказывали чудные молитвы, которые запали в наши детские души, хотя потом, когда мы росли, не было действующих церквей, а в душе я всегда верила, что есть Бог! Хотя ни одной молитвы не знала. Как христиане, крестьяне в ужасе и страхе тихонько рассказывали: “Посмотрите-ка, посмотрите-ка, что делают коммунисты. С той-то, той-то церкви сбросили колокола, все разграбили, священнослужителей разогнали по острогам. Антихристы, антихристы пришли — все рушат, хороших людей убивают, сажают в острог. Бога-то, видно, не боятся, но придет на них суд Божий!” Вот так было. Мои родители были верующими. Они были простые крестьяне».

Нельзя преуменьшать, но и не следует преувеличивать религиозность русского крестьянства. Отчаявшаяся беднота, одержимая одной мыслью — досыта поесть, была часто совершенно равнодушна (а порой и враждебна) ко всем отвлеченным, абстрактным вопросам духовной жизни, завидовала более обеспеченным священнослужителям. Е. Г. Теренкова (1918) простосердечно признается: «А насчет церкви, так я в церковь не ходила. Не до нее было. Да я уже с детства в Бога не верила. С гражданской войны церковь у нас не работала частенько. Да и что мы от церкви хорошего видели. Я попов не люблю. Хотя маленькая была, а помню, попы в голодное время по деревням ездили, собирали у кого яйца, у кого мо-



локо, у кого хлеб, у кого крупу. Пузо, как говорят, наедали, обжирались, а мы голодовали».

Н. С. Путышев (1913) на примере родного села говорит о следующем раскладе сил при закрытии церкви: «Если говорить о сходках, то в 20-е годы их не было, они появились только в 30-е годы. Одна мне запомнилась на всю жизнь. Речь шла о закрытии церкви. Собрался народ, а народ был очень сильно верующий в те времена. Все стояли без головного убора и внимательно слушали выступающих. Они выступали против религии, о том, что Бога нет. Церкви стали разрушать, сбрасывали кресты, а колокола переплавляли на пушки. Старые люди все равно верили в Бога, 80 процентов из них были против закрытия церкви, а 20 процентов — шли против религии. Бедные люди были особенно против религии, так как что беднякам — есть Бог или нет, все равно он с неба не сойдет и досыта не накормит».

Все 1930—1960-е годы шла активная борьба не столько с верой, сколько с верующими. Лишь в период Великой Отечественной войны власть сделала некоторое послабление народу — открылось небольшое количество закрытых церквей, и верующих не так рьяно преследовали. «В годы войны все верующие в Бога втайне молились, как могли, за своих сыновей, мужей, за их скорое возвращение, победу! В годы войны уже никто не преследовал верующих. Иногда просачивались слухи, когда немец уже подошел к Москве, что Сталин уже сам стал призывать к вере народ, будто открыл несколько церквей, и усиленно стали молить Бога о помощи...» (Т. Р. Селезнева).

«Во время войны некоторые церкви были открыты, появились освобожденные из мест заключения священники. Верующие потянулись искать защиты от неволи: одни справляли молебен по убиенным на войне, другие молились о здравии живущих. Это был короткий период оживления церковной деятельности. По-прежнему запрещалось содержание икон в домах, членам партии и комсомольцам не разрешалось крестить детей, справлять венчание, отпевать усопших. В 1954 году мои бабушки окрестили внушек — моих детей: разумеется, без моего ведома и согласия. По предложению райкома партии за утрату бдительности

и отправление религиозных обрядов на профсоюзном собрании мне был объявлен строгий выговор с предупреждением» (И. А. Морозов).

Трагичной оказалась судьба целого сословия русского общества — российского духовенства. По существу, оно было уничтожена физически — истреблено и вычеркнуто из новой жизни. Тяжкой была судьба детей репрессированных церковнослужителей. Черная отметка в графе «Происхождение» — «Из семьи служителей культа» закрывала им дорогу к образованию, любой должности на государственной службе. Миллионы людей внезапно оказались вне закона. Н. В. Попова (1925): «В 1929 году нас выгнали из собственного дома, в нашем доме поселились коммунары, так как в селе Круглыжи была организована коммуна. Люди из небольших деревень вступили в коммуны и переехали в село, где им дали квартиры в нашем доме и других домах, из которых выгнали людей. У меня отец был дьяконом, работал в Круглыжской церкви, поэтому его арестовали, а нас гнали, преследовали, унижали. Отец умер в психбольнице потом. На частные квартиры крестьяне нас пускать боялись, так как мы были преследуемы советским законом. Страшно без жилья семье с детьми».

Детям пришлось, конечно, всех тяжелее. Они официально преследовались даже на уровне школы. К. В. Власова (1928): «Дом, в котором мы жили, стоял напротив церкви. Церковь была большая, красивая, богатая. Хорошо запомнила, как громили церковь в 1937 году. Сбрасывали колокола, дробили их, увозили по кусочкам. Народ ревел, женщины голосили. Сынишка у попа учился со мной в одном классе. Однажды всех учеников школы выстроили в круг и при всей школе публично с него содрали галстук пионерский, просто так, за то, что он был сыном попа. Мальчишка ревел, очень переживал. Остальные ребята тоже плакали, жалели его, но никто ничего не мог поделать, помочь мы ничем не могли».

Семья вообще оказалась под сильнейшим прессом новой власти. Верность советским идеям, преданность коммунистическому государству считались более важным делом, чем родственно-семейные связи. Характерен такой эпизод из рассказа А. С. Макаровой (1910): «Когда начали закры-



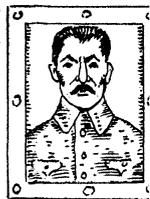
тие церквей, нас приневолили члены союза безбожников, чтобы мы расписались за закрытие церквей. Священников арестовали и увели. У нас было два священника, и обоих увели неизвестно куда, не знаем, куда их дели, где они были. Члены союза безбожников вели агитацию против Бога, они говорили, что нет Бога, не верьте в Бога, что нет ничего небесного, нет загробной жизни. У нас в деревне была женщина Аполлинурия Михайловна. Она пришла к нам, чтобы мы расписались за закрытие церкви. Я отказалась расписываться. Тогда она моему мужу сказала: “Приневожь ее, чтобы она расписалась”. Он ей ответил, что не может заставить жену. Сам не подписался и мне ничего не сказал. Она ему говорит: “Так разведись с ней. У нее большой грамоты нет. Брось ее!” А у меня уж тогда детей было трое. Вот как приневоливали».

Вера в коммунистические идеи, в новых идолов и вождей, торжество мировой революции существенно отличалась от религии еще и тем, что не давала утешения, успокоения измученной человеческой душе. В годы войны это было еще заметней. «“За время войны верующих стало меньше”, — это правительственное сообщение. Я уверен, что это не так. Напротив, верующих стало больше, так как гибель отцов и сыновей, горе и отчаяние — все это вело людей в церковь, где они утешали свою боль по погибшим. Это было для них единственным святилищем, где они чувствовали себя в безопасности, все горести и обиды при входе в храм оставались за порогом. Домой люди шли уже умиротворенные» (А. Я. Распопов, 1907).

Впрочем, в эпоху тотальной подозрительности, слежки за всеми и свирепого подавления инакомыслия люди (особенно служащие в городе) должны были контролировать каждое свое слово. Даже безобидные выражения с упоминанием Бога могли стать роковыми для человека. «В годы войны в Бога не верили. Все были очень подозрительные. Даже поговорки редко встречались с упоминанием Бога. Такие, например: “Господь с тобой, Ради Христа”. Если начальник бы услышал, сразу бы взял на заметку» (И. П. Улитин, 1919).

Судя по всему, определенная часть крестьянства слепо верила новой власти. «Какая власть, такая и масть», — говорится в народной поговорке. Привычка повиноваться не рассуждая, доверчивость, запуганность людей, апокалиптические настроения, обожествление любой высшей власти — об этом много говорится и в рассказах крестьян. Ф. Т. Терюхов (1916): «Слухи бывали всякие, так, в селе Сезенево была казенка, где продавали вино на разлив — кто сколько хочет. Там говорили: кто найдет на бумаге в пробке портрет Ленина, тот будет получать два-три литра водки бесплатно. Много толковали о том, что по тракту пойдут стальные машины, полетят стальные птицы, что наставят кругом столбы и обмотают все проволокой... Людей постоянно преследовало чувство тревоги, беды, предчувствие худшего. Наши деды, бабушки и родители ходили в церковь, молодежь не заставляли. Родители крестились перед обедом, читали молитву вечером и перед началом какого-то дела, но детей не приучали, не принуждали. Когда церковь в Сезенево прикрыли, тогда особенно спал интерес к религии. Родители наши верили власти, не думали, что религия — народная ценность, народная культура и не выступали против разрушения церкви. Церковь пытались разрушить, увозили иконы, утварь, но люди считали, что так и должно быть».

Целиком преданы идеям нового режима были дети. Через них можно было узнать практически все, что делалось в семьях, соседних домах. Взрослые по старой привычке еще не всегда остерегались своих детей. А между тем эти добровольные чистосердечные «шпионы» знали все. Поэтому уход религиозных общин в подполье, в сферу нелегальной деятельности был практически невозможным. Количество верующих людей, исполнявших хотя бы на дому религиозные обряды, сильно сократилось в 1930-е годы. В. Н. Кислицына (1918): «В 1931 году начали ломать церкви. Поэтому в 1933—1934 годах церкви были разбиты, не работали. Но богомольные собирались в домах, хоть религия была запрещена. Крестить детей не разрешали. Если крестили, то родителей выгоняли с работы. Верующих было немного, ведь молиться было некуда ходить. Старушки собирались по вечерам и пряли, пели церковные песни. Помню, была одна



монашка. Она читала молитвенники. К ней приходили верующие. Она им истории молитвы рассказывала, читала молитвенники. Они скрывались, а ребяташки бегали за ними и подглядывали, и подслушивали».

Перестроить мировоззрение людей в России, строй их мыслей путем механического уничтожения прежнего идейного комплекса религиозных, монархических верований — эта задача решалась советской властью очень грубыми, насильственными методами. Но любопытно то, что, во-первых, полностью решить ее так и не удалось (растоптанная и униженная церковь, совершенно лояльная режиму, продолжала свое существование), а во-вторых, формы прежних крестьянских воззрений — наивный монархизм и фатализм, слепая покорность судьбе, религиозная преданность властям — все это было всемерно использовано государством в своих целях. В прежние формы влили новое содержание. И это отлично сработало. Запуганные, униженные и ограбленные в ходе коллективизации, люди потеряли почву под ногами. В таких условиях навязать им новый комплекс верований было значительно легче.

---

## Глава 2

### Сплошная коллективизация

Революция и гражданская война смели, перемешали в кучу многие социальные слои, группы населения. Отдельный человек, не понимая хода событий, ощущал часто просто смертельный страх и ужас перед лавиной изменений. Водоворот событий нес его, ничего не понимающего и беззащитного, новым страшным путем — путем революций и войн. Фаина Кузьминична Кошкина (1906) рассказывает: «Революцию помню. Шла война, а за что война — не знали. У нас была маленькая деревня, заброшенная. Мы ничего не знали. Плохое время было. Я жила без родителей. Нас было четверо детей. Я в школе не училась, с трех лет без родителей у чужих людей. У них было все свое. Этим людям не нужна была моя грамота. В общем, что в стране делается — мне недоступно было. В воскресенье никогда не гуля-

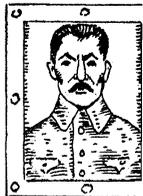
ла, потому что скот нужно было пасти, заставляли работать. Я была как раб. В школу не ходила. Пошла в ликбез, когда уже вышла замуж».

Волна страха, хлынувшая на крестьян с войной и революцией, осталась в их жизни навсегда. Наступило «плохое время», когда человек ежедневно стал ждать изменений к худшему. А. С. Бышигин (1912): «Если взять, как мы чувствовали себя до революции — в смысле спокойно или беззащитно, то я не помню. А уж после революции мы постоянно боялись: вот придут уполномоченные, дадут задание. Особенно часто они приходили, когда обрабатывали лен. Дадут такой налог, что приходилось аж с прялки лен снимать. На хлеб давали налоги большие».

Страх прочно укоренился в новом стиле жизни — все до-революционные ценностные ориентиры крестьян внезапно оказались сломаны. Большая крестьянская семья рушилась в эти годы. Ломалось уважительное отношение к хорошему труду, честно заработанному достатку. Н. А. Зубкова (1910) горюет: «Родители всегда гордились своим происхождением, своим достатком. Бедные считались лодырями: пить надо было меньше, а работать больше. К богатым относились с почтением. Но не столь волновало богатство, сколь относились с уважением и к умению работать. Семья наша была большая — четыре брата. Мать с отцом и я. Жили очень дружно. Но во время гражданской войны два брата воевали за белых, а два за красных. Двое из них пропали без вести. После раскулачивания я работала по найму, вязала ша-ли, варежки, носки, а вскоре убежала в город».

Когда в начале 1920-х годов советская власть упрочилась, русский крестьянин, кряхтя, стал приспособливаться к ней. Появилось уважение, смешанное со страхом. А. А. Феофилактова (1915): «Раньше старики, когда начиналась советская власть, Ленина не уважали и песни все про него пели хулиганские. Сначала все советскую власть не любили:

При Миколке, при царе,  
Ели булки в молоке.  
А советская-то власть  
До соломки добралась.



Эти песни пели тайком — кто выслушает, так живо сцапают. Я была ребенком, так плохо помню, но рассказывали, что собирали в селе Верхосунье митинг. Коммунист вышел на трибуну, а старики набрали камней и стали бросать в него. Их сразу стали ловить. Одного поймали, его Миколой звали, яму вырыли и его тут же закопали. Повострей кто был — так убежали. Это вот в двадцатых годах было. Потом в деревнях, как колхозы стали, так взрослых в школах стали учить. Учитель там был Коля Илюнькин. Баб неграмотных вечером выгоняли учиться, а им пряссть надо. Три дня не сходишь — давали принудиловку.

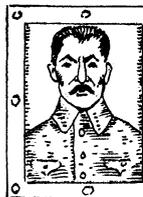
Принудиловку-то, девушки,  
Нетрудно заслужить:  
Не ходи три дня учиться —  
И пойдешь дрова пилить.

Когда Ленин умер, в деревне никто не плакал. Про Сталина меньше говорили плохо — к советской власти попривыкли уже».

Недоедание на протяжении многих лет, страшный голод начала 1920-х годов, постоянное балансирование на грани жизни и смерти лишили возможности сопротивления миллионы крестьян. Чудовищной была в эти годы детская смертность. М. В. Кайсина (1913) рассказывает: «Когда неурожай были, тоже горе большое. Приходилось по деревням ходить собирать, жить-то как-то надо. Когда гражданская война шла, так по домам ходили, хлеб забирали. Все-все забирали. Кто смог спрятать, так спрятал. У кого мешок, у кого полмешка осталось. Мама с бабушкой к речке мешок с зерном увезли, закопали. Кто-то видел и показал, так и это зерно забрали. А бабушка у меня боевая была, никого не боялась. Ох, она и ругалась с теми, кто хлеб забирал. Когда у нас дома были и весь хлеб забрали, так военный на нее ружье выставил, а она идет на него и нас с Катей вперед толкает и кричит: “Забирайте все и их тоже забирайте. Чем я детей кормить буду?” А мы ревом всюю. Ох, голод был сильный!»

Во многих случаях от большой семьи оставалось два-три человека — да и эти выживали случайно, чудом. К. И. Енина

(1906) из Самарской губернии вспоминает о страшном голоде в Поволжье: «В 1917 году началась революция, гражданская война. В 1918 году 2 августа сожгли наше село, почти дотла. Наша улица была главной, ее всю сожгли, осталось на окраинах домов с полсотни уцелевших. Отец умер в 1919 году от тифа и одна сестра 20 лет, потом — неурожай. Страшный голод, люди умирали от голода, как мухи. Это уже в 1921 году. Даже некоторые ели мертвых. Хоронить людей было некому, люди были голодные, бессильные, тела лежали в казенные амбары (были два больших амбара на краю села, они были полны телами). Хоронили уже в начале апреля. Пригоняли солдат. Мы уцелели ради нашего брата — он служил сверхсрочно в городе Самаре (это от нашего села 150 километров). Все старшие сестры были замужние, а брат с семьей жил в городе Самара. Он был хозяйственником, привез нам на санках мешок ржаной муки и несколько буханок солдатского хлеба. Нас, самых младших, жило с матерью четверо. Мне было полных 15 лет, а самой младшей — 7 лет. Брат двоих из нас увез к себе, скота уже никакого не было, осенью закололи последнюю корову и за зиму ее съели. Мать докормилась этой мукой с добавкой мякины и травы, а весной пошла свежая трава, и в саду появились яблоки. Мать и брат уже посеяли пшеницы и проса. Так и дожили до нового урожая все».



Голод и смерть потрясли души людей до основания — озлобили и сломали многих. А. Н. Меледичева (1910), хлебнувшая досыта горькой сиротской доли, вспоминает ту пору: «А зима пришла лютая. Ходить не в чем, кушать тоже нечего. На всех одни валенки были. Один гуляет, остальные в окошко глядят на него, охота же. Но голодно было — ужас. Для нас еще терпимо, а деревенские-то: не очень они привыкли. А ведь у них еще излишки изымали. Какие уж тут излишки? Старший, Михаил совсем похудел, ничего есть не мог. Я помню — лежит он под одеялом, одни глаза видать. Голубые-голубые. Да и волосом он в отца пошел. Любил его тот страшно. Целыми днями у постели просиживал. Через три недели Михаил умер, как свечка погас. На отце лица не было. Почернел весь. Тетя Настя тоже слез много пролила — первенец ведь. Ну вот, а через две недели Настенька трехлет-

ня слегла. Умерла она непонятно как-то, быстро. Шестеро нас осталось. Притихли все, не бегали. А по весне, ледоход на реке уже был, Митя Богу душу отдал. Господи, напасть словно какая! Трое своих да двое чужих у тети Насти с мужем осталось. Дядя Степан неразговорчивый стал, запил. А тетя Настя не любить нас стала, видно, нас винила в смерти ее детей. То не так сядем, то не так ответим. Как мачеха злая. А ведь она добрая очень раньше была».

Все это привело к тому, что к концу 1920-х годов крестьянство оказалось не способно к массовому отпору режиму, решившему уничтожить основы крестьянской жизни. Сопrotивление было невозможно и по другой причине. На крестьянина обрушилась колоссальная машина государственной власти. Ничего подобного не было в истории. Рассказы о коллективизации многолики — мы услышим здесь голоса и тех, кого раскулачивали, и тех, кто раскулачивал, агитаторов-активистов, ссыльных, тех, у кого описывали имущество, и тех, кто описывал. Мне кажется, что величайшая трагедия народной жизни той поры еще и в этом: все, что делалось против народа, делалось руками народа.

Какое-то напряжение, ожидание перемены ощущались отчетливо еще в глухих пророчествах 1910—1920-х годов. Нередки рассказы, подобные этому: «Шел 1916 год. Мне, значит, было двенадцать. Жить мне стало плохо, сноха смотрела на меня как на лишнего едока. Как-то пришли к нам в избу ночевать два мужика. Один из них, помню, был совсем седой. Собрались все соседи, и вот седой стал говорить, что скоро у мужиков не будет узеньких полосок и вся земля будет общая и бесплатная. Что не будут венчать, детей крестить — и зарастут в церковь тропочки. На полях будут ходить кони стальные, а сохи забросят. Все слушали и удивлялись, я же вовсе ничего не понимал — мал был» (В. Ф. Загоскин, 1904).

Коллективизация началась с очень жестоких мер, проводимых на местах по-разному, порой в абсурдной форме, с массой извращений, очевидных нелепостей. «Да и на местах коммунисты-руководители — они же подчинены все. Им сверху спустили план в процентах по коллективизации, и надо им сделать. А не сделаешь, могут и расстрелять, хоро-

шо, если только с должности снимут. И всех гнали в колхозы оптом. А в списках даже, бывало, грудных детей колхозниками считали. Или, например, стоит дом на границе двух колхозов — так хозяина и в тот, и в другой записывают, и землю тоже по разные стороны границы дают, чтобы задания обоих колхозов выполнял» (А. В. Семенов, 1910).

Из памяти многих людей не ушел тот факт, что первоначально на селе повсеместно пытались насадить коммуны. «Коллективизация началась с 1927 года. Сначала сгоняли всех в коммуны, которые потерпели крах; затем в колхозы силой. Хоть и не хочешь, а записывайся, не то считали — подкулачник. Агитация велась на собраниях всей деревни. Главы семей просиживали на них сутками, приходили домой только поесть. Я бывал на них. Мужики все время курили, так что дышать нечем, и в колхоз не шли — все боялись. А жены сидели дома и ревели. Ждали, что хозяин решит» (И. Г. Орлов, 1919).

Впрочем, беднота (пусть и не вся) с охотой записывалась в коммуны. Терять им было нечего, а тут на дармовщину можно было хоть как-то прокормиться. М. И. Носкова (1902): «Народ в коммуну записывался, так как обещали людям хорошую жизнь, еду на тарелочке в окошечко подавать будут, одежду будут давать. Оказались там жители из разных деревень, в основном из Солдатской волости, и кто в коммуну записался, имущество свое в коммуну нес. Но много туда записывалось разных батраков, нищенков. Самый начальник там был Братчиков. А муж мой Никита один в коммуну записался: “Ты, Марийка, пока дома оставайся, а потом колхозы будут организовываться, мы в колхоз пойдём”. Вот я и жила дома, а как Братчиков придет и скажет: “Ты, Носкова, когда в коммуну придешь, почему с мужем врозь живете?” А я ему говорю, что ткаю, а как закончу, сразу приду. Коммуна эта недолго держалась. Батраки курили и сожгли коммуну. На пожар весь народ собрался, тушили. Андрей Негорский (он мясник был, торговал, дом у них не больно важный был) сказал: “Пусть горит эта коммуна”. Его за это арестовали, в тюрьму в Кирове посадили, изморили всего и расстреляли, а его жена потом в няньках у меня была. Когда коммуна сгорела, все разбежались, расташили все».

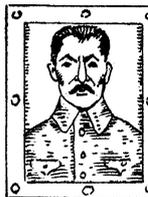


Коммуна осталась в памяти у многих кратким эпизодом и порой не очень бедственным. Е. С. Штина (1910): «Жили очень раньше плохо, сейчас лучше. Нонче жить можно. Раньше было работисто, чуть маленько ослабнешь — не выживешь. Ничего не было хорошего. Мне в коммуне жить нравилось. Там мы дружно жили. А потом в колхозе тоже никакого покою не было».

Много крестьян после революции, войн, голода пытались в годы нэпа наладить свою жизнь, встать на ноги, зажить крепким крестьянским хозяйством. Выбиться из нищеты удавалось многим, но крепко встать на ноги мало кому — слишком уж немного времени спокойного хозяйствования было им отпущено судьбой. Б. И. Фролов (1913) рассказывает историю своей семьи: «После гражданской войны родители у соседей взяли жеребенка, из него вырастили лошадь, приобрели сани, телегу (двухколеску) и начали строить стаю для скота, заготовили лес, вывезли его и с помощью соседей стаю построили. Потом приобрели телку и впоследствии стали жить с коровой. Перед коллективизацией около стаи стали строить дом, подняли до кровли сруб, средств не хватило, отец заболел, так дом и остался недостроенным, а после войны пустили его на дрова, так как отец умер рано, а мать прилежно работала в колхозе — ей было не до дома».

Сложны и многогранны были отношения внутри деревни между разными слоями крестьян. Иерархия и субординация были очень заметны. Вот два свидетельства из середняцкой и бедняцкой семей. Между ними есть существенная разница. П. С. Медведева (1906): «К богатым не ходили. Мы жили небогато. Наша семья средняя была. Больно бедными не были, и богатыми тоже. Родители довольны были, как живут. С богатыми не водились, боялись к богатым-то ходить». А. И. Петрова (1916): «К богатым относились не очень хорошо. Не любили. Если пойдешь хлеба занимать, заставит наперед два дня отработать. Гордиться у нас было нечем. Но все равно жили. Если был небольшой запас, радовались, что есть чего поесть». Но если в первом случае люди просто говорят об отстранении от стоящих выше их по общественному признанию в деревне, то во втором случае речь идет об открытой неприязни и зависти к богатым. Подтверждает

это Н. С. Путышев: «К богатым была обида, то, что они жили лучше нас — богатства было полно. Но к богатым плохо не относились — только в душе завидовали. Порой будешь к ним поласковее, хорошо поговоришь — дадут тебе кусок хлеба. Богатых и уважали за их труд. Хоть и жили они в достатке, но очень здорово работали. Каждый старался побольше заработать».



Надвинувшаяся коллективизация смешала все прежние ценности, перевернула существовавшие отношения. Престижно стало быть бедняком, а не крепким хозяином. В одночасье вершителями деревенских дел стали зачастую самые неуважаемые прежде люди — лодыри и пьяницы. Их не уважали, но боялись. А. Я. Двинских (1919): «Бедных людей мы в то время боялись, чтобы они нас из колхоза-то не вычистили. Если скажешь чо, дак они ведь шас запулят, шас пойдут везде и наговорят правду и неправду. И песни пели-то такие: “Сторонитесь, богачи, теперя воля наша”. Выжили мы только за счет работы не покладая рук. И раньше были такие мерщики — землю размеряли. Перемер был через три года. Дак мы так удобряли полосу — напущали скота, в общем, землю прибирали очень хорошо. А через три года перемер и эта полоса переходит опять к беднякам, которые ничего не делали и плохо работали. И родители снова корчевали целину, пахали, удобряли. Вот мои родители какие были. Бедняками были те, кто не хотел работать, а богатые, которых все прижимали, это были самые настоящие труженики, которые трудились не покладая рук.

И было что еще. Эти бедняки всю зиму играли в карты, а мой отец всю зиму в лесу работал, потому что он кулак — он труженик. И потом эти бедняки придут к моему отцу и говорят: “Купи у нас землю, у нас денег нету”. Он купит эту землю, а весной берут лошадь и распахивают эту землю, и мы не смеем слово сказать. В деревне нас чтили. Гордиться достатком было нельзя, боялись мы».

В селах побогаче, где земля поплодороднее и народ был позажиточнее, противостояние бедных и богатых в начале коллективизации было нешуточное. К. И. Исупова (1931) из села Дубровка Нижегородской губернии рассказывает об обстоятельствах своего рождения: «В 1931 году в селе

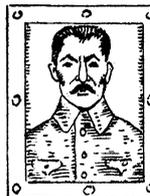
началась “мотыжная война”. Что это за война была? В селе таком большом, конечно, были люди, которые жили и бедно, и богато. В период коллективизации весь бедный народ, мужики, первыми записались в колхоз. Мой отец вступил в колхоз одним из первых. Но недовольство кулаков коллективизацией проявлялось все сильнее и обостреннее. Начались стычки между кулаками и мужиками, шире-дале, пошли в ход кулаки и мотыги, а иначе — “мотыжная война”. Для того чтобы кулаки не трогали жен и детей колхозников, нас вместе с матерью и с другими женщинами вывезли на конопляное поле. А 6 сентября 1931 года отца и других мужиков, кто вступил в колхоз, заперли в церкви. Вот в эту ночь меня и родила мать прямо на конопляном поле. Раньше была такая примета, что если в час рождения ребенка у кормилицы семьи — коровы — появляется приплод, то этот ребенок счастливый. А в ночь моего рождения наша корова не растелилась и к утру умерла. Так мы лишились молока. Вскоре мы вернулись в свое село. Мужиков выпустили, утихомирились и стали жить все в колхозе».

Сельская молодежь, прежде всего комсомольцы, была ударным отрядом партии в проведении коллективизации. Многие из них искренне верили коммунистическим идеям, некоторые просто приспособлялись. Комсомольцы подражали во всем коммунистам, они были военизированным отрядом партии, зачастую проповедовали аскетизм и фанатическую веру. В. С. Кондрашов (1910) вспоминает годы своей юности: «В 20-х годах комсомольцы носили простую форму — защитные гимнастерки с ремнями. Считалось тогда недопустимым для комсомольцев увеселения разные, танцы. Говорили, что это буржуазный предрассудок. В те годы была большая вера в Ленина. Верили в советскую власть, в партию. Когда в 1924 году Ленин умер, то все очень сильно перживали, плакали, все были потрясены».

Ощущение, что сила и власть за ними, позволяло комсомольским ячейкам и колхозной молодежи верховодить во всех практических делах деревни периода коллективизации. А. К. Коромылова (1914) рассказывает: «В селе все меньше и меньше оставалось единоличных дворов. Вечером, когда мы собирались на гуляньях-вечерках, молодежь разделилась

на два лагеря — из коммуны и единоличные, они держались обособленно и как-то робко. Те, которые были в коммуне, потом — в колхозе с первых дней держались нагло, вызывающе, они верховодили на гуляньях. Помню, в то время пели мы частушки такие:

Эх, яблочко ананасное!  
Не ходи за мной, буржуй,  
Я вся красная!



И вот еще:

С неба звездочка скатилась  
На советски ворота,  
Обложили продналогом  
По три пуда с едока.

А вот еще, когда были комсомольцы, коммунисты, то пели:

Мой миленок — коммунист,  
А я — коммунарочка,  
В Красну Армию пойдем  
Отчаянная парочка.

Комсомол, комсомол,  
Ты куда шагаешь?  
На деревню за налогом,  
Разве ты не знаешь?»

Право казнить и право миловать кружило головы молодым парням. Преданность власти стала важнее деревенских связей, подчинения родителям. Один из бывших комсомольских секретарей той поры вспоминает:

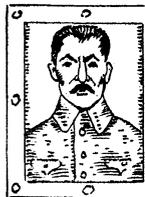
«Я был секретарем ячейки комсомольской в селе. Лозунг был — добровольно, но обязательно всем вступить в колхоз... Собираем собрания в “потребилловке” — лавка кооперативная такая была, товару много. Вот говорят, сопротивления не было. Да как же?.. Вот в 1928 году провожу я собрание, и у нас при лавке пристрой такой был — там собирали, в колхоз агитирую. Бабы в первых рядах, мужики на послед-

них сидят, сигарки смолят. Я говорю: “Всем вам будет лучше жить, ведь машинами ваши узкие полоски не вспашешь”. Мужики молчат, а Анисим Иванович Барабанов, был такой крепкий хозяин, мне и выкрикнул с места: “Да откуда ты знаешь, что лучше-то будет?” Дескать, молокосос ты. А ему: мол, в центре-то не дураки сидят. Он в спор. У меня, говорит, боевых наград больше, чем тут на стене жестянок навешано. А он и впрямь был полный георгиевский кавалер после мировой-то войны. Пол-Польши домой привез. Голова-то у него хорошо варила. Я на другой день записку в волость — в милицию. Забрали его, отправили на Беломорский канал. Так что ты думаешь? Он через несколько лет, когда канал-то построили, с орденом Ленина оттуда вернулся в деревню. А вот еще. Как-то вернулся я с собрания, далеко ходил, верст за семь в одну деревню. Сижу дома, пью квас, хлеб с солью ем. А поздно уже, темно. Окошки-то у нас больно низко были, чуть не в землю вросли. Вдруг с улицы большой булыжник бац в окно. Ладно, в переплет попал, отскочил, а то бы прямо мне в лоб. Убил бы ведь. Я на улицу выскочил — темень, а у меня фонарик был, маленький, а очень яркий, теперь таких нет. И наган был. Осветил, вижу — фигура у дома. Взглянул — это Ванюшка, мы с ним вместе всегда мальчиками играли. Ясно, подучили его, настроили. Подкулачник. Схватил я его, руки за спину, привел к себе в избу, посадил в подполье. Мне отец говорит. “Ты ведь все равно в деревне жить не останешься, в уезд уйдешь. Отпусти ты Ванюшку! Мне ведь с мужиками этими жить!” Я ни в какую. Утром увел его в милицию, составил протокол, дали ему сколько-то лет. Я точно не знаю, меня потом в уком перевели.

Или такой случай был. У нас мужики по зимам в Шую на заработки уходили, мастеровые были все, кто покрепче. И вот собрались как-то они в отход и сход сделали в “потребилровке”. Дескать, мы уйдем, надо власть в деревне в хорошие руки, чтобы кто-то вел ее надежно. Пока нас нет. А председателя сельсовета незадолго до того выбрали — Ивана. Он бедняк был, и не больно-то его уважали в деревне. Но нам-то он подходил, мы его и выдвинули. А я у учителя сидел, у него был такой детекторный приемничек: пи-пи-пи. Речи Рыкова, Бухарина тогда слушали. Интересно, все ком-

сомольцы вечером туда ходили. Вдруг Манька бежит, говорит, что вот мужики председателя сельсовета переизбирают. Я бегом в “потребилровку”. А они уже вроде все решили, проголосовали. Я говорю: “Кто вам разрешил выборы? Завтра же схожу в волисполком — ваше собрание недействительно”. А там лампа пятилинейная — кто-то дунул на нее, темень, и меня кто-то за загривок сгреб да носом в пол давай совать. И по бокам мужики давай меня метелить. Я “караул” давай кричать. Парни наши прибежали, лампу зажгли. Мужики отступились, видят, дело-то неладно. А я увидел того, кто меня за загривок держал. Это Семен был, лишенец, его всех политических прав лишили, он до революции полицейским был, таких лишали по конституции. Чего делать-то? Я ушел домой. А рано утром ко мне этот Семен идет, несет четверть самогона под мышкой: “Алексей Федорович, давай помиримся”. Меня все Лешкой звали, а тут он так. Отец мой все на эту четверть смотрит, охота ему выпить, говорит: “Прости ты его, Леша!” А я ни в какую, говорю: “Я советскую власть на самогон не меняю! Сегодня же пойду в волость”. Ушел он. А я Миньку послал верхом в волость со своей запиской в милицию. Приехал начальник, он потом здесь зам. начальника УВД в Кирове работал, забрали Семена, тоже дали ему сколько-то лет. Я потом вскоре из деревни уехал, дак не знаю, вернулся он или нет в деревню. Тогда ведь коллективизацию сплошную гнали. Из укома посылали в село и говорили: “Пока 100 процентов не дашь, не возвращайся в уком, нечего тебе тут делать!” А потом как Сталин то ловко вывернулся, все преступления на нас свалил. “Головокружение, дескать, от успехов”. У моих же друзей в укове головы полетели — назвали их перегибщиками. А мы же сами ничего не придумывали, нам все с центра спускали» (А. Ф. Каманин, 1908).

И все-таки начало коллективизации — это широкая агитационная кампания по вступлению крестьян в колхоз. Проводилась она на местах, как выше было метко замечено, добровольно-принудительно. Вот что рассказал И. И. Зорин (1918): «Для нас, малолетних, все происходящие события того времени были очень интересны, все мы ждали чего-то лучшего. Особенно нас, подростков, радовала коллективизация.



Мы-то радовались, а большинство населения было против. Лишь небольшая часть населения, которая жила очень бедно, не имела тяговой силы, только она и приветствовала коллективизацию. Почти каждый день проводили сходы (с год, наверное), а иногда в день по два-три схода. Первый раз собирают сельсоветы, второй — из района кто-нибудь, третий раз — с области. Были случаи, я хорошо помню, прежде чем достать бумаги из портфеля, на стол для устрашения выкладывали наган. Под сильным нажимом проведут голосование, составят протокол, что большинством голосов постановили организовать колхоз. А большинства-то и не было. Как дойдут до обобществления лошадей, коров, инвентаря — так и все. Сводить-то некуда: ни складов, ни помещений, ни конюшен. Колхоз у нас все же был организован. И все семьи, что вошли в него, вынуждены были держать скот на своих дворах и кормить своим кормом. При этом сдавали продрозверстку государству и как за личное хозяйство, и как за колхоз. А самим хозяевам, которые кормили-поили этот общественный скот, не оставалось ничего».

Ломался стержень крестьянской жизни, личностный интерес, менялась судьба нескольких поколений крестьян. Перебороть себя внутренне многим было просто не под силу. Многие заболели с огорчения, случалось, умирали с горя. Е. А. Соколова (1910): «В колхоз заставляли вступать, ходили уполномоченные. Отец был против, не сдавался, даже прятался, а мать отвечала, что без хозяина ничего решать не может. Но ничего не помогло. Отобрали корову, лошадь. Конечно, жалко — семья-то большая. Отец очень расстраивался, заболел и умер. Вообще все были за индивидуальное хозяйство, спорили, но больно-то не поспоришь».

А. Я. Распопов, активист-агитатор тех лет, рассказывает: «Как происходила организация колхозов? А было так. Хозяина каждого дома приглашали на сход. Собирали в большую комнату, ставили стол, покрытый красным материалом, за которым сидели уполномоченный и депутат сельсовета. Крестьяне же в большинстве располагались на полу, так как скамеек не хватало на всех. И почти все курили махорку, и, когда откроешь дверь, дым валит, как из трубы дома. Вначале уполномоченный рассказывал о колхозе, задавалось ему

много вопросов, а если все поняли, спрашивает он, то пусть желающие подойдут к столу и распишутся о согласии вступления в колхоз. Но часто в первый день целую ночь сидят, а ждут первого смельчака, кто распишется. Несколько дней уходило на агитацию, но колхоз создавался. Очень тошно было смотреть, когда собирали скот на общий двор. Было много слез, ругани, шума. В этот момент было много угроз в адрес уполномоченного, его грозились убить, искалечить, ругали матом».

Прощание с лошастью, с коровой было настоящей семейной драмой. «Когда в колхоз записались, коней сводили всех. У нас крестная была старая, и, когда тятенька повел лошадь — Лаской звали, — она ее похлопала по шее, всю обняла, всю обревела. И увел тятенька лошадь. Мне 13 лет тогда было. Вот, помню, мужик и женщина едут на телеге, и женщина воеет, как по покойнику. Жалко ей лошади-то» (А. В. Сметанина, 1914).

«Отец и мать вошли в колхоз. Воронко, лошадь нашу, увели в деревню Серебряковы на другую бригаду. Родителям стало жаль лошади, они вышли из колхоза. Как Воронка привели обратно в деревню, родители снова вошли в колхоз. Трудились от всей души» (М. К. Казакова, 1905).

Местные власти применяли самые разные методы, чтобы заставить крестьян вступить в колхоз. П. Н. Русов (1897), председатель сельсовета той поры, под конец жизни занес свои мысли в тетрадочку: «Самообложение — этот налог выпущен в 1927 году Сам крестьянин должен обложить себя налогом, который и пришлось мне проводить в моем сельсовете... В сельсовет пришла инструкция на 10 листах, и требовалось в ней в три дня обойти все тринадцать селений и представить в райисполком протоколы собрания. Я пошел по деревням и стал пояснять, что пришло распоряжение и что мужик должен обложить сам себя налогом, который называется “самообложение”. Мужики ничего не могли понять и говорили, что и так налогов много, и тех не можем выплатить, а им еще мало. Все селения отказались принимать этот налог, и я представил в исполком протоколы собраний. Меня в этом обвинили, хотя виновником всему был судья района, назначенный ко мне уполномоченным по



проведению этого налога. Он не приехал, и мне пришлось проводить одному. Но я как человек свой считался, то мужики меня не боялись и говорили: “Ты скажи им, что мы сами себя обкладывать не станем”. Отдали меня под суд. На суд я вызвал двух наших мужиков, которые пояснили на суде, что налог не прошел совсем не по моей вине, что я всеми средствами старался провести налог. Но в инструкции не сказано, что в добровольном порядке: хочешь — принимай, хочешь — нет. Я и сказал на суде: “Что же меня судить за это? Надо судить судью Санторина, который не приехал проводить налог”.

Заседателями в суде были два моих товарища: один по школе, где за одной партией сидели, другой был председателем Коневского сельсовета. Оба они меня прекрасно знали. Суд ушел на заседание, и меня приговаривают на 6 месяцев условно. Я на это не соглашаюсь и подаю на обжалование. Но это все замирает, а я в это время отказываюсь от службы и передаю сельсовет другому лицу. Вести дело стало трудно, нужно было выявлять кулаков, а у меня их не было. Мой Спирицкий сельсовет считался самым бедным. Мы даже не могли представить, что такое кулак, если человек не имел никогда работника или работницы. И как ты его будешь обкладывать?

После меня попал тот человек, который нашел кулаков и стал выгонять из домов самых трудолюбивых мужиков. Он был сыном одной слепой женщины. Он когда-то водил ее собирать милостыню по тем же деревням, где ему пришлось править. А от него тогда и двери запирали, и говорили: “Веди ты ее в другую деревню, что ты все время сюда приводишь?” Мать его все это помнила и знала все дома на память. И где его не так встречали — он там и давай искать этих “кулаков”. В своей деревне пустил по миру человек 8. Я знал всех этих мужиков, но сделать ничего было нельзя. Все шло к тому, чтобы деревня обеднела и шла в колхозы. Так никто не шел. А больше взять мужика нечем — только обложить его индивидуально и выгнать из дому, чтобы другому вбить это в голову”. И тогда все пойдут в колхозы!

Хозяйства стали распадаться, и мужики пошли по городам и лесным разработкам. В деревне, где было 50–60 хо-

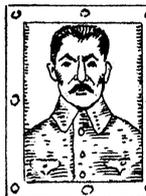
зайств, осталось 10—15. Земля, как говорили мужики, остыла, родить не стала».

Торжество бедноты стало полным. Она могла не только унижить, разорить, выслать, посадить в тюрьму более состоятельных соседей, но и пользоваться их имуществом, домом.

А. С. Бусыгин (1912): «Были общие собрания, где агитировали за колхозы. Создавались советы. В них входила в большинстве беднота, у кого толку нет работать. Сход бедноты обкладывал налогом население. Сколько взбретет в голову, столько и скажут. За неуплату били розгами или садили в чижовку хозяина. Его надо было выкупить. Продавали последнее, что было, и выкупали. Были карательные отряды, которые отбирали хлеб. Крестьяне копали ямы, прятали хлеб. Вот и мы утром мешки с зерном прятали, увозили их в осинник, а вечером, если все спокойно, везли обратно. Муку тоже прятали в ямах, в малиннике. Вначале в колхоз вступило семнадцать дворов. А через год вступили все».

Чужое добро чаще всего было новым хозяевам не впрок. Вспоминает И. А. Морозов: «А бедняки въезжали в дома кулаков, и за 3—4 года обретенный таким образом дом снова превращался в бедняцкий: ни амбара, ни хлева, ни отгороженного отхожего места. А ведь было все. Не было только одного — привычки к труду».

Чтобы заставить крестьян вступить в колхоз, нужно было разорить для примера несколько более состоятельных односельчан. По всей России широко использовали наложение непосильного налога — «твердое задание». И. П. Улитин (1919) рассказывает историю разорения и гибели своей семьи: «Жили мы в селе Ключаново Рязанской области. Отец и мать крестьяне. Оба неграмотные. Было нас три сына и сестра. Дом у нас был каменный. Раскулачивание у нас началось в марте 30-го года. В деревне было 130 дворов. Около 30 семей раскулачили. Из волости наезжали люди с оружием. Проводили собрания. Просили вступать в колхоз. Тех, кто отказывался, иногда заставляли силой. Если не идешь в колхоз, давали задание сдать 50 пудов в течение недели. Столько мало кто мог сдать. Приезжали и отбирали все, а хозяев ссылали. Отца после раскулачивания отправили в Москву, в село Шатура. Сначала он сидел в г. Ряжске, в тюрьме.



В Шатуре была колония для раскулаченных. Семью и меня самого сослали на поселение в Казахстан. Когда везли в Казахстан, брат младший по дороге убежал. За это мать посадили в тюрьму, и там ее замучили киргизы, которые охраняли».

Страх раскулачивания менял атмосферу деревни, рушились нравственные устои, казавшиеся незыблемыми, процветало доноительство. Хлынул поток спасавшихся от раскулачивания людей в город, на стройки.

«Люди раньше были очень дружные. Но почему-то в коллективизацию все озверели. Мы сами раньше были образцом для всех, а в коллективизацию стали всем негодны. Все наше хозяйство разгромили. Семья сперва была большая, а потом вдруг измельчились как-то. Муж-то мой уехал на Урал, а я осталась одна с маленьким сыном да со свекром 80 лет и свекровью 60 лет. Я обложена была “твердым заданием”. А выплачивать не могла, вот и забрали у нас все: и лошадь, и корову. Вот тогда мы и уехали из деревни в город» (А. Т. Сапожникова, 1910).

Главный вред коллективизации нынешние старики видят в том, что крестьянин был отлучен от земли, лишен радости свободного труда. «До 1930 года русский человек, пока колхозы не стали делать да нэп была, был предприимчивый. Люди умели работать, не хуже англичан бы жили, если бы вот так не дали по рукам и ногам. А тут отучили работать-то всех эти колхозы» (А. В. Клестов, 1918).

Открытые восстания крестьян против новой политики все же были. В. Н. Савинский (1908) рассказывает: «Вот говорят, до нитки их обирали, дескать. Ничего подобного. С обыском приходили, так ведь он, кулак, зерно закопал под пол. Оно гниет там, крыс множество, крысы даже под ногами бегают. Мы тогда с уполномоченным ГПУ ходили по домам — излишки забирали. И к таким вот применяли твердые меры. Лишали их только экономически. Не помню, чтобы у нас кого-то расстреливали. А те, которые к нам высланы были, работали и получали такую же зарплату, как мы. Так они в 1931 году подняли “сабантуй”. В Лузе тогда ни войск, ничего не было, только отряд, охранявший железнодорожную станцию и мост. Они из единственного пулемета по крышам домиков дали очередь, ну тогда и прекратили.

Кто жил в 20—30 годы, тот знает, что такое классовая борьба. Вот в 1928 году появился у нас архиерей Ерофей. Это уж потом известно стало, что никакой он не священник, а во время гражданской войны был офицером царским, в банде Махно воевал. К нам он был послан для организации контрреволюционного мятежа. В апреле 1928 года им удалось поднять на восстание три сельсовета. Тогда ведь населения в них порядочно проживало.

На усмирение их нашего брата да военный отряд послали. А у нас только учебные винтовки были. Привезли нас, выгрузили — и по нам из обреза. Ну нас полегло же, вернулись. Из Устюга были посланы войска: артиллерия, пехота и милиция. Ну их-то уже не потребовалось — артиллерии хватило. Банду ликвидировали, более 300 человек арестовали. Ерофею кто-то попал в лоб, так он часа три после этого жил, помер. Как-то на собрании я упомянул имя Ерофея, так меня с трибуны сташили и избили. Это в Никольске дело-то было. Почему? Так ведь здесь-то его все еще святым считали. Ну я им всю подноготную-то и рассказал о нем. Так ведь что интересно: крестьяне-то зачем на восстание пошли, зачем лезли-то? Выяснилось тогда, оказывается, у Ерофея план был поднять три сельсовета, соседние районы и двинуть к Белому морю с тем, чтобы захватить на море пункт для высадки англичан. У нас ведь тогда очень беспокойно было».

Комментировать этот рассказ не берусь, хотя идея «двинуть к Белому морю, чтобы захватить пункт высадки для англичан» вызывает у меня серьезные сомнения. Судя по всему, восстания были редкими, стихийными и неподготовленными.

Нередки были случаи заключения в тюрьму упорно отказывающихся вступить в колхоз крестьян. Многие в тюрьме и умирали. «Помню, нас, молодежь, призывали агитировать своих родителей за вступление в колхоз. Мои родители были против колхоза. Жаль было земли, скота. Уполномоченные дали указание раскулачивать, чтобы принудить крестьян вступить в колхоз. Раскулачивали за то, что дом неплохой, что есть мельница, кузница — хоть на них и никогда не было наемного труда. Нас раскулачили: отобрали мельницу, масляный завод, даже самовар увезли. Отца объявили



врагом советской власти, посадили в острог. Там он и умер через год. Раскулачили соседа Ивана Захаровича, он имел маленькую кузницу и работал в ней в обед. Чтобы купить лошадь, он продал хлеба, часть скота. За что его раскулачивали, не пойму. И дом у него был старый. Вот Андреевич тогда жил в старом доме, имел ветряную мельницу, которая почти всегда стояла. Семья была двенадцать человек. Он даже хлеба занимал у соседей, чтобы дожить до нового урожая. Помню, еще Илью Петровича раскулачили, он в каменном доме жил. У Филиппа Михайловича было пятнадцать членов семьи! И только перед образованием колхозов два его сына отделились. Им надо было по дому строить. Он имел кузницу, в ней работал сын, но доход от кузницы был маленький. Но это не учитывали при раскулачивании. Кулаков у нас в Лаптенках не было, а людей все-таки привлекали за что-то» (Ф. П. Втюрин, 1904).

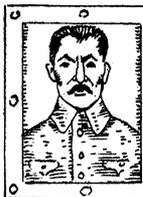
Для острастки важно было порой наказать одного, чтобы остальные замолчали и подчинились. «Как образовался колхоз? Сделали сход деревни и объявили, что будет колхоз, все будет общее. Кому охота, кому неохота — все должны идти. А если не вступишь, то все отберут. На одной вечеринке один парень спел частушку (он был не колхозник):

Все окошечки закрыты,  
Здесь колхозники живут,  
Из поганого корыта  
Кобылятину жуют.

На него кто-то донес, его забрали и увезли. Больше его никто не видел. Были и единоличники, которые не вступали в колхоз. Им дали немного земли. А потом они все равно вошли в колхоз. На них накладывали большие налоги, им было не под силу их выплачивать, и они вступили» (Т. Ф. Бахтина, 1919).

Зависть, недоброжелательство соседей были мощным стимулом к раскулачиванию. Достаточно было чуть-чуть чем-то выделиться из общего ряда — и могли раскулачить. Очень много похожих свидетельств, наподобие следующего: «Имели мы мельницу, кузницу, молотилку — работали

хорошо. Нас всех раскулачили. Людей ссылали за труд». Рассказ И. А. Бажина (1918): «Жили мы средне: имели лошадь, двух коров, кур и другую живность. Когда у нас началось раскулачивание, люди все говорили, что нас надо раскулачивать. Это потому, что дом у нас очень красивый был, с верандой. Ну отец мой сломал веранду, так и все кончилось. Мне в то время было лет 13–14, очень жаль было веранду — плакал».



Зачастую для выполнения спущенного сверху плана по раскулачиванию разоряли людей, уже вступивших в колхоз. Сотни тысяч семей были разобщены, многие судьбы покалечены.

Повсеместным было раскулачивание крестьян-средняков, имевших по одной лошади и корове и не использовавших никогда наемного труда. А. А. Феофилактова хлебнула много лиха, хотя была из середняцкой семьи: «Родители середняками были. Жили единолично. Стали у нас организовывать колхозы. Сначала нас взяли в колхоз, потом посчитали зажиточными — выбросили из колхоза. Обложили твердым заданием. Земли-то было, может, пять гектаров всего. Намолотишь — не хватает. За это отца судили, посадили в тюрьму. Потом его выпустили, купил он лошадь, его снова обложили заданьем. Один раз они с мамой уехали в Су-ну хлопотать насчет заданья, там и ночевали. Мы дома с сестрой Тасей. Приехали к нам председатель колхоза и член сельсовета, ну и вытащили у нас все окна, чтоб нас из дому выселить. А мы не ушли, заткнули окна тряпками, одеялами, матрацами, залезли на печь и просидели всю ночь. Это нам родители так велели. Когда приехали родители, эти окна заложили — тюлек напилели, оставили одно окно в сенцах, так и жили. Еще это у нас восемь домов раскулачили, и всех ни за что. Отец мой работал, не держал никаких работников. Были в деревне бедняки. Они собирали бедняцкие собрания, они все решали с этими раскулаченными людьми. Обыски устраивали, не появится ли чего ценного, чтоб забрать. Вот дед добрый один бедный, дед Вася, ходил все на собрания, придет с собрания, его жена идет к нам и говорит, что убирайте все, чего есть хорошее, а то обыск придет. Мама узел здоровый навяжет, я перепугаюсь, метну на плечо

и бегом его в вересье. Вересье-то было за усадьбой. А обратно эти узлы уже не можем нести и делим узел пополам. Все забирали, что попало. Я вот все думаю: кабы я нашла дорогу, поехала бы в Москву жаловаться к Сталину, что нас раскулачивают неправильно.

Пришли к нам из сельсовета просить деньги за квартиру, а дом-то наш был, чего мы будем платить за него. Было сколько-то денег, мать их взяла и спустила за лавку. А Тася, сестра, схватила их и убежала на улицу — ходи ее ищи. Эти из сельсовета ходили, как хорошие жулики, отбирали и набить даже могли. А заступиться за нас некому, они же — советская власть. У нас была корова, лошадь и овечек, не помню сколько. Корову у нас в район увели, а мы с мамой ходили туда. Мы идем, и стадо уходит, узнали свою корову и закричали: “Малуха, Малуха!” Она к нам бегом прибежала, и мы ей хлеба кусочек дали. Пошли — она за нами идет, а мы рывем».

«В 4-м классе принимали в пионеры. Всех выстроили в шеренгу, встала и я. Учитель и говорит: “Козлова, выйди из строя. Ты — дочь лишенца, тебя не принимаем”. Мне было так обидно, но пришлось выйти.

В 1930-м началась коллективизация. Согнали весь скот во дворы, у кого большие. У кого что было — все отобрали. Год в колхозе пробыли. Потом план сверху спустили — раскулачивать. На нашего отца и нагрянули. Кулачили тех, кто лучше работал. Безработь вся в колхозе осталась.

В 1932 году отца выбросили из колхоза. Увели корову, был дом-пятистенок, увезли. У меня была сестра с 1928 года и тетка. Матери не было, умерла от воспаления легких. Выгнали нас на улицу. Куда хочешь, туда и иди. Вот нас подобрал дядя. Мы у него и жили до 1938 года.

Отца тогда обложили “твердым заданием”. Заставили сеять на плохой земле. Дали задание единоличное. Нанимал лошадь в другой деревне. Посеял овес — вырос, выжали, обмолотили руками. Привезли домой, свалили в избу. Один нашелся комсомолец (одно название), привел двух баб, залезли в окошко. Весь овес выгребли и увезли. И не знаем куда. Первое задание отец выполнил. Его второй раз обложили, льноволокном. Он уже не мог выполнить. А уж больше нече-

го было. Все тряпки променяли... Ему подставили, что имел двухстаночную мельницу и сдавал землю в аренду. Не было ни того, ни другого. Он собирал подписи с населения, что ничего не было у нас. Он ездил в Нижний Новгород с этими подписями. Но там и говорить с ним не стали. Кто будет внимание на него обращать, простого крестьянина. Он два раза ездил, вернулся домой и стал ждать.

Но тут нашелся умный человек и посоветовал ему скрыться, не дожидаясь ареста. У отца отобрали паспорт и военный билет, чтоб не смог уехать. Несколько дней он прятался в дровах. Потом достали ему документ, и он уехал на Урал. Полтора года ничего мы про него не знали. После он послал соседям письмо. Написал, что живет нормально, устроился плотником, строил дома от шахты. Потом отец рассказывал, что в общежитии, где он жил, каждую ночь приходили, уводили — и ни пены, ни пузырей. Он ложился спать и все боялся, что и за ним придут. Написал, что если дадут паспорт на три года, то нарисует три крестика, если на пять лет — то пять крестиков. В 1938 году... он вернулся домой, в свою деревню. Как ни зорили, а душа все болела о своей земле» (Т. А. Кокоулина, 1922).

Местные власти знали, что наказать их могут только за недостаточную решительность, низкий процент раскулаченных, малое число колхозов. Чтобы объявить кого-то кулаком, нужны были хоть какие-то, пусть фиктивные, поводы (сельхозмашина, большой дом, кузница), но чтобы объявить любого крестьянина подкулачником, не требовалось и этого. Можно было сослать кого угодно, хоть бедняка, хоть середняка за агитацию против колхоза.

Страх и после коллективизации надолго сковал уста крестьян, ведь аресты по любым поводам продолжались. «Коллективизация такая была: уполномоченные сганивали, угоняли всех. Если не шли в колхоз, так им давали самую плохую землю на отшибе. Куда деваться-то, вступали в колхоз, выхода больше не было. Тогда было так — все боялись слова сказать! За слово садили. Отца посадили. Было так: на кого зол — на того напиши “враг народа”, его и заберут. Отец был сторожем в колхозе, старовером. Написали, что он народ агитирует. Посадили его в 1937 году по 58-й статье.



И напарника его, 22-летнего парня, тоже увели. А тот-то какой “враг народа”? И не старöver, и ничего! Жена с ребятенком у него осталась. Никто не знал, что и где тятя сидел. Мать раз ходила в НКВД, дак ей сказали, что доходишь — сама попадешь. И брат Николай ходил — тоже ничего. Тысячи погибли народу. Так и не знаем, где отец погиб. Как жалко было. Из ближних деревень многих садили» (А. Н. Евдокимова, 1913).

Раскулачивание было реальной угрозой, заставлявшей крестьян вступать в колхозы. «Записывали насильно, не записался — значит кулак» (А. А. Жуйкова, 1904). Правда, и здесь вариантов было очень много: от сел, где большинство хозяйств раскулачивали, до сел, где вовсе не было раскулачивания. «У нас в деревне Чухватки из 12 дворов 10 раскулачили. Эти так называемые “кулаки” имели лошадь, корову или две, да и зимой ходили на приработки. Они и жили в достатке. А в двух хозяйствах не держали никого, и всю зиму печь давили, но имели по тальянке. Мужики-то сеют-пашут, а Саня с Петей у себя на огородах на тальянках играют. Так соседи им потом и вспашут да из своих семян посеют. Выслали эти 10 семей, а те две семьи сами убежали» (И. Г. Юрьев, 1919).

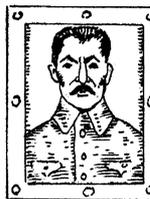
Пусть редко, но встречались и благополучные колхозы. Как правило, они существовали в 30-е годы в дальних маленьких деревнях, где все были родственниками. Колхоз там был чем-то вроде патриархальной большой семьи. «Коллективизацию в нашей деревне встретили хорошо. В колхоз свели все по лошади, собрали весь сельхозинвентарь: телеги, сани, кошевки, тарантасы, плуги, бороны. Стали пахать коллективно, все весенние работы проводили колхозом. Все делали без разногласий. Пожилые с лукошками сеяли, молодежь заборанивала. Может, где плохо было, но нам коллективизация понравилась. В первый год коллективизации поехали на покос. У кого-то красный кушак был. Его прицепили на шест как флаг. Установили его на первую лошадь. Андреевна Егориха взяла подсвечники и била по ним всю дорогу как в бубен, аж все руки до крови избила. Ехали на работу с гармошкой, с песнями, и работа у нас спорилась. Пахали землю так, что она, как пух, была мягкая. На трудодень

давали в хороший год три килограмма хлеба и 2–2,5 рубля. Колхоз наш делал кирпич и вырученные деньги давал на трудодни. В конце года от деревни по одному или два человека посылали в Москву, за одеждой. Хорошо жили вплоть до войны. Никто у нас не преследовался. Беднота была, да что с нее взять, кроме лаптей» (А. В. Вершинина, 1921).

Любопытно, что во многих рассказах упоминается некий временной промежуток, когда коммуны уже распались, а колхозы еще не были созданы. Г. Ф. Мусихин (1921): «Начала была коммуна, но она мало просуществовала. Свезли все вместе, даже сделали общую столовую, но все почему-то ели дома. Когда вышла статья Сталина “Головокружение от успехов”, мужики тогда уехали за семенами, и женщины посчитали, что все это хозяйство надо разобрать. Приехало начальство из района и стали всех снова загонять, но у них ничего не вышло, и год прожили без коллективизации. Через год собрали собрание. Половина деревни, в том числе и мой отец, записались в колхоз, а половина — нет. Колхозу дали ближние земли. Его называли имени Яковлева, тогдашний нарком земледелия. Только тогда свели всех лошадей и собрали орудия труда. А кто не вступил в колхоз, называли подкулачниками. Много выселили из нашей деревни и куда-то всех увезли, мы так о них ничего и не узнали».

Характерно, что женщины-крестьянки были более резко настроены против колхозов.

Негативное отношение основной массы крестьянства вызывало и то, что во главе созданных колхозов встали бедняки. «Во главе колхоза ставили тех лентяев и выпивох, которые плохо работали на своем подворье. Люди это очень переживали. Хозяина во главе колхоза они не видели, а русский человек всегда уважал только работающего мужика. Восстаний, поджогов, убийств, как показывают сейчас в кино, в округе не было. Кто же будет уничтожать свое добро, нажитое годами труда и отданное на хранение в колхоз. Ведь мужик серьезно не верил в колхоз, он думал, что, мол, поиграют большевики и успокоятся. Но большевики не успокоились, началось раскулачивание. Настоящих кулаков в округе не было, было много хороших, работающих, настоящих мужиков. И вот новая власть в деревне в лице быв-



ших лодырей стала грозить всем средним хозяйствам раскулачиванием. Особенно тем, кто не поил их самогоном или водкой. Начали заниматься вымогательством. Немало хороших хозяйств было ликвидировано: отбирали дома, мужиков с женами ссылали, стариков с детьми пускали по миру. Оставшихся детей и стариков обычно соседи брали по своим домам, кормили, поили, одевали. Один из домов, конфискованный государством, соседи собрали деньги и выкупили обратно, передав семье, в которой было десять детей» (И. Ф. Русов, 1904).

Коллективизация шла не одновременно и не равномерно на всей территории страны. Там, куда хлынули потоки сосланных и арестованных крестьян, народ был уже запуган. Вообще тактика запугивания, раскола крестьянства сработала в коллективизацию очень сильно. В ходе коллективизации происходило изменение норм общения в деревне. Вот что говорит о жизни в родной деревне Скрябине в период коллективизации М. В. Котельников (1921):

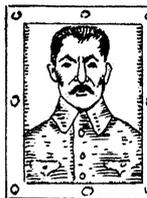
«Люди в одной деревне жили неодинаково по разным причинам. В некоторых семьях было много едоков, а мало работников. В других работали с прохладцей и вели хозяйство спустя рукава. Всегда они оставались в долгах, особенно в хлебе. Были и такие из всех деревенских, что жили совсем бедно. Их избышки крыты соломой, скот не держали и в основном собирали по другим деревням. Им не укажешь, коль так задумали жить.

В 1928—1929 годах появилось много прохожих людей, собиравших по деревням милостыню на пропитание. Они рассказывали, что там далеко, на Волге, была засуха, хлеб не уродился, люди мрут от голода, да и есть указ советской власти в деревнях всех крестьян объединять в коммуны и колхозы, принимать в них будут только бедняков, а кто живет хорошо — у тех будут отбирать землю, и хлеб, и скот. Деревенские мужики и взрослые парни почувствовали большие перемены в жизни деревни. По железной дороге на Котлас почти ежедневно шли составы товарных вагонов, в которых везли людей целыми семьями. Эти вагоны-теплушки охранялись конвоирами с собаками. Люди говорили, что везут на север, на Печору “контру” и кулаков, которые идут против

советской власти. Мальчишки моего возраста босиком бежали на разъезд посмотреть на эти охраняемые поезда с людьми.

Мужики и бабы стали сдержаннее друг с другом, даже сосед с соседом. Из деревни ночью выехали два брата: Степан и Иван с женами, а куда уехали, никто не знал. Уполномоченный из сельсовета приехал в деревню, передал скот беднякам, и два дома посреди деревни заколотили досками. Стали убывать из деревни молодые парни, которые не успели пожениться и обзавестись семьей. Шли слухи, что уезжали в Архангельск и Мурманск — там берут без паспортов и метрик на пароходы. Осень 1929 года принесла в жизнь деревни большие перемены. В деревню приехали уполномоченные с района и председатель сельсовета Кочкин. Собрали всех людей деревни “под липу”, здесь обычно собирали деревенский сход еще в незапамятные времена, стали объяснять, что, мол, для лучшей жизни в деревне советская власть предлагает всем жителям деревни объединиться в коммуну. В коммуне все будут равными, не будет ни бедняков, ни батраков, земля и скот будут общими. Все будут питаться из одного котла, будет организована общая деревенская кухня и столовая. Несколько дней длилась канитель организации коммуны. Большинство деревенских семей подписались за организацию коммуны, однако ночами стали уничтожать, пускать под нож свою скотину, особенно овец, чтобы не сдавать в общее стадо.

Пустующие два дома и все дворовые постройки к ним использовались для столовой и красного уголка... Вся эта затея с коммуной шла подчас трагически. Несколько крестьянских семей отказались войти в коммуну, а престарелые, особенно старушки, сидели дома — никуда, ни в столовую, ни на улицу не выходили из домов, и, молясь Богу, причитали: что же это? Не преставление ли света? Появлялись деревенские ссоры, доходившие до драк. Иногда безлошадный мужик запрягал в сани чужого коня, или один меньше другого подвозил зерна к общему амбару. Куда-то исчезла прежняя крестьянская дружба и радость труда. Дети и подростки часто ругались и дрались между собой, меньше пели девчонки, и стал замолкать голос гармошки, хотя гармонистов в дерев-



не было немало. Зима и начало 1930 года в деревне прошли спокойно. Я уже ходил в школу за полторы версты в деревню Тчаниково. Школа была в пятистенном доме зажиточного мужика Фильки Пугаря, который тоже, как и многие другие, перед организацией коммуны уехал Бог знает куда. Ребятишки и девчонки ходили в школу из шести деревень. Верхняя одежда: шапка, зипун — сшиты из овечьих овчин, рубашка, штаны — из сурового домотканого холста и покрашены черной и синей краской. Валеночки имели не все дети, остальные носили лапти и портяночки, обмотанные веревочками из липовой коры. Да и взрослые деревенские одевались небогато, для праздников хранилась одна рубаха и штаны, а в обыденную рабочую пору носили всякую одежду, даже сплошь штопанную заплатками. У каждого школьника была сшита сумка из холста на ляпочке через плечо. Туда укладывали тетрадки, кусок хлеба и две-три картофелины и четушку молока — это провизия на обед. В деревне нам в столовой приходилось поесть только вечером, да и то после того, как поужинают взрослые...

Весна 1930 года была ранней, во второй половине марта снег убывал с невероятной быстротой, днями солнце так пригревало, что пришлось убирать остатки снега с крыш домов и других построек деревянными лопатами. В начале апреля, кажется, 11 или 13 числа, ожидали праздник — Пасху. В праздничные дни готовили что-нибудь вкусное из еды и обязательно варили яички куриные в луковых перьях в чугушке, тогда они получались светло- и темно-коричневые, а иногда с крапинками — это большая радость ребятишкам.

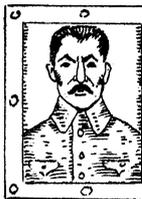
Однажды утром я проснулся, а на улице шум, крики, мычание коров, бляение овец и еще что-то непонятное. Мы, дети, выбежали на улицу из дома и сначала не поняли, что случилось. Люди — мужчины, женщины, подростки — разгоняли коров, телок, овец по своим дворам. “Коммуна распалась!” — кричали все и тащили к своему дому кто сани, кто хомут, кто вел своего коня, приговаривая: “Будем жить по-старому! Зачем нам коммуна?” Больше двух недель мужики уточняли и распределяли сначала скот и зерно по дворам — в зависимости, кем и сколько было сдано в коммуны; потом делили сено, солому, фураж и всякую утварь — вплоть

до ложки, ножа, топора и ведра. Несколько семей в деревне от коммуны не получили ничего — ведь они ничего туда и не сдавали, а прокормились всю зиму справно.

Уполномоченные из района и сельсовета снова определяли на каждое хозяйство налоги сдачи государству хлеба, молока, мяса. Шли разговоры, мол, коммуна распалась из-за кулаков. Кулаки идут против советской власти, их надо ликвидировать как класс. В газетах сообщалось, что где-то организуют колхозы — и это главная линия коллективизации сельского хозяйства. После встряски, которую дала коммуна, мужики снова по единоличному способу с ранней весны готовились к севу хлебов. В полях все полоски были пройдены каждым хозяином, поставлены в борозды тычки с “пятном” (знаком), присвоенным семье жителя деревни по родству из старины.

В душе радовались развалу коммуны, которая не обещала хорошей жизни крестьянину. По талому снегу на лошадках, запряженных в сани, мужики старались как можно больше вывезти навоза, каждый на свои полоски земли. Деревенские люди снова вставали с восходом солнца и любую работу выполняли с необыкновенным прилежанием. Дети бросали школу и помогали в работах семьям. Стали забываться обиды, но жизнь каждой семьи проходила по-разному. У некоторых мужиков не было ни зернышка, чтобы обсеять землю, и они пошли в “заем” к тем, кто не вступал в коммуны. В каждом доме с любовью ухаживали и за скотиной, ведь она стала своя, а не общая. За лошадкой уход был особый, на хорошем коне держалось все хозяйство в исправности. Посадку картофеля и все полевые работы закончили рано — до Троицы. Однако в полях после сева можно было встретить и незаезженную, пустовавшую полоску земли, о чем раньше грешно было и подумать...

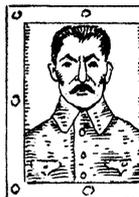
Престольный праздник, Троицын день, встречали по-праздничному, ждали гостей, больших разговоров, готовили вкусную еду. В шести верстах от деревни, на разъезде Новый, на железной дороге строили лесопункт. В длинных деревянных бараках, обнесенных забором, жили и работали “высланцы”, как их называли в деревне. Эти люди заготавливали лес, тесали шпалы и грузили их в вагоны. На подвозку



шпал стали назначать мужиков с лошадами из ближних деревень по разнарядке из сельсовета. За зиму надо было выработать 40 трудонорм каждому мужику, направляемому туда. А направляли в основном тех, у кого лошадка упитанна, да и сам мужик справный. В народе пошел разговор, да и газеты писали, что в стране идет сплошная коллективизация, деревня объединяется в колхозы. Привезут, мол, трактора, косилки, молотилки и другие машины.

Осень 1932 года памятна всем, кто жил в это время в деревне. Приехали уполномоченные из района и сельсовета, собрания жителей деревни собирали с раннего вечера и при керосиновой лампе просиживали до утра. Предлагали организовать колхоз, в который входили бы три деревни: Скрябино, Грибачево, Тчаниково. Согласие записаться в колхоз дали 5–6 людей, которые и так жили, как говорят, из кулика в рогожку. Более толковые и трезвые мужики убеждали, что коммуна доказала, что это путь неправильный, а колхоз почти то же самое. Время шло, наши деревенские не записывались в колхоз. Они говорили, что будем платить налоги, сдавать государству хлеб, мясо, молоко: не нужно отбирать у мужика землю, скотину, инвентарь. Но в районе к концу 1932 года уже организовали несколько колхозов с названием “Свобода”, “Восход”, “Имени Молотова”, “Красная Звезда” и другие. Это все описывалось в листовках и в районной газете “Знамя Севера”, которая стала выходить с 1 января 1932 года. Стали искать виновников, кто саботирует организацию колхоза. В одну из зимних ночей из деревни вывезли две семьи на станцию Пинюг и отправили в вагонах на север. После таких мер собрания пошли сдержаннее, в большинстве случаев молчком. Люди говорили: “Язык иногда враг. Зачем Мише Митькину и Ване Петину понадобилось кричать на собраниях? Нашли себе дорогу на север”. На одно из собраний уполномоченные привезли мужиков из деревень Грибачево и Тчаниково, которые сказали, что жители их деревень записались в колхоз. Один за другим под выкрики и плач баб мужики, подписывая согласие войти в колхоз, подходили к столу, где сидели уполномоченные власти. Общее собрание жителей трех деревень происходило в Тчаниково в доме школы. Организованный колхоз на-

звали “Комбайн”. Председателя привезли из прихода Михаила Архангела Савина Михаила Офремовича, мужика лет 45. Контору определили в этой же деревне. Наметили строительство скотного двора для коров, телятника, склада под зерно и других нужных хозяйству построек. В каждой из деревень остались хозяйства, которые категорически отказались от вступления в колхоз. В нашей деревне таких было четыре хозяйства. Через года два их “затвердили” — определили каждому налог сдачи хлеба, мяса, молока, который они выполнить не могли, и все их пожитки сдали на торги с молотка (как кулаков), а самих вывезли на другие поселения».



Коллективизация привела к разгрому устоев русской деревни. Вспоминает студентка пединститута того времени: «Летом была два месяца на практике в селе Старая Тушка. В 1930 году не стало там загонов для коров за рекой, коровы были обобществлены, народ стал другой. На полях, на жатве можно было слышать похабщину даже от женщин. Был разгромлен старинный кирпичный завод, закрыты частная типография, печатавшая старорусские и старообрядческие книги, иконописная мастерская. Раньше семьи были патриархальные. Старший всегда почитался глава до конца жизни. С уважением относились друг к другу. Пойдешь в лес по ягоды, грибы, орехи — устанешь, присядешь у деревни. Из чужого дома позовут, угощать станут, хотя не знают. Постороннего человека нужно встретить, обогреть, накормить — и это норма жизни. Гадали часто на праздники. В Крещение в любой мороз девушка в кокошнике, в сарафане, девки шли к реке, к проруби с песнями, брали “святую воду” и заготавливали на целый год. Ничего этого не стало» (А. А. Жуйкова). Многие верующие считали колхоз делом дьявольским, нечистым. «В 1935 году у нас коллективизация проходила. Отец в колхоз записался, меня записал. А мама нет. Все мне говорила: “Ой, ведь ты в аду будешь”. Тогда ведь считалось, что колхоз — это грешно» (Н. И. Трушкова, 1920).



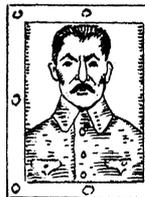
Распад многих сот тысяч семей в годы коллективизации — это трагедия миллионов разом осиротевших детей. Вот рассказ Л. У. Даниленко (1924): «Да, о коллективизации я могу многое рассказать. Этого просто никогда не забыть мне, если даже хотелось бы. Неизвестно, как бы я жила сей-

час, если бы не это. Мне было четыре года, когда нас раскулачили. Это был 28-й год. Семья была большая у нас: мать, отец, бабушка, дед и пятеро детей. Самому старшему 12 лет было. Дом имели большой, две коровы, лошадь. Не было у нас никакого наемного труда, работать просто хорошо умели. А мать еще болела сильно очень. А тут только ночь начинается, все дрожат, зубами стучат. Я не знаю, но к нам несколько ночей подряд приходили какие-то, что-то искали. Громко разговаривали. Отец пропал куда-то, как в воду канул. Потом-то я уж поняла — скрывался он. Мать в тот же день, как выгнали нас из дома своего, умерла. Бабушка умерла через два года. Дед-то мой еще до революции приказчиком был у лесопромышленника. Так его, конечно, за кулака и посчитали, сослали в Лесное, нас, пятерых детей, разобрали всех добрые люди. Пришлось столько унижений всяких проделывать, чтобы на всю жизнь клейма не осталось, что кулацкий ребенок. Но жили все мы хорошо, все получили высшее образование, хотя в результате у всех разные отчества. А отец мой объявился потом через несколько лет уже, он повесился».

«У нас раскулачивали всех, у кого были корова и лошадь. Обкладывали твердым заданием. У меня отца тоже посчитали за богача и отправили с матерью по разным местам на лесозаготовки, а нас, шестерых детей маленьких, оставили дома со стариком. Сталина раньше здорово одобряли. Портреты в комнатах висели. Я и сейчас к нему хорошо отношусь» (А. Н. Видякина, 1913).

До 1937 года многие тысячи крестьян, оказавшиеся между молотом и наковальней, не посаженные, но лишенные всех человеческих прав (в том числе и права на труд), были постоянно на мушке. «Завели нас в колхоз, потом выгнали, как негодных элементов. В 1929 году было три колхоза: “Хлебороб”, “Искра” и “Партизан”. Самый бедный был “Искра”, посильнее “Партизан”, самый сильный “Хлебороб”. Беднякам землю дали близко, “Партизану” похуже, а нашему “Хлеборобу” землю дали дальнюю залежь. Поехала комиссия по полям, признала нашего “Хлебороба” лучше всех хлеб. Приехали оттуда и порешили нас всех выдворить из колхоза за то, что хорошо отработали в поле...

В августе приехал вербовщик из Первоуральска и завербовал на завод. Я работала там зольщицей, трубы прокатывала. Отец работал на Трубстрое плотником. Потом отец вызвал и мать на Трубстрой. Потом пришла справка, что его берут в колхоз. Он уехал в деревню и вступил в колхоз. Потом снова выгнали как кулака, не давали документы и никуда не принимали. Они уходили с матерью в поисках куска хлеба, а дети дома были одни. Так было до принятия Конституции СССР 1936 года. После этого их приняли в колхоз и дали в 1937 году на трудодень по 32 килограмма зерна, за 1938 год — по 16 килограммов на трудодень, а потом все хуже и хуже» (А. Ф. Шмелева, 1915).



Все зло мужики видели в конкретных лицах, организовавших колхоз у них. Грамотных в деревнях было немного, поэтому все мало-мальски грамотные люди обязаны были участвовать в организации колхоза. «Я в то время уже работала, считалась грамотной на селе, поэтому ходила агитировать на собраниях. Уговаривала, а то, мол, “твердое задание” дадут, с которым не справиться. Ходила по домам, когда описывали имущество. Я писала. Помню один случай. Пришли как-то описывать, а описывать-то нечего. Старик взял с заборки весы, да об пол. Я тихонько ушла. Неловко было перед человеком. В деревне Исакове было много кулаков. Эта деревня долго была против колхозов. Приехали в Исаково. Я, еще одна учительница и партиец-уполномоченный. Сидели всю ночь на собрании, все агитировали. После собрания пошли домой. А тут река и огороды рядом. У уполномоченного был фонарь электрический. Он как осветит туда, видны стали согнутые две или три фигуры, по огороду бежали вперед. Нам нужно было пройти через перелесочек. Уполномоченный держал их на фонарике, пока мы бежали до перелеска. Так он их задержал. А мы прибежали ко мне домой. Зажгли лампу. Если бы не уполномоченный, они бы с нами разделались. Богатая эта деревня была, уж очень много в ней кулаков было» (В. А. Ведерникова, 1911, учитель).



«У нас в доме жил уполномоченный по колхозам. Однажды он пришел весь замерзший. Бабушка напоила его чаем с малиной, положила ему на кровать еще один самодельный матрас, набитый сеном. А кровать стояла у окна. Но-

чью стреляли. Настолько все точно вымеряли, что если бы не матрас, то наш жилец погиб бы. А так — пуля застряла в матрасе. Помню, кулаков выселяли — и тут же продавали их имущество за бесценок. Помнится, отец купил мне тогда шелковый шарф за 15 копеек, а брату бостоновый костюм за рубль. Сколько было слез, крику! Среди них были люди и хорошие. Они своим честным трудом все нажили. К кулакам пристегнули и середняков — и всех выселили» (В. Ф. Губанова, 1919).

М. Р. Новиков (1911): «Раскулачивали всех подряд... Был в деревне Степан, у него даже лошади не было, он на жене пахал — тоже раскулачили. Все труженики, но все врагами оказались. Еще в деревне семья была: бабка с внуками, не шли в колхоз, так у них окна выбили, дверь с петель сняли, все, что можно, отобрали. Бабка лежит на печи под тулупом и плачет от бессилия, а внуки — от страха».

Власти умело разобсали слои крестьянства. На смену прежней иерархии внутридеревенских отношений пришла новая. Вот любопытный эпизод: «Когда я киномехаником был, помню приеду в село Караул фильм крутить, так они больше на меня смотрят, чем на кино. Говорят: “Как человек живые картинки делает?” Но мы себя выше не считали. Помню, билеты продавали на показ в кино: беднякам по 5 копеек, середнякам — по 10 копеек, подкулачникам — по 15, а кулакам — по 20 копеек. А на входе стоял член сельсовета и говорил, кому за сколько билет продавать. В каждой деревне был выборной член сельсовета. У них даже был опознавательный знак».

Есть, однако, рассказы и о том, как вся деревня выступала против раскулачивания: «Везем мы полную телегу раскулаченных, уж поздно вечером, а мужики из отряда самообороны того села нам дорогу загородили. “Оставляйте их дома”, — говорят. Да все с ружьями. Думали уж — все, да как-то уломали их» (А. Ф. Каманин).

Несмотря на чудовищную жестокость и свирепые гонения, многие раскулаченные сумели остаться людьми, не озлобились, тянулись душой к родной земле, в которой у них были такие прочные корни. Т. А. Буторина (1907) как раз из таких людей: «В 30-е годы нас лишили голосу ни за что. Соч-

ли нас за кулаков. Стали накладывать большие платежи, не под силу нам это было, сделали опись, дом у нас продали, имущество все увезли. Когда выгоняли из дома, люльку с ребенком выбросили на улицу и соседа показали, чтоб нас никто не пускал, а если кто пустит, то и с ними так же поступят. Кто выгонял — не знаю, коммунисты или кто другие, до сих пор не знаю. Нам было некуда деваться. В это самое время приехал вербовщик. Мы завербовались в город Уфу на строительство железной дороги. Жили на квартире, работали примерно около года, я очень стала тосковать о сыне, которого оставила у мамы. Мы снова приехали в свое родное место, увидели, что наш дом еще стоит, и мы с мужем ходили в сельсовет, стали упрашивать, чтоб нам его отдали обратно. Пришлось нам свой дом за большие деньги брать. Так и жили, звали нас лишенцами, но мы не обращали внимания, жили, работали, старались, опять помаленьку обживались и налоги платили непосильные, а куда деваться было — всю жизнь не будешь скрываться. А соседа одного так же раскулачили, ему некуда было деваться, так он повесился на березке. Золовка у меня жила в селе Крымыже, двор у них продали, лошадь взяли, послали на лесозаготовку, лошадь там у них пропала. А было у них четверо детей, все забрали. Детей кормить было нечем. Муж от такого переживания задавился».

Многие раскулаченные перед арестом, ссылкой передавали часть чудом сохраненного имущества родне, соседям, прятали имевшиеся в семьях ценности. Земля, как в годы великих смут и войн, принимала на хранение все. Затем их ждала дорога на Север, в Сибирь, Казахстан. Наиболее трудолюбивую и работающую часть русского крестьянства уничтожали сознательно. Целенаправленно и с бессмысленной жестокостью.

Вот свидетельство А. А. Феофановой (1918) из семьи спецпереселенцев: «Отец мой на чужой земле захоронен, там и мать. В тех местах, куда отправляли кулаков, до двадцать девятого не было никакой жизни: ни поселений, ни дорог. Для ссыльных прорубили просеку. Старики слабели, оставались среди леса помирать. Бабы рожали, оставались. На семью одна лошадь полагалась. На саях — пожитки. А са-



ми шли пешком за санями. Вот и слабели. Переселялись зимой (летом здесь была хлябь и трясины — не пройти). Было и так: по весне или летом кто-то из ссыльных бежал с болот. Но, не зная дороги, будешь по тайге шарашиться, пока не сгинешь. Нанимали проводников — из местных, из охотников. Отдавали все, только выведи. А те обдирали да и бросали в болотах. И кто им был за это судья? Ведь не просто человека погубил, а кулака... Много, очень много погибало. Это было очень жуткое зрелище. Я до сих пор не могу вспомнить о нашем тогдашнем существовании без слез на глазах».

Величайшей трагедией, вызванной коллективизацией, был голод начала 30-х годов, от которого обезлюдели целые регионы Поволжья, юга России, Украины. Вот лишь одно свидетельство (А. И. Никонова, 1908): «Мы середняками считались, корова, лошадь, куры были. В колхоз не хотели. А пришли из правления, сказали: “Не вступите, по миру пойдете, вышлем как кулаков!” Дед покойный злиться стал, но мы его всей семьей успокоили. Всю ночь не спали, а утром голытьба пришла, все переписали, чтоб, значит, ничего не утаили. А через неделю мы и вступили в колхоз. Много таких семей, как мы, были. В колхозе вся голытьба была, ничего они не делали: не пахали, не косили — пьяные ходили. А когда мы надел свой вскопали, да и другие тоже, тогда и загнали в колхоз. Но потом прислали из района к нам председателя, умный мужик был — Тимофей Тимофеевич. Тогда он колхоз из пьянки стал вытягивать. Всех пьянчуг из правления и бригадиров выгнал, хозяев назначил настоящих. И хлеб у нас появился настоящий, и люди стали работать больше, разрешили домашнюю скотину держать. Теперь все с охотой работали, но недолго он пробыл у нас. Говорили, убили, когда с кручи упал. Да мы так покумекали и решили, что Даниловы его убили, сильно прижал он их. Тогда мы и написали письмо в район, чтобы выселили их от нас. Дед повез его в район, через пяток вернулся и говорит: “Сказали в районе, чтоб хлеб готовили, весь забирать будут. Бабы, готовьте грибы, травы, все, что можно”.

Он тогда за председателя остался. А вскоре и подводы пришли хлеб увозить. Весь забрали, подчистую. Бабы голосили, мужики сидят, кто стоит — сигарки крутят. Дети при-

тихли, поняли, что смерть идет. Осенью поздней картошку тоже забрали. Зиму мы еще пережили, а весной пухнуть стали. Малые кричат, хлеба просят. А я сама еле на ногах стою, шатает, и их уговариваю. Тогда весной 33-го года умерли Галя, Митя, Степка. Жальче всех было Степку, безобидный малый был, ласковый, тихий. И умер тихо. Живот вздулся, посинел весь, голова как шар на ниточке, все жилки видны: и умер.

Дед в город снова ходил, ехать уже не на чем было, всю животину съели. Собак, кошек — и тех поели. С месяц его не было. Вернулся, сказал, что в городе хлеб по карточкам дают. 700 грамм на рабочего, а в колхоз скоро пришлют зерно. А люди умирали, дети и старики сперва, потом мужики. Бабы выносливее оказались. Из 500 человек, которые жили, осталось 15 дворов... Хлеб привезли, а вокруг мертвые».

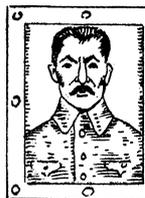
В народном сознании сегодня так или иначе оценивается весь путь русской деревни, начиная с нэпа. Есть защитники колхозов и коллективизации (их меньшинство), есть противники. Вот характерный рассказ: «Сталин весь народ разорил. Если бы крестьянство не разорили, то Россия была бы сейчас самая богатая. Ведь народ был работающий. Всю деревню разорили, дворы пообломали. Самых тружеников сослали в Сибирь. Те, кто похуже работал, остались. Земля была пустая целыми пашнями, а сеять запрещалось. Когда землю после революции отдали, народ начал хорошо жить. А потом все раскулачили. Всю Россию разорили этими колхозами» (Н. С. Куршакова, 1919).

И все-таки к середине 30-х годов колхозы были созданы по всей России. Они стали своеобразной формой тотального контроля над всеми сферами жизни мужика.

### Глава 3

#### Колхозная держава

Оглядываясь назад, старики понимают, что вся политика советской власти начиная с 1917 года неизбежно вела к колхозам. Мимо них ей дороги не было. Е. С. Окулова (1904) вспоминает: «Мне было тринадцать годов от роду, как

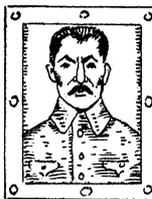


приехали в нашу деревню человек десять на конях. Собрали нас всей деревней и объявили власть советскую, царя, говорят, у вас не будет больше, а будет народ всем править. В селе нашем соседнем церковь закрыли. Поставили в сельсовете над нами главного. Собрал он сходку и объявил, что мы должны сдать весь свой хлеб, себе оставить, только чтоб с голоду не помереть, в городе, мол, голодно. Что же нам было делать? И жалко, ведь хлебушек-то своим трудом заработали. И не отдать нельзя, коль люди голодом маются там. Вот и повезли все мешками в общий амбар. Себе почти ничего не осталось. Потом председатель сельсовета, да еще помощник у него был, ходили по всем дворам смотрели, нет ли еще у кого лишнего. Нашли у Пантелея двадцать с лишним пудов, чуть всю душу из него не вытряхнули. На другой сходке на всю деревню объявили его врагом революции. И так каждый год было. Мы урожай растили, собирали, а потом у нас почти все увозили, под весну иной год и голодом маялись.

Потом наступила для нас отдушинка. Норму установили — налогом называлась. Забирали от нас эту норму, а остальное при нас оставляли. Ну и стали мы снова жить в некотором достатке. Смолоду была я здоровая, сильная была, могла сразу два мешка с зерном под пазухи ухватить. Вот и присмотрел меня молодец на мельнице из соседней деревни. Свадьбу сыграли. Было мне тогда 22 года. Вот и зажили мы своим хозяйством. Да тут коллективизацию объявили. Поотбирали у нас коровушек, да лошадушек, да другую скотинушку, и нас вместе с ними в колхоз согнали. А для себя оставили нам по 40 соток на семью и разрешили иметь по одной коровушке».

Почти все накопленное поколениями добро (живность, сельхозинвентарь) крестьянин обязан был сдать в колхоз, а также всю землю, кроме маленького приусадебного участка, в 40—50 соток. Мало того, в конце концов оказалось, что крестьянин в колхозе трудится почти бесплатно на государство, а кормиться должен со своего маленького участка. И. А. Морозов рассуждает: «При создании сельхозартелей обобществлялись лошади со сбруей и инвентарем, необходимым для обработки почвы и посева: плуги, бороны, сеялки, молотилки, приводы, веялки. телеги, кошев-

ки, сани, дроги. Конные двory рубились быстро, ибо были еще умельцы, Ставились общие колхозные гумна. Работников было много. Казалось бы, жизнь должна пойти на лад. Но этого не вышло. Во-первых, отношение к обобществленной собственности оказалось неважным: не мое, колхозное, беречь нечего; во-вторых, организация труда не поощряла усердия: господствовало уравнительное распределение дохода, независимо от количества и качества труда; в-третьих, после перехода на трудодни обнаружилось, что государство обирает тружеников земли. В иные годы на трудодень попадало 200—500 грамм зерна, кое-когда доставалась картошка, репа, горох, но всего понемногу. Выручало лишь приусадебное хозяйство да какое-нибудь ремесло».



Колхозы были своеобразной реставрацией крепостного права в России, причем в форме наихудшей, близкой к аракчеевским военным поселениям. Это была изнурительная бесплатная работа на государство. Освободиться от нее в 1930-е годы (отойти в сторону) было почти невозможно. Е. Т. Дорохова (1912) рассказывает: «Сперва-то насильно в колхоз никто не хотел идти. Где лучше жилось? Да кто знает. Постановили, что в колхозе лучше. А кто постановил, черт его знает. В колхозе-то нас сперва с гармошкой возили, а потом зажали в бараний рог. На трудодни-то ничего не давали. Хлеб и семена выгребали все подчистую. Работой нас надсадили. День и ночь были на полях. Утром рано, чуть свет, идешь на поле. А вечером придешь — темно, ничего не видать, ходишь, шарисься по ночи. Потом молотба пойдет. День и ночь молотишь. На неделю увезут в поля, там и спишь. В баню только отпускают вымыться. Да и опять на поле».



Между тем энтузиазм первых лет колхозов, задор совместного труда — это не выдумки, а реальность. Коллективный труд однодеревенцев и впрямь был весел и радостен. Умело поощрялось соревнование. В. С. Созинова (1919): «В деревне у нас решили: колхоз так колхоз, что же делать. Надо работать и работали. В деревне было шестнадцать домов, один председатель, один бригадир и все. Все жители разделились на две бригады: “челюскинцы” и “буденновцы”. Между ними было как бы соревнование. На бумаге они никаких до-

говоров не писали, а работу сравнивали. Работали от зари до зари, в летний период — весь световой день. Вот взять, к примеру, сенокос, заготовку кормов. Утром, как только рассветет, идут косить. Хозяйки оставались дома готовить завтрак и выгонять скот в поле. После косьбы семья возвращалась на завтрак. Если погода стояла хорошая, солнечная, то после завтрака гребли сено и метали стога. Обедали в поле, стогометание продолжалось до самого вечера. Хозяйки немного пораньше уходили домой, чтобы приготовить еду и пустить скот. Когда возвращались с поля домой, “буденновцы” и “челюскинцы” сравнивали свою работу: кто сколько сделал, качество работы, количество.

Косили так чисто, как брили. Наряду с деловыми разговорами были шутки-прибаутки, которые поднимали настроение. Утром каждая бригада старалась первой уйти на работу. У “буденновцев” был вожак Иван Петрович. Он ставил скамейку к окну и спал на ней, для того чтобы, как только займется заря, выйти на работу со своей бригадой. Другой бригадир тоже не дремал, старался еще раньше выйти. По этому поводу шуток было очень много».

Это доброе, радостное и уважительное отношение к труду, радостная атмосфера работы, увы, сохранили в лучшем случае до войны. Разрушить ее оказалось несложно, восстановить — практически невозможно. Между тем наивных чистосердечных крестьян радовали малейшие знаки внимания и отличия. А они в первые годы колхозов еще были. «По первости-то кое-какие привилегии были там. В уборочную, помню, снопы вязали. Норма-то была 400 снопов. Но с каждым годом разные были, то 600, то 700 снопов. А я-то самое большее за день — 1200 снопов навязывала. Жатки косили, а мы снопы вязали. Работали-то тогда много, рук своих не жалели. Вот мы там с одной вязали. До обеда норму навязжем, и нас везут на жеребце с гармошкой, с весельем. Почетом считалось. Премии тогда за работу давали. Материал там, галоши, из тряпок такое. Мне платок дали. Вот так и работали, не жалели себя» (Е. Т. Дорохова).

Колхозы, по сути своей, стали средством использования бесплатного крестьянского труда, органами принуждения и перекачки всей продукции села государству. Сколько

и по какой цене забрать хлеба, мяса, молока и прочего — решал покупатель, то есть государство. Продавец был не просто бесправен, он еще и обязан был подчиняться малейшему жесту и указанию грозного покупателя, приказывавшего, что, когда, где и сколько выращивать и сдавать. Названия большинства колхозов были идеологически выдержанными, советскими. Как правило, они назывались именами больших и малых вождей той эпохи, канонизированных большевиков, героев революции и гражданской войны; часты были названия в честь съездов (особенно популярны съезды, начиная с шестнадцатого, особенно же семнадцатый партсъезд, бывший в 1934 году), пятилеток; постоянно в названиях встречаются слова «социализм» и «новый» в различных сочетаниях — «Ключ к социализму», «Путь к социализму», «Маяк социализма», «Новый быт», «Новая жизнь» и т. д. Названий, образованных от наименования села, было мало.

Практически весь труд крестьян в 1930-е годы оставался ручным. Трактора играли скорее агитационно-пропагандистскую роль — в подавляющем большинстве колхозов тракторов и в глаза не видели. И тем не менее трактористы стали почетными и уважаемыми людьми на селе. Мальчишки и молодые парни хотели быть только трактористами.

Традиции доколхозной крестьянской демократии в 1930-е годы еще кое-где ощущались. А. Я. Двинских: «Конечно, были у нас в колхозе сходы, собрания. И назначались десятники, которые говорили всем и кричали: “Все на собрание!” Десятники назначались на каждую неделю. Вот сегодня этот дом, потом второй, третий и т. д. Собрания собирали на площади. Вот как соберутся и начинают обсуждать. Член сельсовета у нас был Иван Григорьевич, он все и поясняет. Газету возьмут, обсуждают эту или другую статейку, решения правительства обсуждают, высказывают свои мнения: это правильно, это неправильно».

Куда чаще, однако, председатель колхоза таких вольностей не допускал и лично разъяснял политическую ситуацию в стране и мире. Е. П. Попова (1907) рассказывает: «Около церкви построили деревянный дом из бруска. Там и проводились собрания. Позже там даже и фильмы немые показывали. Конечно, на собраниях главным был председатель



колхоза. Иногда приезжали из района. Председатель рассказывал, как идет жизнь в стране, что нового сделали, что построили. Все с изумлением слушали».

Председатель, бригадир — стали важными фигурами во внутридеревенской иерархии. От них зависело очень многое в жизни крестьянина (где и сколько работать, что получать в конце года), и подчинение, повиновение им было чаще всего беспрекословным. Традиции мирского схода уходили в прошлое, насаждалась военно-командная структура управления деревней. Очень много зависело от характера такого рода начальника: были люди доброжелательные, совестливые, честные (вспоминается рассказ, как один председатель колхоза пахал в войну, впрягшись в плуг вместе с бабами), были злые, жестокие, беспринципные. Последним, как вы понимаете, удержаться на должности было легче.

Сельсоветы были оттеснены колхозной властью в сторону и более выполняли функции фискально-податные: сбор средств, налогов, недоимок, подписка на займы, распределение различного рода трудовых повинностей — например, гужевой, лесозаготовок в войну, призыва в армию, выкачивания молодежи в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и т. д.

При этом на внутриколхозную структуру наложились патриархальные отношения. Рассказывает Т. К. Напольских (1916): «Бригадир был свой деревенский и председатель деревенский. Мы ведь, как ножа, их боялись. Слово поперек бригадиру не могли сказать». Н. Д. Кочурова (1916) вспоминает частушку:

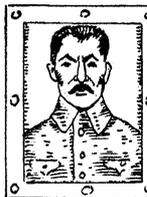
Хорошо живется тому,  
Бригадир кому родня.  
Хоть работай, не работай,  
Все четыре трудодня.

Дело в том, что учет количества трудодней был всецело во власти бригадира.

Очень часто долго находившийся на председательской должности человек формировался в своеобразного вождя местного масштаба, подчинение которому было беспре-

кословным — ведь в его власти были жизнь и смерть, работа и хлеб простого крестьянина. Е. П. Гребенкина (1911): «До 50-го года чистого хлеба не едали. А председатель колхоза тогда у нас был Сторков. Хуже диктатора. Издевался над людьми... Старушку, уж едва жива, а работать заставляет».

Колхозники быстро научились при новых начальниках держать рот на замке, ведь любое слово могло привести к большой беде. К. П. Городилова (1920): «Вот местную власть все боялись. Не скажи им ничего поперек слова — сразу посадят, и все».



Великий страх держал за горло и самих председателей. Они постоянно ходили по лезвию ножа. Их жизнь тоже была в опасности. Н. Н. Коснырева (1920) рассказывает о несчастной судьбе своего отца: «Тятя в 1939 году повесился. Уборка хлеба была в самом разгаре. Мама пошла подавать колоски, что выпали с телеги. Телега уехала, а мама идет по полю вслед за ней и в фартук собирает колосья. Встретила избача (библиотекарь по-нашему) из сельсовета, тот с Лидой, сестрой моей, дружил. Он спрашивает: “Куда колосья несешь?” Мама отвечала: “Есть буду”. В шутку сказала — колосьев-то на 800 граммов было. Но не смогла доказать она своей правоты в сельсовете. Всю ночь дома ругались родители — не нужно было так шутить: теперь могли выслать, или еще хуже, ведь тятя был председателем колхоза. Наутро он перешел через реку и на сосне повесился. Его брат шел из Юрьи лесом, вышел на тятю, хотел снять его с дерева, да тот уже окостенел».



В этой трудной, злой жизни многим удавалось остаться людьми — добрыми и трудолюбивыми. «Трудной была работа в колхозе. День жнешь, ночь молотишь, утром в заготовку едем зерно сдавать. Утром рано да вечером поздно работали на своих усадьбах. В колхозе-то работали за трудодни. Платили мало, а на трудодни ничего не доставалось. Давали совсем немного картошки да зерна. Трудодни были пустые, считали их только на бумаге. Я трудодни-то людям отмечала. Когда соломы на них дадут — и то хорошо. А война началась, совсем ничего давать не стали. Наш колхоз был бедным и заготовку не выполнял. Совсем ничего колхозникам не доставалось... Землю все любили. Как же землю не лю-

бить? Земля — кормилица. Люди трудолюбивые, честные, справедливые и добрые были образцом для соседей. Помню, рядом с нами жила семья Чайкиных. Хозяин был посажен в тюрьму за то, что был председателем колхоза, выдавал колхозникам весной из колхозного склада понемногу муки. Своего-то зерна у нас до Рождества не хватало. Все его жалели, но он так и умер в тюрьме. Дома осталась жена с пятью детьми» (Е. К. Просвирякова, 1908).

Но бывало и иначе. «В колхозе работали, начальник Вася был, до того работали — с голоду умирали. Хлеба не давал. Настя, сестренница моя, ездила на мельницу на санях. Смоллола муку и умерла на мешках от голода, когда ехала обратно... Потом председателем был Зорин Серега. Жил он хорошо. У него сестра Дуня жила эдак же хорошо. Она не едала травы. Все хлебушко ели. Она командовала нами, на работу назначала. В войну продавала мед, легко ей жилось. Анюта Мишиха тоже хорошо жила, травы тоже не едала. Остальные жили неважно, больно бедно: хлеба не хватало, траву ели» (М. Ф. Новоселова, 1911).

Давление на колхозное начальство из района было очень жестким, угрозы пустыми не были — они легко претворялись в жизнь. «В 1944 году меня в военкомат вызвали, заставили меня управляющим скотобазой работать. А я не соглашалась. Села я к окну и давай реветь. А мне говорят “Если не примешь базу, отправим на фронт”. А мне ребят своих жалко было, вот и пришлось принимать контору. В мясотресте у нас было сколь совхозов, дак все мужики были посажены — это “ежовщиной” тогда называлось» (К. А. Рогалева, 1915).

«Работал я секретарем райкома партии в одном сельском районе. В войну, уходя на работу, не знал — вернусь или нет домой. Чемоданчик дома в углу стоял со сменой белья: если арестуют, чтобы не мешкать» (К. А. Каманин, 1908).

Недоброе, подозрительное отношение людей друг к другу культивировалось. Появилось множество «бескорыстных» доносчиков — из злобы, зависти, вражды. «Мой отец был председателем колхоза. Вот в конце августа сожнут хлеб. Отец часть отдаст государству, часть колхозникам. А некоторые возьмут да и нажалуются в райсовет на него за то, что весь хлеб не сдал государству. Ведь тогда весь хлеб забирали,

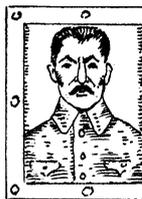
а он старался, чтобы колхозники тоже были сыты. Люди голодные не могут работать, вот поэтому он и давал. Вот были такие люди, доносили друг на дружку — просто злоба была такая» (Н. Ф. Шалаева, 1922).

Местные власти были обязаны выколачивать из крестьян налоги, загонять в колхоз, заставлять бесплатно трудиться. И каким бы золотым ни был человек на этом посту, отношение к нему было как к гнету, что постоянно давит на людей. Вот характерное высказывание: «К местной власти относились негативно, потому что всегда гнули налоги и всегда платить было нечем» (В. И. Федоров, 1915).

Имеющиеся у меня записи крестьянских рассказов конца 1960-х годов (в отличие от записей конца 1980-х годов) любопытны тем, что рисуют доколхозную жизнь только черными красками, а колхозную — только в розовых тонах. Очевидно, это влияние идеологических установок того времени, массовой пропаганды, цензуры. Давайте внимательно вчитаемся в одну запись 1968 года, сделанную для музея образцового колхоза-миллионера «Красный Октябрь» (Кировская область). Эмоционально-романтизированный стиль рассказа очень характерен. Вспоминает А. Ф. Попова (1895):

«А жили мы так бедно, что и описать-то эту бедность слов теперь не сыщешь, запоматовал их наш народ. Всяко мне приходилось: и милостыней питались, и за кусок хлеба в няньках служила, и у кулаков на чужой стороне батрачила. Отец, покойник Феофан Родионович, человек был строгих правил, редкого трудолюбия. Да, видно, уж такая ему выпала доля — никак не мог выбиться хотя бы к маломальской жизни. Бывало, осерчает старик, скажет: “И силушку-то не жалею, с утра до ночи извожу себя работой, а как подходит Рождество — так и пусто в доме, хоть шаром покати!”

На девятнадцатом году выдали меня замуж по соседству в деревню Паутиха, и попала я в семью среднего достатка, ни бедные, ни богатые. Только горюшка я натерпелась тут еще больше. Замуж выходила, думала: “Уж очень из бедной я семьи, может, лучше будет”. Куда там! Работы у свекра — день-деньской, крутись-вертись, всего никак не переделаешь, а вдогонку тебе попреки и укоры сыплются. Года два так-то прожила — совсем плохо стало. Война началась, за-



брали моего мужа в солдаты и на германский фронт отправили. Осталась я с малыми ребятами, а свекор-батюшка мне и говорит: “Теперь, Авдотья, придется и за себя, и за мужа работать”. Света белого не взвидела от этих слов, да что поделаешь, кому пожалуешься. Впряглась.

Пара годов еще пролетела, муж воротился. Вот, думаю, опора моя вернулась, а он израненный, больной. Стала его лечить, питание кое-как поддерживать — глянь, опять ему повестка и снова на фронт. “Недолго лютовать войне, — успокаивает меня муж. — Приеду, отделимся от старика и заживем своим домом”. Ладно, если так, но вышло-то по-иному. Полгода жду, год и получаю письмо. В том письме разводная бумага. “Устраивайся, — пишет, — как знаешь: у меня своя цель в жизни”. В те поры мне двадцать четвертый годок пошел, молодая была, цветущая. Оставил меня с тремя детьми на произвол судьбы.

Выделил нас старик-свекор, поставила я избушку на курьих ножках и стала хозяйствовать. Крестьянская работа мне не в новинку, с детства всему научена, да вот беда — нет у Авдотьи ни сохи, ни бороны. Что будешь делать, как засеешь свою полоску. И стала я ходить по богатым дворам — в ноги кланяюсь, слезами обливаюсь. Кулаки, что звери лютые, милосердия на полушку нет. Посмеиваются, бывало, над бедностью твоей, ехидствуют: “Что, солдатка, пригорюнилась? Или в разводе не больно сладко живется-то?” Всю-то душеньку тебе выломают, слезами твоими досыта упьются, пока лошадь дадут. И условия — сушая кабала: день поработаешь у себя, две недели — спину не разгибая, на чужой пашне. Помню, как сейчас, заберу ребятшек — и в поле. Зной ли палит беспощадный, дождь ли хлещет, что есть силы, — деваться некуда. Взглянешь на детей — как они там, живы ли — и опять за работу принимаешься. Краюху разломишь, кваску испить дашь — вот тебе и завтрак, и обед, и ужин.

Так и маялись. За день-то, может, сотни раз обольется кровью материнское сердце, да кому что скажешь, у кого найдешь бескорыстную помощь? Созовут богатеи сход деревенский, а ты норовишь упрятаться куда-нибудь в самый дальний угол, слово боишься вымолвить — баба, кто с тобой разговаривать будет? Решат кулаки по-своему, для своей

пользы — твое дело молчок. Попробуй противиться — со света сживут. Вот ведь какие невзгоды приходилось переносить бедному люду тогда! Да, видно, есть на земле правда! Блеснуло народу солнышко, на всей России советская власть установилась, и пошла наша жизнь другим ходом. Стали заботиться, чтобы облегчить бедноте работу. Нам, женщинам, помощь наладили. В Паутихе, помню, “Сеятель” образовался. Я, никак, третьей в него записывалась. А спустя немного времени “Красный Октябрь” с предложениями пришел: давайте, говорит, сливаться. Большому кораблю — большое плаванье! И такое мы сообща пламя раздули — душа не нарадуется. Урожай год от году все больше и больше снимали, фермы заводили, машины покупали — богатеет колхоз! Много ран было в моем сердце от прежней жизни: несправедливости и обиды до срока состарили меня. И тут ровно помолодела я — никак не могу досыта наработаться. Вот, думаю, счастье где».

Думается, что в угоду времени рассказ сильно идеализирует колхозную жизнь и чересчур чернит доколхозную. Вместе с тем искренность автора в момент рассказа сомнений не вызывает. Хотя вполне возможно, что через какое-то время она могла вспомнить эти же события и под другим углом зрения (впрочем, также искренне).

Нам сегодня трудно представить себе и тот низкий уровень грамотности (грамотности, а не культуры) на селе, характерный для России 1920–1930-х годов. «В сельсоветах грамотных в 20-е годы были единицы. Самым высшим образованием считалось четыре класса. Я кончил семь классов — работал учителем. Председатель колхоза приходил к нам, ученикам третьего класса, в 30-м году и спрашивал, как вычислить площадь в гектарах. Россия в 20-е годы была лапотной страной».

«Грамотеи» были наперечет в деревнях, нередкими были случаи, когда крестьяне, чтобы написать письмо, шли в соседнюю деревню, где был грамотный человек. Человек, окончивший четыре класса, уже занимал выборные должности.

М. Ф. Бабкина (1921) вспоминает о легендарном учреждении 1920–1930-х годов — избе-читальне. Это, конечно, было



средство идеологического контроля за населением. «В деревне сплошь были неграмотные. Комсомольцы и коммунисты организовывали ликбезы, учили неграмотных взрослых. Днем все работали, а вечером учились в каком-нибудь доме. Люди старались учиться. У меня были неприятности со свекровью. Надо было прясть и ходить за скотом, а заставляли учиться. Это было по зимам. В деревне была изба-читальня. Заведовали ей избачи. Там была художественная литература, а книги религиозные были все уничтожены. Привозили из города патефон. Позднее появилось радио. Религиозную литературу люди не читали. Читать было некогда: пряли, ткали, лен мяли, трепали, чесали — времени не было свободного».

«Что было из книг в избе-читальне? Да сейчас всего-то и не упомнишь. Изба у нас была большая, а книг мало. Они прямо в стопках на столах стояли. Полок почему-то никто не делал. В основном книги были старые. Но иногда привозили из района и новые книги. Но люди больше любили и читали журналы, особенно яркие, с картинками. Очень все любили, когда привозили свежие газеты. Читали, а потом всем рассказывали, что в мире делается. Толстых книг читать было некогда, а вот маленькие брошюрки зачастую и вслух читали. На самом видном месте стояли две книги Ленина. Забыл, как называются» (А. М. Шабалин, 1910).

Управлять малограмотным населением для властей было делом несложным. Еще проще было создать видимость народовластия после сталинской Конституции 1936 года. А. Т. Дудолодова (1915) рассказывает: «Однажды в 1937 году (еще до войны) в поселке прошли выборы в депутаты. От нашего поселка было выбрано три человека, среди них была я. Выбирали то ли в городской совет, то ли в какой, уж не знаю. Водили нас на заседания в Киров на улицу Энгельса, причем от поселка и обратно приходилось ходить пешком. Заседания обычно были после работы, и на них мы сидели и слушали с интересом выступления. Так мы проходили год, а потом почему-то перестали».

Деревенские праздники (правда, не все) стали называться колхозными, но дух и задор прежнего искреннего веселья они порой сохраняли. «В праздники было очень весело. Особенно были веселые колхозные праздники. Теперь

этого веселья нет. Было много гармоней, все плясали, пели. Праздники были в Октябрьскую. Накрывали столы. Бабы стряпали, варили всякую всячину. Делали колхозную брагу на меду. Пили мало. Мужики-то иногда и падали, а бабы любили плясать, они и пили мало» (Т. И. Корякина, 1913).

Дух надежды, веры в светлое будущее питал в 1930-е годы многих, и не только в городе, но и в деревне. Вот эту атмосферу радостного ожидания, несмотря на все лишения, запомнили многие. «Тот мир был богат во всех отношениях. Тогда все было новое, все открывалось, все надеялись, ждали хорошей жизни. Все представляли, что когда-нибудь будет свободно лежать белый хлеб и все будет. А самое главное, чтобы войны не было» (Е. П. Попова).

Если 1920-е годы людям помнятся изобилием всевозможных кустарных мастерских, лавочек, где можно было одеться, если есть деньги, то 1930-е годы — это совершенная пустыня в этом отношении, почти полное отсутствие каких-либо промышленных товаров для населения. Миллионам людей буквально нечего было одеть и обуть. Рассказов об этом множество. Вот два из них. П. И. Редникова (1925): «Я вот у мамы пальто попросила. Она мне сказала: сними с меня кожу и шей пальто, где я тебе возьму-то? У всех одинаковая одежда была: ситец в колхозах давали. Все одинаковые, как гуси, нарядаются. А у мужа-то тоже ничего не было: рубаху-то мама ему из юбки своей сшила. Одни сапоги резиновые на двоих были». А. С. Гонцова (1912): «Раньше часов не было: по петухам вставали. Из одежды все было свое, тканое. Пальто раньше ни у кого не было, если телогреечки купишь — и то ладно. Потом, лагеря когда были, так телогрейки заключенные отдавали. В Гидаево иногда ситец или сатин продавали по три метра или же платки. А так товару не было. Приедет если татарин только, привезет шалюшки, платочки, булавки, брошечки».

Внешний вид деревенских домов начиная с конца 1920-х годов все более ухудшался. Людям было не до нового строительства. Доживали свой век в старых домах, которые все более ветшали. Деревни превращались в руины. Почему ж запустела русская деревня? Т. Р. Селезнева рассуждает: «В общем, деревню разорили, хороших людей угнали,



в их дома заселилась голытьба, которые на себя не работали и в колхозе работали из-под палки. Деревня уже не выглядела деревней целой, а как шербатая старуха — на стороне в ряд домов уже не было. Вновь дома не строились, а постепенно и остальные дома рушились. К 1941 году в деревне осталось четыре дома. К 1957 году остался наш один дом, в котором мы жили в одиночестве еще 10 лет. В 1967 году после смерти моей мамы деревня Архипенки умерла, как и ближайшие деревни». Н. К. Вычугжанина (1913): «Все это оттого, что выжили настоящих крестьян из деревни. Особенно в 50–60-е годы много домов опустело в нашей деревне. А все потому, что людям за их труд не платили ничего. Оплата велась по системе трудодней, за которые колхозники практически ничего не получали. А как люди ушли, так опустели деревни — так все и пошло кувыркком».

Город в нашей колхозной державе был на привилегированном положении. Его не морили зря голодом, считали горожан (при наличии паспортов) полноправными гражданами страны, а не второсортными, как колхозников. Но и в городе жилось тяжело в 1930-е годы. Трудности были те же: как прокормиться и во что одеться. В. Я. Сулова (1924) вспоминает: «В 1933–1934 годах хлеб был по карточкам. Ассортимент был скудный: черный и поклеванный (ржаная сеянка), в последующие два-три года появился пшеничный хлеб, который стоил 1 рубль 70 копеек за килограмм. Возможность покупать пшеничный хлеб семья имела только в выходной день — к чаю. Молоко и яйца люди покупали только на рынке, молоко полчетверти (1,5 литра) стоило 1 рубль 50 копеек, его покупали не каждый день. В предвоенные годы в магазинах было изобилие продуктов: колбас, сосисок и даже икры. Но покупательная способность была низкой, поэтому чаще всего покупали сельдь по 70 копеек за 1 килограмм. Промтоваров не было совсем: тканей и обуви не было, их можно было купить в Москве и в Ленинграде. А белые тапки считались роскошными туфлями. В 30-е годы мы семьей из четырех человек жили на 17 рублей 50 копеек в месяц. На неделю покупалось 1 килограмм мяса и 10 яиц на всю семью. Но в доме была коза. В праздники и в выходные дни собирались родственники. Застолье бы-

ло всегда без вина, но обязательно с песнями, а дядя играл на балалайке».

Унизительные, недостойные человека условия существования в городе вспоминают многие. С любым человеком можно было сделать все, что угодно: лишить работы, дома, жилья, сослать, арестовать, посадить надолго. Это можно было сделать во время массовой кампании, а можно было и в частном порядке. А. Д. Пьянкова (1902), активист тех лет, рассказывает о своей работе в начале 1930-х годов в Перми: «Проходила паспортизация. Паспорта выдавала комиссия, она решала, кому выдать паспорт, кому отказать. Отказы-вали в первую очередь тем, кто был лишен права голоса по имущественному положению. Людей, не имеющих паспорта, выселяли из города. Таких лишенцев, как их называли, целый эшелон был отправлен в Вятку, которая тогда входила в Горьковский край. Освободилось порядочно квартир, особняков, которые при содействии комиссии горсовета были переданы работникам просвещения».

Тем не менее даже вот эту жизнь в 1930-е годы многие вспоминают, как островок благополучия, покоя, мира и счастливой жизни. Война разрушила судьбы не только отдельных людей, большинства крестьянских семей, добила традиционный быт деревень — она уничтожила целые поколения людей, которые не смогли передать дальше своего миропонимания, традиционной культуры. В цепи поколений появился черный провал.



## Глава 4

### О налогах

**Н**еотъемлемая часть крестьянской жизни тех лет — тяжкий налоговый гнет. О нем с содроганием вспоминают все. Как и в дореволюционной России, колхозное крестьянство оставалось главным податным сословием страны. Крепостным крестьянам в дореволюционной России жилось, безусловно, лучше — они или платили оброк, или трудились на барщине. Колхозники же с самого начала были обречены и на то, и на другое: и трудиться бесплатно днем на колхоз-

ном поле, и платить налоги со своего личного хозяйства, без которого им просто было не выжить.

А. С. Бусыгин (1912) из села Кичма свидетельствует: «Прошло лето, и к зиме народ опять начал объединяться в колхоз. Но теперь вошли уже не семнадцать, а все сорок дворов. Давали общий план на все сорок дворов, то есть на колхоз. А налоги нисколько не понижались. Всего заставляли сдавать тринадцать видов налогов. Если есть корова — должен сдать девять килограммов масла, с овечек брали 400 граммов шерсти и одну овчину, также брали брынзу, был налог на яйца. А где всего этого набраться? Вот и приходилось покупать. Даже дети не только масла, но и сметаны не видели. Ну, а если нечем уплатить налог, то все имущество описывали. Если хозяйство бедное, например, имеют только одну козу, так и ту заберут. К нам пришли как-то уполномоченные, и у нас не было масла, так они описали все имущество. Зашли в клеть, увидели большой сундук, говорят: “Открывай!”, а там лежала военная форма, так они ее описали. Я им говорю: “Завтра поеду в Тарьял и куплю масла”, — а они и слушать не хотят. Ну, я съездил, купил масла и сразу, не заезжая домой, сдал. А эти уполномоченные были просто бессовестные, хоть бы кто чужой, а то из этой же деревни. Нормальный простой крестьянин никогда и не пойдет. Жили очень бедно: мне пришлось в шестнадцать лет ехать на заработки в Свердловск. Отец работал на лесозаготовках от колхоза. Но уже после смерти Сталина, когда на его место встал Маленков, налоги сразу отменили. Но он недолго побыл».

Исключений при уплате налогов часто не делали ни для кого. Между тем неполных семей и сиротских домов было немало. С них требовали то же самое, что и со всех остальных. А выжить им и так было затруднительно, хотя мир не без добрых людей. А. П. Бобкина (1923) вспоминает: «Ой, худо мы жили. Огород ведь у нас еще был, картошку мы там садили. Да малы были, ничего не понимали — чего уж, шесть круглых сирот. Садить-то садили, а на следующий день копали — есть-то надо, хочется ведь. Налоги с нас, как и со всех других, брали. А чем мы заплатим? За налог нам крышу сняли, тес забрали, мамину машинку унесли. Ваня потом со-

ломы из колхоза привез, ею крышу и закрыли. Так вот мы и жили. А деревня у нас крепкая, хорошая была, в 36 дворов. Никаких запретов и запоров у нас не было — палку поставишь, и ладно. Чего брать-то было? Бывало, что жалели нас. Сосед у нас Яша богатый был. В чашки капусты наложит, да еще огурцов наверх — наедемся как! У Яши тетка в доме жила. Так она нам все через забор картошку, помидоры кидала, чтобы Яша не видел и не ругался».

Цифры разных налогов намертво врезались в память крестьянок. Они и сегодня называют их без запинки. Сдавая все мало-мальски съедобное, сами они вынуждены были питаться суррогатами хлеба. А. И. Карачева (1906): «Урожай-то плохой был, и колхозникам на трудодни только по 50 грамм муки давали. Это лето мы все на себе отработали. Налог большие стали на нас накладывать. На усадьбу картошек по 3 центнера, мяса 44 килограмма накладывали, яиц по семь десятков с дому, с овечки 400 граммов шерсти. Все это сдать к осени надо было. И еще 320 литров молока. А я маслом платила по 8 килограммов. Мы хоть сыворотку сами ели. Хлеб-то мы такой пекли: два ведра картошек натрем, крахмала-то на кисель убавишь, лебедой замесишь (еще и опилом замешивали). Глотать-то такой хлеб не можешь, но с обратом ели. Картошку-то весной насадили, и ести-то больше нечего. Так мы кисленку ели. Ее мы подсушивали, собирали и сочни пекли. А кто — липовый лист собирали и такие сочни пекли. А кто из клевера».

Характерно, что на протяжении всех 1930–1940-х годов происходило постоянное увеличение налогового бремени, рост количества налогов на каждое крестьянское хозяйство. Тяжесть их к началу 1950-х годов была совершенно неподъемной. Характерно, что обязательные поставки продукции колхозов государству крестьяне по старинке называли разверсткой. По сути, так оно и было. Только в гражданскую войну продразверстку брали с каждого крестьянского хозяйства (и хозяин мог сопротивляться, что-то прятать), а здесь все начисто выгребали с коллективного — и никто пикнуть не смел. А. Е. Боброва (1923): «Народ в колхозах в 30-е годы трудился от зари до зари, трудней было неимоверно, а в амбарах ничего. Хлеба не доставалось, только картошка



по трудодням. Молоко, масло, яйца, шерсть сдавали государству, себе ничего не оставалось почти».

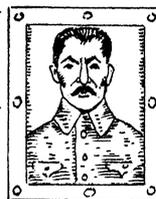
Налоги не просто разоряли крестьян, они заставили покинуть родные места основную массу сельского населения. Жизнь в колхозной деревне зашла в тупик. Это отчетливо видели все. Ощущение постоянной вины, вечного долга перед государством, стремление выполнить невыполнимые налоговые задания изнуряли изматывали людей. Не было покоя измученной душе человека ни днем, ни ночью. «Жилось не просто. Больно уж налоги-то были велики. Подходный налог — 600 рублей. Молоко — 200 литров, заем — 300 рублей, яйца — 75 штук, страховка — 700 рублей. Был сельхозналог — продукты за все, что выращивали в огороде: и зерном, и картошкой, и овощами. Да еще и трудповинность отработывали, обычно чистили тракт от снега. На уме днем и ночью было одно: как рассчитаться с государством. В долгу не оставались. Уполномоченные говорили нам, что трудности временные, что дальше будет лучше. Мы верили, надеялись. Работали с четырех часов утра до одиннадцати часов вечера, особенно летом» (М. С. Семенихина, 1909).

Многие горожане помнят изобилие городских рынков 1930—1940-х годов. Всего было много и все было очень дешево. Налоговое давление заставляло крестьян продавать продукты, чтобы рассчитаться с государством. Пропать в уровне жизни городского и сельского населения значительно расширилась тогда. Полуголодное рабское существование основной массы крестьянства в послевоенные годы просто поражает сегодня воображение.

«Матери из поля приходили по потемочкам. Возили с девками и парнями навоз на лошадях. У меня была лошадь Ялта. Она была за мной закреплена. На пятнадцатом году я уже боронила на Ялте. Норму выполняла до трех гектар в день. Работали за кусок хлеба. Начислят трудодни, а трудодни были, можно сказать, пустые. Поработаем пять дней, и выдадут за пятидневку два килограмма муки. Боронили с парнями и девками с трех часов утра и до десяти вечера. Хлеб тетерьками не пекли, потому что трудно было склеить. Пекли лепешки с куколем, клевером, пестовником. Соли не было. До войны мама соль держала в кадке, она вся просолела.

В первый год войны соль издержали, а потом разламывали кадушку и клали деревяшку в похлебку. Молоко носили в заготовку, сами ели только обрат, разведенный водой. Да и его не досыта, потому что его давали половину того молока, сколько сдашь. В заготовку сдавали шерсть, яйца, масло, мясо. Если нет ни кур, ни овец, ни коровы в хозяйстве, то покупали у других. Из постели было одно одеяло на семь человек да две подушки, Постельник набивали соломой один раз в год, к Пасхе. Спали на печи, на полатах на соломе. На ногах вся семья круглый год носила лапти. Всю одежду готовили сами изо льна. Все было портяное. Мылись в печи. Мыла не было. Делали щелок. Это нагребали из печи в тряпку золы и замачивали, им мылись и стирали одежду. Керосину было мало, сидели с лучиной на посиделках, по очереди их делали, один кто-нибудь весь вечер дежурил у корыта, жег лучину, были приделаны для лучины такие маленькие железные рожки, а в корыте под ними была вода» (И. П. Черепанова, 1928).

Многие связывали увеличение налогов с именем Сталина. «Сталин был руководителем страны. Считали, что он накладывал на деревню большие налоги. Из деревни стали уезжать в город, платить-то налоги нечем было. Налоги брали деньгами, мясом, молоком, яйцами и другими продуктами. Например, с коровы налог считался 200 литров молока, с овечек — шерсть, мяса — 42 килограмма, яйца — 100 штук, деньгами брали за огород. Независимо от того, держишь ли ты свиней, кур, — налог за них надо было платить. Заем — 300 рублей. Военный налог, когда кончилась война, продолжали еще пять лет. Бездетный налог брали: девушка или парень с восемнадцати лет, с вдов — если нет детей. Денег не было, на трудодни получали зерном. Но его продавать было нельзя — на это нужно жить. Если налог не платишь, то приходили агенты и проводили опись чего угодно: корова, хлеб, даже вещи. Забирали насильно. Сама я платила налоги в срок. Была корова. Жила одна с дочерью, мужа убило на фронте. Молоко продавали на рынке и деньги копили на уплату налога. Сами питались плохо. Когда умер Сталин, думали, что налоги останутся. Рассуждали — кого поставят во главе правительства» (Т. Ф. Бахтина, 1919).



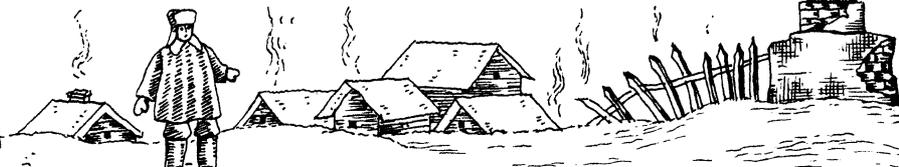
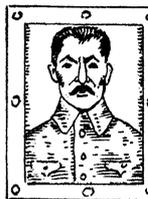
Не нужно думать, что сборщики налогов (заготовители) были какими-то извергами. Во все нет, чаще всего это были обыкновенные люди, добрые и человечные, но считавшие по своей должности, что закон надо исполнять. «Перед концом войны ездила по деревням — работала заготовителем, так приходилось собирать налоги. А налоги были очень большие на каждое хозяйство наложены: если есть корова — сдай масло, есть курица — сдай яйца, овцы есть — сдай шерсть. А где люди должны взять? Ведь война уже идет четвертый год. Правда, хозяйства, которые справлялись, были, а были такие, что взять у них нечего. Были такие семьи, что от хозяина остались одни дети, их по три человека, а мать одна — и та выбилась из сил. Вот однажды я захожу в одну избу (изба была открыта), спрашиваю: “Кто есть?” Молчок, никто голоса не подает, перешагнула порог: справа стоит кровать деревянная, совсем голая, в переднем углу стоит стол, на столе чугунок, но пустой — в нем ничего не было. Я прошла в кухню — никого, ни звука. Когда вернулась обратно, взглянула на потолок и увидела полаты, а на них пять детских головок, так на меня уставились, как будто я их возьму и съем. Спрашиваю их, чего они там делают. “А мы здесь лежим”. Оказывается, у них буквально нечего одеть, все они голые, даже рубашонки нет, и в избе шаром покати — ничего нет. Мать на работе в колхозе, корову зимой съели, и каждый день чугунок варят ведерный картошки — этим и живут. А еще налог какой-то с них просить. Вышла я из этой избы и давай заявление в район составлять. Сняли с них налог, а райсобес выделил им материалу — одели детей. Вот как приходилось жить. Жили, работали, никто никого не осуждал, друг другу помогали, переживали всю войну и пережили» (А. П. Кайгородова, 1915).

Конечно, были семьи, живущие получше, но в памяти всех без исключения стариков осталось, что «с едой было плохо, почти все отбирали в заготовку». У крестьян требовали сдавать мясо и молоко государству в виде налога, но при этом лишили их сенокосов. Поэтому косили «воровски» — по лесным полянам, болотам, неудобьям. Да и день принадлежал колхозу — на себя они могли работать только поздним вечером, ночью, рано утром. “Войну народ вынес

на себе, все отдавали. Все для фронта, все для победы! Отец почти от голода умер. Кто для себя прятал — тот выжил, кто по-честному жил — тот до Победы не дожил. Займы, налоги на колхозника были очень большие. Требовали 44 килограмма мяса сдать в год. А где возьмешь? Кормить скот нечем. Самим есть тоже нечего, все увезут» (Д. Ф. Устюгов, 1918).

Старики, чтобы выжить, вынуждены были отделяться от детей, поскольку нетрудоспособные налоги не платили. Рушились вековые устои крестьянской семьи. «Хотя и отец, и мать были уже нетрудоспособными, в семье числился трудоспособный сын, учитель, значит требовали платить все налоги. Хотя с учителей налоги не брались. Пришлось уходить на школьную квартиру. Так рушилась семья. Молодые уходили из деревни, старики доживали свой век и умирали. И остались вместо домов и даже многих деревень, которые подальше от райцентра, рябины, тополя да заросли бурьяна и крапивы. Все, кто «более или менее», разбежались. А вернее сказать — разогнали» (А. В. Грязин, 1926).

Страшнее многих налогов были государственные займы. Подписка на них была обязательной и принудительной. Но откуда должны были брать деньги крестьяне, не получавшие их за работу в колхозе («пустые трудовни»), а продукты личного хозяйства отдававшие на уплату налогов? «Вот смотри, налоги какие платили: страховка — эту деньгами платили, налог военный, за бездетность налог опять же, налог на молоко, мясо, шерсть, яйца, потом заем еще, если заем маленький бывал. Бывало, все ночи сидели: подписывайся и все! Да как я подпишусь, если у меня платить нечем? Ведь ни рублика не платили. Весной, помнится, раз не подписалась, так в сельсовет вызвали. «Надумала?» — спрашивают. «Да где, — говорю, — вот столько давала и больше мне взять?» Ну, уперлись: давай да давай. Я уж утопиться пригрозила, так тогда струхнули. Ладно, мол, пиши, что вчера говорила, на четыре сотни» (Д. Ф. Зубарева, 1913). «Собирали по деревням государственные займы. Придет из района человек с бумагой, сколько нужно собрать денег. Соберут всех в одну избу и не выпустят, пока человек не подпишется на уплату назначенной ему суммы. Это тоже зависело от достатка семей. Кому побольше давали выплачивать, кому поменьше. Трудно бы-



ло до того, что и теперь подумать страшно» (А. Д. Уракова, 1924). «В 40-х годах были займы. Даже коллективизация проходила лучше. Работали на трудодни. Только на мясо, проданное свое, в городе мыла и сахару много не купишь. А тут заем. Собирали собрание. Не выпускали до тех пор, пока не сдашь деньги, пока не подпишешься. Это было настоящее зверство! В семьях жили бедно. У Анны Михайловны было девять ребятишек, муж погиб на фронте, а требовали дать займ. Она выла и рвала волосы» (А. Л. Муратовских, 1926).

Под натиском налогов дрогнула основная опора крестьянского хозяйства 1930–1940-х годов — кормилица семьи корова. Крестьянин сумел сохранить ее в годы коллективизации, но сороковые годы были к ней беспощадны. Во многих деревнях крестьянки вынуждены были держать «деревянных коров», как они с горьким юмором называли коз. «После введения продналога держать корову стало невыгодно. А ведь она была главной кормилицей для семьи. Платили за корову в год 800 рублей наличными, 200 литров молока надо было сдать государству. Сдавали ведь яйца, масло, зерно. У кого не хватало продуктов для сдачи, покупали на рынке специально, чтобы сдать».

Кроме прямых налогов, широко использовался временный бесплатный принудительный труд крестьян. Область давала распоряжение району, в районе раскладывали общее количество по сельсоветам, и председатель сельсовета назначал работников. П. В. Злобина (1909) вспоминает: «На лесозаготовку гнали. Не пойдешь — под суд! Вот мало платили за лесозаготовку. На десять ден — буханку хлеба. Пойдешь туда, накладешь сухарей. Песню складываешь:

Надоело нам сухарики  
В сырой воде мочить.  
Надоело нам котомочки  
По нарам волочить.

Или:

Товарка, нынешнюю зиму  
Не придется дома жить!  
В сельсовет пришла записочка.  
Приехал вербовщик».

Зимой в глубоком снегу женщины, дети, старики вручную валили огромные деревья, заготавливали дрова, вывозили их к станциям. Жили там же, в лесу, в бараках, на нарах, не раздеваясь, все вместе — парни и девушки. Местное начальство старалось назначать туда прежде всего молодежь, одиноких, несемейных женщин. Тяжелейшие условия работы в лесу вызвали массовые побегии, отказы. С ними боролись привычными тогда методами — суд, тюрьма. «В лесу были два года. В зиму два раза домой ходила... Работали в лаптях. Веревка оборвется, ты идешь в портянках да чулках по снегу. Усадьбу-то на себе обрабатывали. Павел Яковлевич, председатель колхоза, стал ребятам пайки давать, мне дал. Все на себе пахали, и он с нами пахал» (А. Т. Лукьянова, 1905).

Тяжелейший физический труд, который и мужикам бывал не под силу, пришелся на лесозаготовках в 1940-х годах на долю девушек и женщин-крестьянок. «Сначала ели то, что было из дома: хлеб, сухари. Потом стали выдавать по 300 граммов печеного хлеба. А к весне эти же 300 граммов неразмолотого пшеничного зерна. Жили в большом бараке. Большая русская печь посредине. Возле стен двухъярусные нары для сна. Вечером, когда с работы вертались, печь вкруговую увешивали лаптями и онучами для просушки. В апреле было разрешено вернуться по домам. Около двух недель добирались домой на товарных поездах. Копейки в кармане не было. При себе немного муки, и, когда удавалось раздобыть немного кипяточку, заваривали болтушку. Этим и питались. Добрались домой — и снова работа. Страшно болели руки, а ноги все чирьями покрылись, да так дружно, что нельзя было обуться в лапти, не было места для лапотных веревочек. Летом опять мобилизовали меня в лес. Призвали двоих нас тогда из деревни. Доехали до Зуевки, да и решили вернуться домой. Сбежали с лесозаготовок. А потом вскорости суд и приговор — семь лет тюрьмы. Правда, просидели всего два месяца, был пересуд по кассационной просьбе брата, и меня освободили. Только домой вернулась, снова повестка на лесозаготовки. Больше не бегала. Всю зиму работала в омутнинских лесах. Снегу было до пояса, сосны в обхват. А на ногах лапти, бывало, и примерзали к ногам. Правда, что



хорошим вспоминается — была горячая пища. Весной вернулась домой. В 1948 году родился сын и из дома уже никуда не отправляли. В колхозе продолжала работать» (А. В. Ходырева, 1912).

Кроме лесозаготовок было еще и восстановление угольных шахт, торфоразработки и многое другое. Людские ресурсы к концу войны уже истощились. Чтобы выполнить спускаемый сверху план, посылали подростков. «На шестнадцатом году меня взяли на торфоразработки в Оричи, где я работала три с половиной лета. Жили в бараках, хлеб давали по карточкам 400 грамм в сутки. Пока иду с девками до барака, весь паек съем, а все голодная. Работа была тяжелая, земляная, пыль в глаза, рот и нос летит. Трудно дышать, глаза болели. На ногах носили шахтерские калоши. За хорошую работу меня премировали двумя шерстяными жилетками и юбкой» (И. П. Черепанова).

Огромное количество молодежи выкачивалось из деревни в город (на заводы, стройки) в 1940-е годы через систему школ ФЗО. Судьба многих подростков, вырванных из привычного течения жизни, не сумевших перестроиться, приспособиться в новых условиях, сложилась трагично. Вот рассказ одной из тех, кому еще повезло: «В четырнадцать лет из колхоза нас забрали учиться в ФЗО. Мы не хотели учиться на слесарей, токарей. Делали все это насильно. Увезли нас в Тагил, поставили к станку, не кормили. Показали, как работает станок, и заставляли работать. Я очень скучала, ведь оторвали насильно от земли, от родни. Не выдержали мы, сговорились и решили сбежать из ФЗО. А было это в декабре месяце. Мороз — 40°. Садись в товарные поезда с углем и ехали. Три раза меня милиция с поезда снимала. Поддержат немного, смотрят — девчонка худушая (при росте 170 сантиметров весила 35 килограммов), одни глазенки остались. Так и отпускали. А я снова на поезд и ехала. Добиралась восемь суток. Пробиралась так в деревню, чтобы никто не видел. Скрывалась всю зиму на полатах да в подполье, хорошо, нашлись добрые люди в МТС, дали направление учиться на комбайнера. Я очень обрадовалась и тут же в Яранск пошла пешком. Шла три дня. Там меня сначала не приняли — опоздала на месяц. Я плакала, говорила, что буду стараться. Лад-

но, оставили. Потом работали с утра до ночи совсем, как мужчины» (А. П. Муратовских).

Вот как осмысливает путь русской деревни, причины ее разрушения простой крестьянин Л. Г. Стремоусов (1919): «После войны по приказу Сталина набавили налог на колхозников, когда всю войну ели траву. Хлеб увозили под метелку, даже семян не оставляли. Но после войны можно было дать отдых колхознику, а сделали еще хуже. Надо было платить налог примерно 1200 рублей. Где взять было такие деньги? Тогда мясо ведь дешево стоило на рынке — 11–15 рублей. Чтобы заплатить налог, надо продать 100 и более килограммов мяса. А на остальные расходы где было взять деньги? Городу хорошо — все было на рынке и в магазинах. А колхознику надоело жить в дерьме и в голоде. Из колхоза ни денег, ни хлеба. Жили своей усадьбой. И пошел народ из деревни в город. Можно сказать спасибо Хрущеву, он отменил сельхозналог и применил денежную оплату, но плохо сделал — отнял весь скот у колхозника, одворицы обрезази. Посчитали — извлекают нетрудовые доходы. А тут еще Брежнев добавил свою лепту в сельское хозяйство — объявили неперспективные деревни. А деревни те были по пятьдесят хозяйств. Раньше деревня от деревни были два-три-пять километров. А сейчас?.. Доконали деревню».

Доконали...

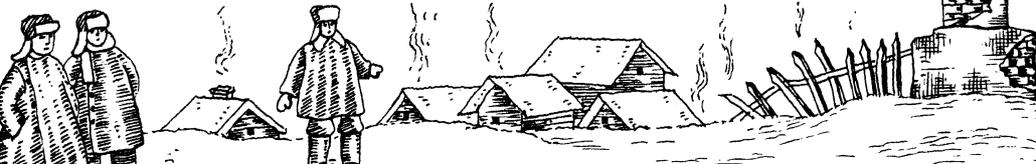


## Глава 5

### Сталин глазами русских крестьян

**О**тношение русских крестьян к Сталину — интереснейший вопрос не только истории, но и исторической психологии. Массовое народное сознание мифологизировало это имя, превратило его в одну из святынь. Почему и как это произошло?

Тема эта воистину необъятна. Настолько сильно здесь переплелись политические, личные, социальные мотивы и отношения, что, глядя на этот клубок противоречивых суждений, где преобладают эмоции, не веришь, что сможешь в нем разобраться или даже нащупать какую-то логическую



нить, найти связи, понять нечто скрытое от взоров современников вождя. Наше время внесло много ожесточения в этот вопрос. Сталин, как символ определенной эпохи, стал знаменем, которое для одних надо непременно отстоять, для других — обязательно низвергнуть. В эпоху политического размежевания фигуру Сталина часто используют в своих интересах, а научный анализ подменяется политической публицистикой.

Но именно наше время открыло рты миллионам сограждан, в чьей крови еще живет Великий Страх 30-х годов. Они могут говорить то, что они думают, хотя их речи во многом зависят от сегодняшней пропаганды — тем не менее это искренние речи. Люди сами мучительно хотят разобраться в прошлом, понять свою судьбу и свое время.

Мы часто забываем, что после Октябрьской революции в сознании миллионов крестьян сразу же началось обожествление нового правителя России — Ленина. После смерти Ленина обожествление автоматически было перенесено на личность Сталина. Д. И. Селезнева (1912) вспоминает: «Ленина крестьяне уважали, любили его. За Ленина молились. С детства мать приучала нас молиться за Ленина перед едой».

Феномен обожествления Сталина, мифологизацию его личности в народном сознании 1930-х годов нельзя понять вне связи с прочными монархическими настроениями в крестьянской среде, особенностями религиозных воззрений русского народа. На формирование его образа повлияли не только царистские, религиозные, патриархальные воззрения крестьянских масс. Власть переплавилла все это в горниле революции, войн, террора в совершенно иное качество — и возникла личность национального вождя, вождя единственно возможного и абсолютно бесспорного. Вот подборка рассуждений о Сталине.

«Раньше Сталин для всего народа был просто богом. Помню, пришли мы как-то с матерью в сельсовет. В красном углу висел портрет Сталина, мать перекрестилась и меня заставила поклониться. Все жили в страхе, все боялись, но и уважали Сталина. Мы не могли себе представить, как жить без Сталина» (А. И. Гребенева, 1917).

«Сталин — герой. Войну выиграл, страну на ноги поставил. Когда его на XX съезде очернили, все его речи и доклады, книги там сжигались. А у меня патефонные пластинки были, дак я их не дал жене разбить. Тася потом стащила несколько и разбила. А остальные храню. А сейчас хотят его во всех смертных грехах обвинить. А он тогда страну на ноги поставил. Если б не он, не знаю, чтоб сейчас было» (Я. Н. Рычков, 1910).

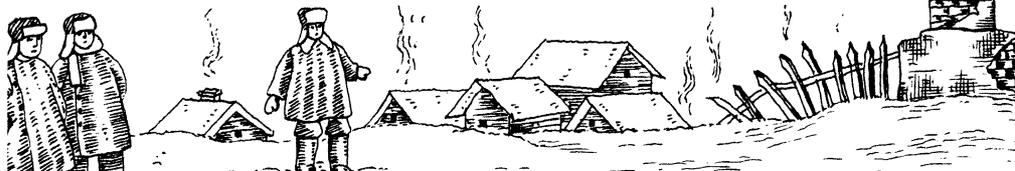
Вера в вождя, безусловно, включала какие-то религиозные элементы: некритичное восприятие всего, связанного с его именем, мистическую убежденность в его абсолютной правоте, полное отсутствие достоверной информации о нем.

«Сталин был для нас бог и царь. Когда он умер, мы всей деревней ревели по нему. Мы даже думали благодаря Сталину. А и сейчас у меня нет на него зла. Нас он не обидел» (В. В. Рогожникова, 1920).

«Сталин для нас был вождь и учитель, всезнающий человек, в общем, был богом. Так нас учили в школе, так писала пресса, так учила партия до самой его смерти, так думал народ. Считалось, что благодаря мудрости Сталина наш народ выиграл и такую войну. Как плакали люди, когда умер Сталин! Ну, думали, конец света. Прекратится советская власть, загубят нас другие! Разве кто знал все его творения? Что внушали народу, то он и думал, куда поворачивали, туда и шел» (Л. Г. Стремоусов).

«Относились к Сталину прекрасно: как в кино где покажут — так весь зал вставал и аплодировал. Верили ему очень и любили. Знали, что Сталин все правильно делает, и верили, что “враги народа” есть, и их ненавидели» (В. В. Ерок, 1922).

Судя по всему, на личность Сталина переносились черты личности Ленина. Осознание зависимости всей своей жизни от личности руководителя страны, воспринимаемого как отца огромной семьи, жило в крестьянстве. Такой руководитель никому ни в чем и не может быть подотчетен, поскольку прав всегда. Действия его могут (и должны) быть неожиданными, иррациональными, жестокими. В его отеческой власти наказать и простить без всяких на то оснований и объяснений. Это только укрепляет его авторитет.



«В нашем хуторе была начальная школа. И вот 1 мая всегда была наша демонстрация по хутору. Мы ходили с флагами и пели песни. А это часто бывало перед религиозным праздником, Пасхой, так нас, школьников, и моего отца-учителя обзывали безбожниками. И вообще нам, детям, учителя говорили, что у нас бог — Ленин, а мы этим гордились. Я чуть-чуть помню день, когда умер Ленин. Мужики собирались кучками, о чем-то разговаривали и некоторые плакали» (З. Н. Куло, 1918).

«Отец мой работал председателем сельсовета, организовывать колхозы помогал. Я помню, хоть и невелика была. В него кулаки два раза стреляли — когда коммуну организовывали и когда колхоз. Это только сейчас говорят, что они бедные, высланные. Это все меня бесит. Сталина я и не считаю врагом народа. Он, конечно, не царь, не бог, смертный человек. Но его ругают за то, что он вернул исконные русские земли — Украину, Прибалтику. Зачеркнуть Сталина — все наше поколение зачеркнуть! А это время как будет называться? Период болтовни? Отец мой с семнадцатого года коммунист. А из партии потом исключили. Через два месяца восстановили. Ответ пришел, и подпись — “Сталин”. Так у нас портрет его большой висел. До сорок третьего года, пока отец не погиб. Потом мама икону повесила. Вот говорят, мы маршировали строем! Но мы были равные все!!!»

Идеализация времени своей юности сделала многих «мягкими» сталинистами. Взрослеющая на фронте молодежь сохранила до седины чувственно-эмоциональное отношение к имени Сталина. Вера в доброго царя и его негодных помощников помогла им избежать дальнейших разочарований. «Сталина я уважаю. Все, что о нем болтают, — ерунда. Мы в бой за него шли, умирали. Это все Берия там у него творил, а его обманывал. Я как относился к нему, так и буду относиться. Сейчас бы его к власти — все бы изменилось: никаких бы вору не было, ни бюрократов. Раньше мы хоть во что-то верили — кто в бога, кто в Сталина. А сейчас люди ни во что не верят, живут каждый для себя» (И. В. Рогожин, 1920).

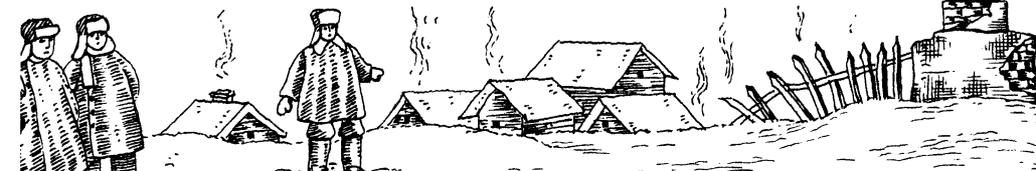
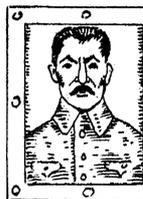
Острая потребность людей 1920–1930-х годов в величественном объекте веры привела к тому, что вождь оказался

в некотором роде их собственным творением. Он стал неотделим от жизни каждого человека, и любое его слово воспринималось как свое, родное, глубинно выстраданное. Вождь стал стержнем своей эпохи. Убери его — и эпоха рассыплется. Сельский учитель А. А. Кожевников считает именно так: «После смерти Ленина управлял страной Сталин почти тридцать лет... Мы верили Сталину, и школа воспитывала так, и деды; вера была настолько сильна, что просто не могли не верить. Если Сталин выступал по радио, а выступал он очень редко — раз в год или в два года, то все слушали Сталина. Он выступал, и его речи совпадали с верой народа. В годы войны он сыграл большую роль. В атаку с именем Сталина ходили и умирали с именем Сталина. Мы, воспитанные в социалистическом духе, в вере в Сталина, выиграли войну. Порядок на заводах, на фабриках был строгий: не опоздай, не болтай зря, ибо твой язык на руку врагу, не подрывай авторитет своего правительства. И кто выступал против — того наказывали. Сейчас называют это репрессиями. Сталина любили. К Сталину отношусь с почтением и сейчас. После Сталина никого не любили».

Обратим внимание в этом тексте на три момента: 1) В Сталина не могли не верить; 2) Сталин выступал, и его речи совпадали с верой народа; 3) Сталина любили, а после него не любили никого. Такое чувственное отношение к вождю и правителю — явление уникальное в русской истории. Для поколения, рожденного в 1920-х годах, оно весьма характерно. Оно гораздо менее критично к Сталину, чем предшествующие и последующие поколения.

Тень вождя накрыла всю огромную державу. Все, что делалось в стране, освящалось авторитетом Сталина. Любое действие человека было обращено к вождю. Грешниками могли быть все, непогрешимым — только он один. Сказочное, мифо-поэтическое восприятие революции, социализма, Москвы, руководства страны было характерно для многих крестьян той эпохи.

Вера в божественную природу вождя не допускала и мысли о том, что он смертен, как любой другой простой человек. Поэтому у миллионов людей его смерть вызвала такой шок. Многие и сегодня по этой причине не могут поверить



в его естественную смерть. В. С. Кузин (1923): «Хоть пишут, что Сталина никто не травил, а что он умер от кровоизлияния, я тому не верю. Его отравили, а потом хоть и кровоизлияние. Но своей смертью он не умер. Его родство 90 лет живет».

Смерть Сталина вызвала чувство всеобщего сиротства у миллионов советских людей. Эта скорбь была во многом вызвана страхом за свою будущую жизнь. «А Сталина все любили как отца родного, уважали. Волновались за его здоровье и жизнь. Верили ему как богу. Помню, когда умер Сталин, все ходили в трауре. Траурные флаги в деревне приспущены. Нет-нет да и услышишь плачь из какой-нибудь избы. Все думали, как жить дальше будем. Без Сталина и жизни не мыслили» (К. П. Михеева, 1921).

В рассказе А. В. Лузяниной (1907) поражает то, что люди не могли громко сказать о смерти вождя, даже когда она стала свершившимся фактом. Язык не поворачивался. «Сталин был строгий, много расстреливал особенно во время войны. Раньше боялись лишнего слова сказать. Пал Никанорыч у нас был в селе доносчик, чуть чего — в сельсовет донесет или на собрании расскажет... Когда Сталин умер, собрали собрание и всем сообщили почему-то шепотом: “Сталин умер! Сталин умер!” Его даже мертвого боялись».

Впрочем, здравый смысл зачастую если не побеждал страх и слепую веру в вождя, то сеял зерно сомнения. «Мы были воспитаны на нем, со Сталиным вставали и спать ложились. А когда он умер, то горько плакали. Но все же была в народе к нему какая-то неприязнь. Ведь народу сколько погибло, и хотели мы верить, что он ничего не знал, что его обманывают помощники. Да ведь гибли-то не десятки, а миллионы, и плач по России шел. Его нельзя не услышать. А он не слышал или не хотел слышать. Думали, а говорить боялись. Зато и дисциплина была при нем. А может, это и страх был» (А. И. Нелюбима, 1913). «Правительство было тогда бог и царь. За богов их считали. Когда Ленин умер, море слез было. Когда Сталин умер, я тоже плакала, узнала от соседки и бегу домой рассказать, а сама реву в голос... Вот когда репрессии были, поговаривали, что что-то тут не так, но больше молчали, а верили или не верили, кто зна-

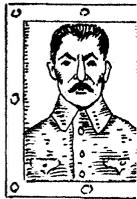
ет, не принято было про то вслух говорить» (М. А. Кудрявцева, 1904).

Можно встретить и такие рассуждения: «Как к Сталину относились? Мы его не видели. Ну, правитель и правитель. Война ведь была. Он ей руководил. Когда трудно-то стало, будто бы он кричал: “Братья, сестры, помогите!” По радио, што ли. Помер. Так что о нем думать-то сейчас? Прожил век. Помер» (А. В. Сметанина).

Власть отчетливо понимала, что вера должна быть слепой и хорошо заученной. На это работала колоссальная пропагандистская машина. Даже на фронте важно было правильно заучить малейшие нюансы в титуловании вождей. Вспоминает Г.З. Байшихин (1925): «Воевал за Родину, за Сталина. Ночью поднимут — должен назвать все ордена Сталина, его должность и про других тоже: Молотова, Калинина. Заставляли верить в них, а не в Бога».

Вождь и учитель отовсюду смотрел на своих подданных с портретов, и они с детства привыкали смотреть на него. Вошел он и в дома людей, в их личную жизнь. «После закрытия церкви было требование убрать иконы из домов, но многие не пошли на это, переноса иконы в доме на другое место, не так видимое прихожим. Было и второе требование — иметь в каждом доме портрет В. И. Ленина, И. В. Сталина и других руководителей партии и правительства. Это требование на родом было выполнено, портреты руководителей стали появляться в квартирах и домах людей» (Б. И. Фролов).

Атмосфера страха, религиозной нетерпимости в своей социалистической вере, иконопочитания в отношении портретов вождя была всеобщей. Насаждалось все тотально и очень свирепыми методами. Оскорбление портретов Сталина приравнялось к оскорблению вождя, было государственным преступлением, жестоко караемым. А. В. Клевостов: «Вот я в артели “Север” работал. Мы сидели в столовой, ели, и ребята стали дурить. Один в другого ложкой супа плеснул, и этот в него хотел плеснуть. А сзади портрет Сталина был. Капля супа попала на портрет, и этого парня завтра уже не стало. Его, видимо, посадили. Дак какое мнение было? Мнение-то у всех отвратительное было, но каждый про себя его знал. Нельзя было ничего говорить. Знали, что



это наш великий вождь, наш самодержавец. Я же при нем воспитывался и рос».

«Сталина боялись. Спроси бы что тогда про него, сказать страшно. Вышлют! Мне кажется, почему-то и он был не за народ. И сейчас мне нисколько его не жалко. Ничего хорошего от него не видела» (А. Т. Сапожникова).

Однако, несмотря на насаждавшийся страх, помимо официозной культовой литературы, песен, стихов, прославлявших Сталина, существовал пласт народного анти-сталинского фольклора, сохранившийся в архивах ОГПУ и НКВД. Ироническая струя народного творчества не иссякла, хотя шутить было смертельно опасно. Смысл многих такого рода пословиц, частушек, сочинявшихся по конкретным поводам, сейчас утерян. Вот, например, такая поговорка: «Спасибо Сталину-грузину, что он одел всех нас в резину». А это просто о калошах, которые завозили в сельские лавки.

Типичная антиколхозная частушка:

Очень плохо: Ленин умер.  
Умереть бы Сталину.  
Развалились бы колхозы.  
Стали жить по-старому.

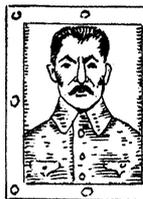
Долго помнили крестьяне антибольшевистские частушки времен гражданской войны, 1920-х годов. На Вятке записали, например, такие частушки:

Едет Ленин на свинье.  
Троцкий на собаке.  
Испугались жида —  
Думали, казаки.

Сидит Ленин на дубу.  
Гложет конскую ногу.  
Фу, какая гадина  
Русская говядина!

Частушки были чаще всего привязаны к каким-то конкретным событиям:

Нынче Кирова убили.  
До рублевки хлеб добили.  
Если Сталина убьют,  
До копейки хлеб добьют.



Никакой конкретной информации о жизни и деятельности вождя в народе не было. Поэтому в принятии или непринятии обожествления вождя рассказчики руководствовались просто последствиями политики тех лет. Вот характерное мнение: «Сталина я не знаю. Но мы его не любили. Раскулачивали неправильно, работали мы в колхозах, на лесоповале задаром. Обманывал он людей» (П. А. Колотов, 1909).

Отцы и дети (поколение 1900-х и 1920-х годов) в той ситуации не всегда понимали друг друга. Но знали, что и в своей семье надо держать язык за зубами. «Понравилась мне своей яркостью красок картина “Утро”. Во весь рост, в парадном маршальском костюме, при всех наградах Сталин, а у ног яркое солнце всходит. Развертываю я эту картину, а отец с полатай: “Смотри-ка, Сталина выше солнца подняли. При царе Николае такого не было”» (А. В. Грязин).

Старики были, конечно, более критичны. В своих суждениях они шли от здравого смысла. «Отношение к Сталину деревенских мужиков было ироническое... Когда мне, подростку, доверили, как самому глазастому в деревне, прочитать в районной газете о расстрелянной троцкистско-бухаринской группе как врагов народа, мужики выслушивали это сообщение с огромным вниманием, ухмыляясь и иронизируя, что, дескать, эти начальники и воевали за советскую власть В этой далекой-далекой Москве что-то не так. Но и не доверять Сталину ни у кого не было оснований. Отношение к Сталину было как к человеку, которого нельзя послушаться. Он приказывает, мы выполняем. Кто его ослушался, тот против него. Я верил, что врагов у нас, если поискать, найдется, но сколько ни присматривался к людям — так ни одного врага и не увидел» (Г. А. Сычев, 1920).

Для поколения 20-х годов XX съезд партии был колоссальным шоком. Часть людей просто отринули от себя его



решения, оставшись убежденными сталинистами, другие пережили тяжелейшую ломку мировоззрения. Чем больше была вера в вождя, тем тяжелее люди переносили крах этой веры. «Люди верили в Бога, а мы в Сталина! Везде были его портреты. Мы с этим именем росли. Он был живая икона. Нельзя сказать, что разоблачение Сталина было для меня разочарованием. Это был крах!» (В. Ф. Губанова).

Многие крестьяне и сегодня сохраняют в глубине души доверие к вождю, помнят, что вера и надежда на Сталина помогли им выстоять в войну. Е. Ф. Филимонова (1914): «Как я отношусь к Сталину? Мы ведь тогда не думали, что кто-то может, окромя его, быть. Ему и верили, и считали, что так и должно быть. Тяжело было, так всем тяжело. А что сейчас говорят, так вроде и не всему верю. Не мог он один-то натворить так много. Вот и получилось — он сам по себе, мы сами по себе. Но в войну-то все только на него и надеялись, ему только и верили. Вроде как он сам и победил».

Но много и таких, кто победу с именем Сталина не связывает: «Помню, целые ряды заключенных во время коллективизации шли по нашей улице в тюрьму. На войне мы, конечно, кричали: “За Родину! За Сталина!”», но все равно доверия не было, потому что мы войну вначале чуть не проиграли. Сейчас я отношусь к Сталину так, как все. Таких бы паразитов не было бы больше над русским народом!» (А. В. Клеостов).

## Глава 6

### Об арестах

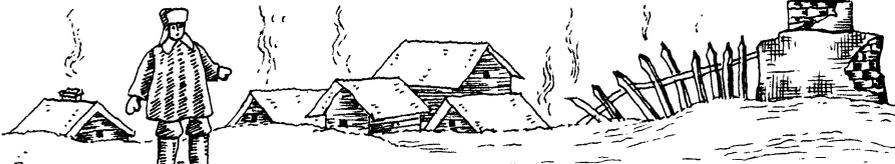
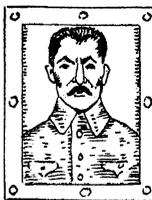
**А**тмосфера 1930–1940-х годов непредставима без ночных страхов, полных арестов и обысков, шушуканий по углам, опасных разговоров в надежном месте с надежными людьми полупшепотом.

Дело ведь даже не в том — сколько миллионов было арестовано: дело в том, что каждый человек мог быть арестован, независимо от заслуг и должностей. Дело было и в том, что каждый знал, что может быть арестован. Страх уравнивал всех. Ощущение, что ты все время на крючке, острее

было, конечно, в городах. Но и в деревнях бывали случаи, когда машина приезжала прямо в поле и забирала кого-то из работающих крестьян. Поводом к аресту чаще всего служило слово. Слово неосторожное, неправильно понятое или не так истолкованное. Надо было следить за своими мыслями.

Деление по классовому принципу на «чистых» и «нечистых» началось сразу после революции. В 1920-е годы оно было законодательно распространено на школы, институты. Люди обрекались на гонения по факту, так сказать, своего происхождения. Атмосфера внутренней борьбы, чисток охватила все и вся к началу 30-х годов. «В 1928 году началась чистка среди учащихся и учителей школ от “чуждых элементов”. В 1929 году я поступила в Вятский пединститут. Чистка “чуждых” и здесь была в самом разгаре. За один 1929/30 учебный год было исключено 250 человек учащихся и многие преподаватели и профессора. Оставляли детей рабочих. Отменены были экзамены, введено бригадное обучение и бригадные зачеты по шесть человек в бригаде. Успеваемость падала. Часто вывешенные объявления внутри института пестрели грамматическими ошибками, которые кто-нибудь ночью подчеркивал красным карандашом» (А. И. Жуйкова).

В обществе культивируется всеобщая подозрительность. Старая мораль и нравственность, основанные на “чуждых” религиозных нормах, отвергнуты. Как в королевстве кривых зеркал, терялось чувство меры и здравого смысла, все можно было перевернуть. Вот любопытный рассказ школьницы 1937 года Т. У. Касаткиной (1923): «30-е годы в нашей стране были характерны всеобщей подозрительностью. Например, в рисунках на обложках школьных тетрадей мы, школьники, выискивали какие-то тайные знаки и надписи, которые якобы могли нанести “враги народа”. Слова “Ленин” и “Сталин” нельзя было писать с переносом. В 1937 году в журнале “Пионер” была напечатана пионерская игра “Тайна белой ромашки”, суть которой заключалась в том, что всем ребятам пишутся письма такого содержания: “Если ты не трус и не боишься опасности и хочешь узнать тайну белой ромашки”. Нужно было по определенным знакам идти к опре-



деленному месту, где лежала такая же записка, направляющая идти дальше. Все это заканчивалось адресом школы, где прибывшему вручалась конфета “Белая ромашка” и начинались игры и танцы. Мы ухватились за эту идею и решили организовать игру, назвав ее “Тайна черной смородины”. Конфет “Белая ромашка” мы в магазине не нашли, купили “Черную смородину”. Печатными буквами, чтобы не узнали по почерку (нас было трое ребят) мы написали всем одноклассникам, оставшимся летом в городе, такие письма, послали их по почте, определили маршруты, показали их стрелками на заборах, в день встречи купили конфет “Черная смородина” и пошли в школу, чтобы встречать там наших ребят. И вот по дороге в школу нас задержал мужчина, который представился как сотрудник НКВД и привел нас в комендатуру НКВД, где мы и просидели с полдня. Видимо, пока проверяли наши личности. Оказалось, что все написанные нами письма изъяты по почте, и вот мы оказались в комендатуре. Когда позднее мы рассказали об этом случае директору школы, тот сказал, что он тоже решил бы, что это собирается тайная организация».

Появилось множество людей, всматривающихся, глядящих. Домысливающих, а потом пишущих. В этой атмосфере всеобщего доноительства люди, хоть немного возвышающиеся над средним уровнем по уму, таланту, знаниям, трудолюбию, были обречены.

«Мой брат был отличник учебы. А умных тогда не любили. Как чистка в институте, так ему говорят, чтоб он уходил из вуза. Как только окончил институт на инженера, послали его в Министерство обороны. А в ночь на июнь 1941 года в возрасте 26 лет арестовали (проработал всего один год). Осужден брат был на 10 лет без права переписки, а просидел 13 лет. Сначала мы о нем ничего не знали. И только случайно его товарищ по детдому, приехав в Киров на совещание, нам сообщил его местонахождение — лагерь в г. Тавда.

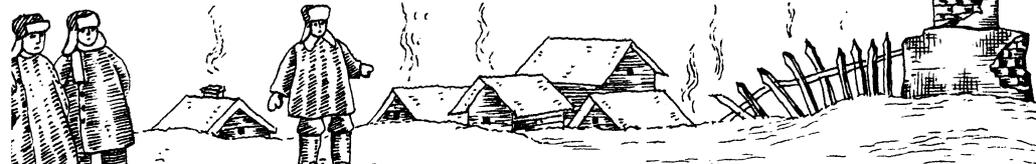
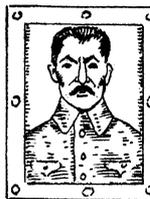
Вернувшись, брат не знал, что была война. Он рассказывал, что в лагере они строили какие-то заграждения. Приехав домой, он не верил, что за ним следят. Вернулся он весь больной, туберкулез легких, болезнь почек и др. А ведь был

до ареста отличным физкультурником, с красивым телосложением. Но не мог без работы жить. Сначала на работу не брали, а потом он устроился на стройку инженером в г. Геленджике (у моей подруги). Ему там климат больше подходил. Дали ему пенсию. После этого прожил еще 8 лет и умер. Все время, пока жил в Геленджике, я его материально поддерживала.

А я замужем не была. Был у меня парень, но когда нужно было ехать знакомиться с его родителями, я не ответила ему на письмо и не поехала. Он снова мне написал, я опять не ответила, потому что в загсе заполнялась анкета, где стоял вопрос: есть ли в родне осужденные (а у меня брат — и таких не расписывали). И только спустя сорок лет я ответила на письмо своего жениха и объяснила ему свое молчание. Ведь я поддерживала связь с братом, пока он еще не был реабилитирован. А это запрещалось. Сейчас он живет тоже один, так и не женился. Я об этом узнала и ему написала» (А. А. Жуйкова).

Мощнейшим стимулом для написания доносов была зависть. В деревне, где все знали все обо всех, это чувство было более сильным. «Перед войной отца выбрали председателем колхоза. Ему начали завидовать в деревне, не знаю уж почему. Отец повез на фронт лошадей под Старую Руссу. Лошадей нечем было кормить, но ведь отец делал все возможное, но все-таки его потом обвинили, что он привез плохих лошадей. И после этого стали собирать на него данные, что он и в плену в Германии был, якобы ему там хорошо жилось, да где уж там хорошо, если он бежал оттуда. И в 1942 году он был арестован, объявлен врагом народа, сослан в лагерь. Имущество описали, ничего такой громадной семье не осталось. И я свой офицерский паек отправлял родным, ведь дома остались пять сестер и братьев, старшему из них было пятнадцать лет. В 54-м году отца освободили и реабилитировали» (Г. Ф. Мусихин, 1921).

«Летом 1934 года была проведена чистка рядов партии. В моей работе придраться было не к чему — работал я неплохо, а придрались к тому, что будто наше хозяйство зажиточное (на 13 человек семьи была молотилка, 2 лошади и 2 коровы) и что я при поступлении в партию скрыл это. На са-



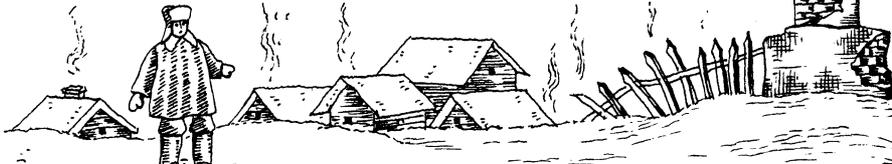
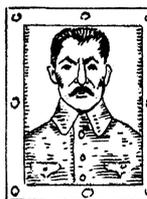
мом деле хозяйство было трудовое, и эксплуатацией чужого труда никто не занимался. Три брата, и подростком был я, могли все делать сами. Я понимал, что это было неладно, так как исключали таких же неплохих партийцев, но согласился на этом, подумав, что можно жить и беспартийным большевиком. С зам. редактора сразу же сняли и поставили в райсовет ОСОАВИАХИМ. Но работать было трудно, потому что я стал чужим для бывших своих товарищей и друзей. Стали меня сторониться, уходить от меня по другой стороне улицы. Этого я терпеть не мог и попросился у руководства ОСОАВИАХИМА перевести меня на работу в другой район. Я выбрал город Халтурин.

С 1934 года, то есть с тех пор, как прошла первая чистка партии, люди стали удаляться друг от друга. Если раньше наша семья состояла из 12–13 человек и никогда не бывало ссор, то сейчас не уживаются отец с сыном. Мне кажется теперь, что этот разлад порожден сталинской политикой. Стали подозревать друг друга, не стали говорить открыто, все было засекречено с верхов до низов» (М. А. Крысов, 1909).

Впрочем, многие люди и тогда, как птички божии, старались не задумываться над этими вопросами. Блаженное неведение порой могло спасти. «Знали мы об арестах, но думали, что и вправду есть что-то. Времена суровые» — так думали очень многие. Впрочем, люди, которых коснулась беда, сразу же меняли свои взгляды. Комсомольский активист тех лет П. П. Малых (1917) рассказывает: «У отца-то сухари насушены были. Тогда ведь приедут ночью, заберут да и все. За все боялись, за все. Тогда в 37-м году написали на дядю и на тестя. Приехали, забрали. Даже свидания не дали. При Сталине весело жилось. Слезами умывались. Из тюрьмы-то чуть живые приезжали. У меня тесть весь в синяках вернулся. Ни за что забрали. Написал кто-то. Я секретарем комсомольской организации был. Меня вызвали и говорят: “Ты не знаешь, что у тебя дядя и тесть враги народа?” Дядя одиннадцать лет отсидел. Тесть сидел девятнадцать месяцев. На пересуд подавали. У него свидетели были».

Люди, получившие хотя бы незначительную власть, в условиях всеобщего произвола получили возможность вести личные счеты. Человек даже на маленькой должности в сельсовете мог обречь своего недруга на изгнание и смерть. Вспоминает П. Е. Яковлев (1904), бухгалтер: «В нашей деревне был кулак Репин С. Е., имел отдельный большой участок земли, сам с семьей на нем работал, а когда заготавливали корм для скота и собирали урожай с полей, он ходил по деревне и заходил в каждый дом или стучал в окно, требовал: «Завтра хозяин этого дома должен со своей семьей выйти ко мне на работу» (на сенокос или уборку хлеба). Так в 1910 году было. Однажды этот Репин заявился к нашему дому и сказал, чтобы все, то есть хозяин и его семья, вышли на работу. Отец категорически отказался. Тогда кулак схватил его за грудь, хотел вытащить в окно, но отец вырвался и ударил его. Урядник Панков (его друг) вел следствие, и на отца возбуждали уголовное дело. У Репина родной дядя работал в волости в должности волостного старшины. Отцу дали год тюремного заключения. Кулак поджег наш домишко, а рядом стоял амбар с собранным урожаем, пожаром было все уничтожено. Сгорела у нас и последняя коровенка. Я отлично помню, как мать сидела с нами, троими детьми, под изгородью и смотрела, как все уничтожается пожаром. Затем мы увидели, что плетется наша кобыленка, а на санях лежит весь в крови отец (после суда его отпустили на день домой). Полумертвого мы его внесли в дом соседа, затем он был направлен в больницу, а по выздоровлению — в Сычевскую тюрьму. А мать взяла нас троих маленьких, и ровно два года мы ходили по миру и собирали куски на пропитание. Меня взяла старшая сестра, она работала в швейной мастерской купца по фамилии Лайтус. После XVI съезда партии я немножко проработал в Подовраженском сельсовете, и вот тут-то я и расправился с кулаком Репиным — имущество конфисковали, а его сослали на Соловки».

Поводы к аресту могли быть ничтожными и случайными. Человек часто сам не подозревал — за что? Малейшее неповиновение, ирония, сомнение в правильности указаний руководства любого уровня карались беспощадно как бунт. «В 1938 году меня взяли в армию. И я находился в во-



енно-морской пограничной школе. Был у нас такой случай. Шли строевые занятия. Во время перерыва разошлись кто куда. Один курсант пошел в туалет, а бумаги с ним не оказалось. Его товарищ дал ему газету. А на ней был портрет Сталина. Курсант взял газету, посмотрел и говорит: “О, Иосиф Виссарионович! Ну да ничего, надо же чем-то пользоваться”. Когда закончились занятия и мы пришли в казарму, его вызвали в штаб, и оттуда он больше не вернулся. Нам потом сказали, что это был враг народа. После демобилизации из армии в 1947 году некоторое время я был председателем колхоза. Помню, нас, председателей, вызвали в район для отчета. Колхозы после войны ослабли, народ жил плохо, голодно, ел траву. Вот стал отчитываться один председатель, тоже фронтовик, и сказал, что задание района выполнить не сможет. У него было две лошади всего, урожай немолоченый, а у него забирали этих лошадей на лесозаготовки. А ведь лошади нужны были ему на молотилку, таковой был конный привод. Да еще хлебозаготовки вывозить. Поэтому, говорит, лошадей не дам. Председатель райисполкома встал и говорит, что вот это враг народа. Таких врагов народа надо искоренять, чтобы они нам не мешали. Прокурор района взял трубку телефона, сказал, чтобы прислали двух человек. Когда стали выходить в коридор, то увидели, как в кабинет вошли двое милиционеров, пробыли там минуты две-три и вышли с этим председателем. Вот тогда я и решил уйти из председателей. Уехал из деревни, поступил на комбинат слесарем, женился» (И. А. Бажин).

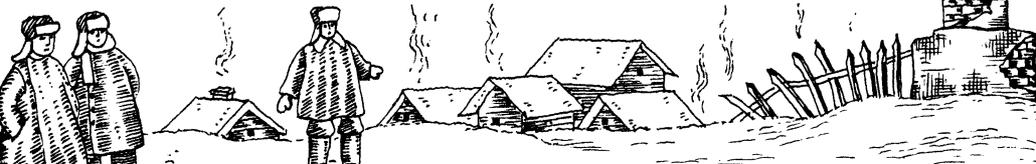
Люди знали о массовых расстрелах. Стремление спрятаться, не выделяться, быть как все — было всеобщим. «Людей у нас расстреливали! Было. Много расстреливали. Когда мы еще в деревне жили, сосед у нас был хулиган, его потом ночью увезли — и нет его. Священство расстреливали — чудо прямо какое-то! Я еще девкой была — вдруг приехали и батюшку нашего с сыном в Чигирепе расстреляли. После него был отец Василий. Не стал по новому стилю служить — пулю в лоб! Четверых увезли от нас священников, и никто не знает, за что» (З. С. Медведева, 1914).

О тяжелой реальности бытия ничего говорить не следовало, ее нужно было не замечать. Все высказывания долж-

ны быть позитивными и оптимистичными. А. Е. Серкина (1910): «Мой отец в 1944 году был репрессирован за то, что, побыв в своей деревне в отпуске и вернувшись назад на завод, рассказал, что пахал дома на бабах землю. Расценили это как “дискредитацию советской власти”, дали ему десять лет. Срок отбыл полностью, вернулся в 1954 году больным человеком и скоро умер». М. В. Владимирова (1909): «Боялись что-то сказать. А если кто на кого сердит, пойдет, скажет в органы, и увезут человека. В 1939 году у нас в доме жил сосед один, бывший дьякон, и работал он бухгалтером. А однажды на дворе народу было много, и он вздохнул и сказал: “Да, тяжело жилось”. И кто-то донес. И как-то раз ночью, в два часа, к нам постучались два милиционера и спросили, проживает ли здесь такой-то. Мы сказали — да, проживает. Тогда нас взяли понатыми. Дьякона арестовали, якобы он жалуется на советскую власть. И ни слуху ни духу больше о нем».

Количество секретных сотрудников (так называемых «добровольных помощников») было огромным. Они были, судя по рассказам, на каждом предприятии. Отказ стать таким сотрудником был делом рискованным, но такое бывало. «У нас в бухгалтерии работал старичок. Однажды из Москвы я привезла снимки политбюро (их дали в нагрузку), все фотографии правительства. И сразу в бухгалтерию. А он прямой такой был, посмотрел и сказал: “Да, видать, что не 400 грамм едят”. А нам тогда по 400 грамм хлеба давали. Тогда в НКВД были завербованные в коллективах люди, которые следили за сослуживцами и доносили на них. И вот одна такая у нас передала эти слова. Старичка забрали, куда-то отправили, и только после войны он пришел. Но до дома не добрался. Вместо Горок вылез в Бурце. Ехали на пароходе. Он поднялся в гору и от переживаний умер. Разрыв сердца! Там вид красивый открывался на наше село. Очень уж хороший был мужик.

Меня тоже вызывали в НКВД. Ногин сказал: “Вы часто бываете в коллективе. Может, будете передавать, кто что сказал?” Я ответила: “Нет, я часто бываю в коллективе, но разговоров не слушаю, только заставляю, что нужно делать”.



А потом они, видно, пригласили эту работницу. Платили ли за это, не знаю» (А. А. Новоселова, 1914).

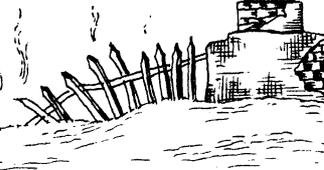
Поручение следить и доносить о беседах с определенным человеком нередко давалось его друзьям, родным. Ни в ком нельзя быть уверенным. И. В. Киселев (1925): «Да, нельзя было даже зайти погреться, потому что были специальные люди, работой которых была слежка. Они, заметив, что человек отлучился с рабочего места, докладывали куда следует, что грозило провинившемуся потерей заработка, еще хуже — места работы или даже свободы. В то время везде было так, а не иначе. Однажды мой друг признался мне, что имел задание следить за мной, и по окончании командировки, а ездили мы в Москву на ВДНХ с делегацией рационализаторов, написать о моем поведении подробный отчет. Но, к счастью, это был честный человек, хотя подчинившийся подлости времени. Мне тогда повезло. В то время я еще не полностью осознал, что такие методы были нужны руководству для устрашения. Многие жили в страхе, боялись сказать лишнее, выразить неудовлетворение чем-либо, потому что стены имели уши».

Интересоваться тем, что делается вокруг тебя, не следовало. Комментировать события было еще опаснее. Крамолу можно было найти в самых невинных речах, если хорошо поискать. «Когда я работал уже на заводе в 30-е годы, очень часто, приходя на работу, не видел в цехе одного-двух человек. После выяснялось, что они арестованы. За что и почему, никто не знал и объяснить не мог. Даже интересоваться этим было запрещено. Репрессировали зачастую тех, кто больше боролся за правое дело и высказывал свое мнение, как лучше организовать то или иное дело. Ну а больше всего аресты производились просто за неуместную болтовню, за анекдоты. Помню, работал я на стройке МВД и спросил одного, знал, что он сидит по 58-й статье, за что же он посажен. Он говорит, работал после войны трактористом. А трактор был плохой, чтобы его завести, надо полдня крутить ручку. И он своим товарищам сказал, что на фронте работал на американском тягаче, который заводится от стартера мгновенно, и похвалил эту машину. Ну и дали ему десять лет, как за восхваление иностранной техники и принижение нашей».

Можно привести сотни примеров. При Берии ведь разговаривать двум-трем человекам между собой было опасно, так как каждый пятый или третий был завербован службами госбезопасности агентом-донщиком. Поэтому и проходили такие массовые репрессии» (И. И. Зорин, 1918).

Эпоха была к юмору, смеху, шутке, острому слову беспощадна. Свободно могли высказывать свои мысли, как некогда при Иване Грозном, лишь клинические дураки. Правда, в отличие от XVI века, в 1936 году у дураков тоже требовали справку. К. И. Тарбеева (1909): «Работал мой муж на электростанции с одним мужиком, не помню уже, как и звали. Был тот очень грамотный, все газеты читал. А к ним все комиссии разные приезжали. И вот однажды вечером приехали, привезли с собой водки, закуски и позвали выпить с собой мужа моего и вот мужика этого. Они выпили, разговорились. И мужик-то стал над ними издеваться, что это, говорит, вот я в газетах все читаю три большие буквы и одна маленькая — ВКП (б) и, не знаю, что это такое. Ну, те ему расшифровали, что, дескать, это Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. А он им и говорит: “А я как ни кручу, ни верчу, у меня все выходит всесоюзное крепостное право большевиков”. Его тут же объявили врагом советской власти и забрали в город. Он там прикинулся дурачком, и вот по слабоумию его и отпустили, да еще справку написали, что он ненормальный. Так, люди рассказывали, когда шел он по базарной площади, там дети, продавая газеты, кричали: “Вятская правда”, а он стал кричать: “Вятская кривда”. И когда его забрали, он показал свою справку, и его отпустили».

Органы НКВД внушали страх и ужас всему населению. Нам сегодня трудно даже представить меру этого страха, его качество. Это был страх повседневный. Изматывающий. Не случайно многие чуть ли не с облегчением встречали свой долгожданный арест. Но и в НКВД работали люди, и, видимо, порой с ними можно было договориться (если повод был незначительным). Но и мера ненависти к ним была велика: «Вверху жил над нами из “серого дома”, так вот, как мы ему смерти просили! Скольких он упек! Когда уж война кончилась, все на реку ездили на лодках кататься. И он, ви-



димо, со своей организацией из “серого дома” ездил по реке на лодке, лодка перевернулась, и он на реке тонул. Все видели, а его никто не спас. И после войны не поймешь, что было. Почему в плену был? Да ведь он, может, раненый был, может, оглушило его... Вспоминаешь, и волосы дыбом встают, вот какое время было!» (З. И. Чарушина, 1928).

Люди, наделенные властью, сами чувствовали себя на плахе. Психология временщиков, уверенности, что все можно решить силой, чувство зыбкости, ирреальности происходящего — или пан, или пропал — сильно влияли на их решения.

«После фронта снова работал на заводе, меня приняли в члены партии в 1941 году. Работали тогда разные политические кружки. Мы углубленно изучали “Краткий курс истории ВКП (б)”. Занимался я в кружке атеиста. В то время религия, колдовство и другие причуды людей были зажаты. Их просто не признавали, они находились в подполье. Например, за пропаганду евангелизма один из моих знакомых был осужден на десять лет. А ведь он всего лишь предоставлял свой дом для собраний их секты. Все же аресты и расстрелы не прошли даром для нашей страны. В свое время был знаком с девушкой. А она была секретаршей первого секретаря Кировского обкома партии Столяра. Так она рассказывала: после каждого крупного партийного совещания, даже не после совещания, а прямо на нем арестовывали и выводили некоторых партийных руководителей. И помню такое указание — каждый рабочий должен подписаться на облигации на 120 процентов от среднего месячного заработка. Не меньше, и никаких гвоздей! Иначе вооруженная охрана не выпускала рабочих с территории цеха домой. Кроме того, партийные работники, наделенные властью, употребляли ее не совсем правильно. Тот же Столяр, вернее, по его личному указанию был разрушен ряд церквей. А ведь они были красавицами. Взрывали их на кирпич, но этот кирпич на строительство употребить не удалось, строили тогда не так, как сейчас. Столяр был в дальнейшем расстрелян по указанию Сталина как враг народа. Но нужно отдать ему должное — партийцем он был сильным. А церкви все равно жаль» (А. С. Паршаков, 1912).

Человеческие чувства: жалость, сострадание, доброту — на любой должности следовало отринуть. Опасно было доверять даже близким родственникам, семье. Особенно ненадежны были дети. По искренности и доверчивости своей они могли быть использованы как угодно. А. С. Юферев (1917): «А раньше и слово-то лишнее боялись болтнуть. Болтнешь не то, и уведут тебя Бог знает куда. Случай у нас такой был. Сын Константина Мельника дядю на пять лет посадил. Да и было за что. А то за такое слово, что Ленин лучше был, чем Сталин, увезли его, не знаю куда, и сейчас Бог только ведает, где он».



О лагерях рассказывали шепотом и только людям, которых хорошо знали. Но ведь лагеря располагались зачастую недалеко от населенных пунктов. Поэтому что такое лагерь, знали многие. «С юга на телегах везли раскулаченных в лес — туда, где сейчас первый поселок. Там в лесу и высадили. Много народу тогда погибло. Особенно детей, ведь глушь у нас была. Вначале они в землянках жили. Потом расчистили пашню, кто жив остался. Они ведь тружениками были, снова стали жить хорошо. Там и немцы были, и украинцы. Да, наделали тогда делов. Кого в тюрьму, кого на поселение. А у власти в Кирсе-то ведь тогда неучные были. Много людей напрасно сгубили. Нам ведь тогда ничего не говорили, ничего мы не знали. Страшно было! Также и о Сталине мало что знали. Муж мой сильно его не любил. А сказать в открытую нельзя было, особенно после войны. В войну-то ведь за катушку ниток или за опоздание на работу в тюрьму садили. Лагерь вокруг Кирса уйма была. И все заключенные там сидели. На 132-м километре западнее Кирса ужас что было! Много их умерло там от голода. Страшно и подумать. После войны-то садили в тюрьму всякого, кто вздумал что-то неладное сказать. Все и боялись. Больно много таких людей невинных загубили. Басурман он!» (А. В. Осколкова, 1904).



Немногие, однако, спустя годы связывали свой страх и ужас тех лет, полную беспомощность и беззащитность человека перед лицом свирепого людоедского государства с советской властью. В. И. Перминов (1908) один из этих немногих: «А при советской власти все под страхом жили. Ког-

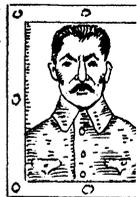


да в Кирове работал на заводе, мальчик детдомовский сказал, что все равно Германия нападет. А начальник наш говорит: “Молись Богу, что ты из детдома, а то бы посадил”. Раньше про Сталина сказать было ничего нельзя, сразу посадят. Когда работал в Соликамске в шахте, видел там политических заключенных. Они жили в общежитии, в большом зале. Я сказал тогда машинисту: “За что это так много людей сослали?” А он мне ответил: “Это еще что?! Я целыми составами в Сибирь возил”. От человека тогда ничего не зависело. Что хотели, то и делали власти».

Подневольным, крепостным был труд не только крестьян, но и рабочих, жестко привязанных к своему предприятию, лишенных возможности перехода на другой завод, находившихся под угрозой суда за 20-минутное опоздание. «В 40-м году вышел правительственный указ — за опоздание на 20 минут судили и давали принудительные работы сроком на полгода. Я сама судимая. Не хватало рабочих рук на предприятии — меня послали в кожзавод помочь. Я отработала там в ночную смену, кончила рано утром, как раз надо было снова начинать смену уже на своем месте. После ночной смены устала, замешкалась и опоздала на несколько минут. Под горой, на Вокзальной, было здание нарсуда. Меня туда вызвали. Идти я очень боялась, но что делать. Долго со мной не церемонились. Спросили фамилию, имя, спросили: “Опоздала?” Я говорю: “Да”. Меня осудили на 6 месяцев принудиловки с вычетом 25 процентов из зарплаты» (А. О. Вершинина, 1921).

Но, несмотря на все это, а в какой-то мере и благодаря всему этому, отношение простого народа к правительству, партии, Сталину было положительным. Тем сильнее запоминались эпизоды, подобные тому, который описал А. В. Грязин: «На одной из станций в Сибири (1943 год) наш вагон оказался против вагона с заключенными. Как они надрывно кричали нам, повисая на решетке железной небольшого окна: “Не верьте Сталину, он предал революцию! Это мы делаем революцию! Сталин уничтожает честных людей!” Как вспомню этот вечер морозный, так и дрожь пробегает по коже. Такое мне слышать не приходилось до этого».

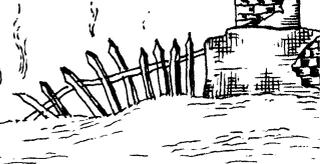
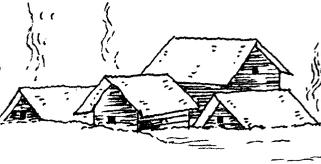
Впрочем, даже многие спецпереселенцы, изгнанные из родных мест, положительно относились к Сталину. «Мы считались как заключенные. Шла война уже, а с нас все вычитали 15 процентов. Паспорта были временные, на ограниченную территорию. Нельзя было выйти за определенную границу. Если нарушишь, то пять дней ареста давали. Отменили после войны временные паспорта, дали настоящие. Мужиков всех на войну забрали, а с баб все 15 процентов вычитали. Еще помню, мама приехала в 1930 году на завод вольнонаемной, так нельзя было уйти к матери. Бегала тайком. Даже родишь ребенка — регистрация в комендатуре. Тяжело, тяжело досталось. Про Сталина сказать ничего нельзя было. Ничего не знали. Никто не бунтовал. Учиться не разрешали. Отношение к Сталину у всех было хорошее. Кто его знает?! Неграмотные были» (Е. С. Пирогова, 1913).



Массовые репрессии в армии вспоминают с нескрываемым ужасом. Ф. П. Дмитренко (1913): «Наступило страшное время. Начались сплошные аресты. Мы узнали об аресте командарма 1 ранга — четыре ромба — Якира. Я его видел однажды. Проводили стрельбы. Он на них присутствовал. Объявил всем благодарность. Верили ли, что враг? Трудно сказать. Приводились ведь всякие доводы. Время было такое. В полку было арестовано пятнадцать офицеров: начальников штабов, командиров батарей. Каждый вечер партийное собрание. С трибуны говорили: “Ищите врагов среди себя! Пишите все про всех!” Писали! А как же?!»



Слепая вера в вождя была спасительна в тех условиях. Рассуждать даже внутри себя многие не решались. «Безоговорочно верили всему, шло это от Кремля. Мой муж с 30-х годов в штабе при колонии. Конечно, много пришлось слышать. Но даже в мыслях не было какого-нибудь сомнения в политике нашей партии. Кино, книги — все говорило об этом. Когда объявляли очередных врагов народа, ставили кресты черным карандашом на их портретах. И сейчас много есть книг дома, где перекрещены Блюхер, Бухарин, Зиновьев да много других. Свято верили Сталину и обвиняли Ежова, Ягоду. При этих именах просто трепетали от страха и, когда их разоблачили, Сталину еще больше повери-



ли. Из наших близких два человека исчезли без всяких следов. Муж мало что рассказывал, тогда ведь такого судачества о политике не было, как сейчас. Аnekдотов не рассказывали» (А. И. Бояринцева, 1911).

Сегодня очень многие связывают с террором тех лет снижение интеллектуального потенциала народа, утрату многих нравственных устоев. «Время было тяжелое. Сколько умных людей-то было, так ведь рты не давали раскрыть. Вот, к примеру, на заем подписывались, так попробуй-ка откажись, сразу расправу найдут. Проходимцам в то время волю дали, а умных-то людей топили. Помню, жили в Миассе, сколько там людей в ссылке отбывало. А за что же их выслали, чего же они худого сделали? Много бед натворили, ничего не скажешь. Все церкви нехристи разрушили, а нельзя людям без веры. У нас, милый, тридцать церквей было, красота-то какая. Так ведь все как косой скосили. Зачем же рушить-то было? Нельзя людям без красоты, она силу дает» (А. П. Новоселова, 1917).

А вот рассуждения сельского учителя В. М. Мазеева (1919) о пережитом и испытанном: «В 50-е годы при Сталине продолжались репрессии, особенно против интеллигенции. А чего мне бояться, ведь я не был евреем. Тогда в основном уже были против евреев, а с другой стороны, коснулись политической интеллигенции — это секретари обкомов, райкомов. А простых не трогали. Тут и так было достаточно, особенно с военнопленными. Был в плену — еще десять лет отсиди! В 57-м году они стали возвращаться, да и то сколько лет их таскали по ночам на допросы, работать не разрешали, никуда не принимали. В плену был, дескать. А немцы ничего. Они большими партиями были в поселениях, некоторые обустроивались, оставались. Сначала они были под конвоем, потом и конвой сняли с них. Вообще-то лучше жили, чем наши, которые в плену побывали и в лагерях были. Конец 50-х — стало полегче, когда Хрущев стал производить перестройку. Колхозы хоть паспорта стали выдавать да налоги отменили. Полегче стало. Они хоть людьми, как паспорт стал, считаться начали, а то без паспортов до этого жили. Кто они, что они — никто не знал. Колхозник — и все. Чтобы ему выбраться из этого

колхоза, его должен колхоз отпустить, выдать ему справку. Что он освобожден от колхоза...

Наш русский народ — он в общем добрый и отзывчивый. Но это начинает утрачиваться. Нравственная-то сторона утеряна. Ведь эти убийцы, они не только уничтожали людей, ведь они убийцы, потому что нравственно убили человека. Попробуй-ка, восстанови это самое милосердие. Душу, душу человека убили... Это самое страшное. Как говорят, деньги потерял — ничего не потерял, здоровье потерял — половину потерял, веру потерял — все потерял. Вот эту веру люди и потеряли. Я бы сказал, гуманнее, нежнее в наше время друг к другу относились, или нам так кажется, старикам, которые любят побрюзжать. Все не по-нашему».

**М**ы не просто живем на костях предшествующих поколений — мы живем их достижениями и неудачами, повторяем их ошибки, наследуем великую культуру не как готовое к употреблению блюдо, а как процесс его приготовления. Многие десятки предыдущих поколений россиян дышат нам в затылок. Традиции, созданные за века и десятилетия (в том числе и традиция внезапного сокрушения вчерашних идолов), работают и сегодня. Лишь на первый взгляд мы вольны в своих решениях. Но даже наше безумство, буйно проросшее ныне, некогда упало в землю со спелого колоса и долго ждало своего часа.

Россия в XX веке раскрестьянилась. Ушел в прошлое самый многочисленный, да и самый культураносный слой великой страны. Но, растворившись во времени и грандиозных коллизиях, войнах века, крестьянство осталось в нас, в каждой клеточке нашего организма. Мы созданы предшествующими поколениями — теми, кто пахал, и теми, кто за ними присматривал, теми, кого сажали, и теми, кто сажал. Опыт любой цивилизации драгоценен. Опыт тысячелетней

крестьянской цивилизации в России необходим нам сегодня, чтобы выжить, создать равновесное общество, не погибнуть в тупике истории. Духовность нашего народа — это наш великий вклад в мировую культуру. Искусство жизни нации опирается на умение жить каждого рядового члена общества. В крестьянской России был создан отшлифованный до блеска во всех многообразных вариантах судьбы эталон жизни человека (крестьянина в первую очередь) — эталон с замечательными морально-нравственными устоями. Мы видим, что прошлое общество умело быть счастливым, несмотря ни на что. Мера счастья, радости и любви в нем была ничуть не меньше, чем сейчас. А по некоторым качественным сторонам жизнь этих поколений была лучше нашей. Жизнь каждого отдельного человека выстраивалась по рецептам, апробированном веками, создавалась, как драгоценная чаша.

Строй, лад жизни русского крестьянина — это и сегодня величайшая духовная ценность нации. Что же с нами произошло? Наша книга не дает прямого ответа на этот вопрос. История лишь задает вопросы, а отвечаем мы на них своей жизнью. Если нам это оказывается по силам.

# Содержание

Дорога домой (вместо вступления) . . . . .	7
--	---

## Раздел I. Глаза в глаза

Глава 1. Здравствуй и прощай! . . . . .	18
Глава 2. Голос крови и молоко матери . . . . .	22
Глава 3. Люди в городе и на селе . . . . .	27
Глава 4. Люди на улице и дома . . . . .	31
Глава 5. Русский характер . . . . .	40
Глава 6. О чем говорят мужики в бане? . . . . .	47
Глава 7. О русских женщинах и русских приметах . . . . .	51
Глава 8. Русская песня и русская тоска . . . . .	56
Глава 9. Русская природа: в лесу, в поле и на лугах . . . . .	59
Глава 10. Русское застолье . . . . .	65
Глава 11. Русское слово . . . . .	71
Глава 12. «Новые» и «старые» русские . . . . .	76
Глава 13. О жесте в русской народной речи . . . . .	80
Глава 14. О ругательствах . . . . .	85
Глава 15. Русь «сидячая» . . . . .	87
Глава 16. Русь бродячая . . . . .	93
Глава 17. Москва и Россия . . . . .	99
Глава 18. Русская водка . . . . .	104

## Раздел II. Русское слово и русские нравы

Глава 1. Лексикон русских крылатых слов и выражений . . . . .	110
Глава 2. Характер русского народа в пословицах и поговорках . . . . .	134

Глава 3. Русские нравы в частушках . . . . .	150
Глава 4. Ритмы жизни в народных песнях. . . . .	156
Глава 5. Русский язык как таинство . . . . .	163
Глава 6. Народная сказка как «кривое зеркало» русской жизни. . . . .	171

### Раздел III. Народ и власть

Глава 1. Новая теократия. . . . .	175
Глава 2. Сплошная коллективизация. . . . .	186
Глава 3. Колхозная держава . . . . .	221
Глава 4. О налогах . . . . .	235
Глава 5. Сталин глазами русских крестьян . . . . .	245
Глава 6. Об арестах . . . . .	254
Искусство жить . . . . .	270

Бердинских В.  
Б48 Русские у себя дома / Виктор Бердинских. — М. : Ломоносовь, — 2016. — 280 с. — (История. География. Этнография).  
ISBN 978-5-91678-314-8

Писатель, историк и этнограф Виктор Бердинских сделал попытку показать русского крестьянина таким, какой он был и есть в собственном доме, в естественной обстановке, наедине с собой. В его книге внимание уделено прежде всего быту, нравственным устоям, обычаям, традициям, устному народному творчеству, разговорной речи — и даже приведены словарь народного говора образца 1907 года и лексикон крылатых выражений с авторскими толкованиями... На первый взгляд кажется, что все это ушло в небытие вместе с русским крестьянством в период гонений на него в годы коллективизации. Однако, растворившись во времени и грандиозных коллизиях, крестьянство осталось в нас, в каждой клеточке народного организма, даже если сами мы этого и не сознаем. Этнографическое погружение в мир русского человека вместе с Виктором Бердинских это убедительно доказывает.

Виктор Бердинских — доктор исторических наук, профессор исторического факультета Вятского государственного гуманитарного университета.

УДК 94(47).084.5-6  
ББК 63.3(2)614-615

Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, ст. 1, п. 2, пп. 3.  
Возрастных ограничений нет

История. География. Этнография

Виктор Бердинских

Русские у себя дома



Редактор П. Гончаров  
Верстка А. Петровой

Подписано в печать 25.01.2016.  
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 17.  
Тираж 1000 экз. Заказ 354

ООО «Издательство «Ломоносовъ»  
119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3  
Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19  
info@lomonosov-books.ru  
www.lomonosov-books.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати  
в АО «Первая Образцовая типография»  
Филиал «Чеховский Печатный Двор»  
142300, Московская область, г. Чехов,  
ул. Полиграфистов, д.1  
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, 8(499)270-73-59

Виктор  
Бердинских  
Русские  
у себя дома

Писатель, историк и этнограф Виктор Бердинских сделал попытку показать русского крестьянина таким, какой он был и есть в собственном доме, в естественной обстановке, наедине с собой. В его книге внимание уделено прежде всего быту, нравственным устоям, обычаям, традициям, устному народному творчеству, разговорной речи — и даже приведены словарь народного говора образца 1907 года и лексикон крылатых выражений с авторскими толкованиями...



На первый взгляд кажется, что все это ушло в небытие вместе с русским крестьянством в период гонений на него в годы коллективизации. Однако, растворившись во времени и грандиозных коллизиях, крестьянство осталось в нас, в каждой клеточке народного организма, даже если сами мы этого и не сознаем. Этнографическое погружение в мир русского человека вместе с Виктором Бердинских это убедительно доказывает.

Виктор Бердинских — доктор исторических наук, профессор исторического факультета Вятского государственного гуманитарного университета.

ISBN 978-5-91678-314-8



9 785916 783148